ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 7 (17)

ДЕКАБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ПЕТРОГРАД

Обстоятельные люди.

Рассказ.

Даниил Крептюков.

I.

Сорок годов, да пару на прибавку... Вот сколько прожил Дроля.

А сам—бочка бочкой... Кончиком иглы тронешь в любое место—так и даст тебе в нос густой, плотной, из красна красной кровью... Прямо бочка с кровью... Кругляк кругляком. Как писанка рожа. Простецкий носище конусом вниз. А конус сверху, по самому ребру нижнему, по круговине, жмякнуло еще в животе у матери. Сплюснуло... Так и остался.

В бороде густой, темнорусой, махровитой, широкой, что суслон. Искрой белой брызнуло в бороду вот только теперь.

Говорил:

— Вишь ты... Заботы поря́то много... Вот она тебе и тово... В зиму ударилась...

Ноги вершков на восемь: как сосна у комля. Живот—часто говорили все:

— А у тя, што у бабы беременной, пузо-то...

Морщил нос Дроля. Головицей островерхой, как хребет у ежа, под первый номер остриженной, ворочал туда-сюда. Носом кхикал досадно и вдумчиво. Соображал—как же это и почему,—он и беременная баба?..

Сравнения никакого...

А носом кхикать вошло в закон.

Наморщит кончик округлый. Пошевелит им. К середке мясистой,—с сизью, в жилках,—подпустит. Кверху...

— Кхи... Кхи... Кхи-кхи...

Обозначало: Дроля думает.

Обозначало: Досадует.

Обозначало: В сердца вошел Дроля.

А в сердцах был, рукой пухлой помахивал, как маятником. А носом все тож:

— Кхи... Кхи... Кхи-кхи...

Только хоть и был Дроля Дролей, а Дролей не звали.

— Дорофей Иванович...

Неудобно. Человек обстоятельный. В земстве—как в избе у себя: свой. Шкрабом—о-ох каким считался. А тут сопляк сопляком—и Дроля... Да как же это можно?..

— Дорофей Иванович...

Ползло солнце на Кегостров. Переходило на Заозерье. В ту сторону, куда река текла, на залогу до утра ложилось.

А там—баром названо: вся в рукавах сходилась река тысячеверстная в плес, во взморье, в Сухое море, в Бар...

Над рекой выстрелено было еще Петром повадкой заморской в сузем сырой, во мхи, в радники на ветру, на морянке, на шолоннике ободранные...

Как собачьи зубы, оскаливали терпкие руки радники... В морошку, в клюкву, в вереса, в багульники, в ливы бездонные, меж кочек мша́ных, было выстрелено...

Где стрелы легли—лег город. Оттого — глянешь с одного конца улицы—на целую версту глаз вперед летит... Не на чем пригвоздиться глазу.

А на площади, под самой рекой, место огорожено. В середине гранитная глыба точеная: все у́же и у́же... все тоньше кверху... На самом куполе человек стоит и на лире играет.

Давно стоит человек: может, сорок годов, а то и больше... Все играет на лире. А только не слыхано никем было, что̀ за музыка выходила у того человека...

Так он стоял и стоял...

Напротив человека домина в ширь разнесся на три улицы, на площадь... Кверху выпялило его на четыре этажа...

Ги-мна-зи-я.

> *Эй, пошел же, ради бога...*
> *Небо, ельник и песок...*
> *Невеселая дорога—*
> *Эй, садись ко мне, дружок.*

Как начинала детвора читать вот это самое, глазами в окна лезла к человеку с лирой. Знала, про кого написано... Знала, что̀ за человек с лирой стоит...

Ломоносов...

Оттого и гимназию назвали—

Ломоносовской...

В гимназиях Дролю не учено. Сам дошел спервоначалу до науки... А там дальше и дальше пошел.

Кончил учительский институт—а борода в пояс концом уперлась. Стал Дроля

Преподаватель Высшего Начального Училища.

Стал Дроля

Дорофей Иванович Шаньгин.

— Обстоятельный человек наш Дорофей Иванович...

Так говорили все.

II.

Стихал птичий бунт осенями в суземах. Цедило сверху мокротой на радники, на суболоть, на корбу еловую... Лило месяц целый до первого инея, холодной искрой ударившего в тайгу, в реки суземные, в ливы да ламбины.

Осыпало кокоры снегом пышным, как зверь лесной мягким, как кунь, как белка, как рысь зубоскалая... Ряб не летел на манок. Косачи лирохвостые голые березы пооседлывали. Чухарь бил снег шпорцами роговыми: черничину под снегом окляклую доставала птица-мужик.

Кòппала не цокотала, не кокала, в дерево носом не била над собакой в густых ельниках: уносило дикую птицу дальше в суземы, что синели за вáраками, за гладью озерной, за мхами, за ягелями дикими...

Нарывала птица нор под снегом. Мерзлой иглицей набивала брюхо. Мхом, корой, сукровицей еловой, сладкой, кишку птичью согревающей.

А в городу, над рекой тысячеверстной, над Баром, над мхами, над Ломоносовым, бежали дети в домину каменную, чтò тремя углами подпирает площадь у реки.

Преподаватель Высшего Начального Училища Дорофей Иванович Шаньгин ногами, как двумя ступами, давит землю по проспектам городским.

Любили дети Дорофея...

И смеялись дети над Дорофеем...

Только беззлобно, по-детски...

— Кхи... Кхи... Кхи-кхи...

Это Дорофей... Над этим все больше и смеялись дети...

Любило земство обстоятельного Дорофея Ивановича Шаньгина.

Выходец из народа... Из самого сердца народного... Сам добился... Без всякой помощи...

Умиленные слюни текли у земских либеральчиков о Дорофеевой обстоятельности.

Покровительственно и фамильярно совали Дорофею ленивые, пухлые руки с пальцами, распираемыми от жира, от безделья, от гульбы.

А свои, — учителя и учительши,—ни то, ни се...

— Хитрая бестия... Такому пальца в рот не клади. Зубом придавит обязательно... Хитрая шту-ука...

III.

Гомоном прошло в середине лета по всей Ваге. Правая эсэрня, попье, кулачье пошло бунт промеж народом заводить.

А из города слали листы, воззвания, летучки о мобилизации на защиту родных деревень, суземов тихих, рек многоводных от заморских гостей.

А гости:

— Невмешательство во внутренние дела...

А гости—англичане, сербы бездомные, итальянцы, американцы, разные... Кому не лень пограбить берега страны большевистской?..

Задрали хвосты шенкурята на Шенкурск. Без малого весь уезд сбежался...

С аншпугами, с дробовками, со старыми винтовками... Теми самыми, с которыми отцы учили детей на зверя ходить в суземь.

А в городок над Вагой прибежали—загнали Исполком в казарму каменную: семерых левоэсэров, трех большевиков...

У казармы пулемет наладили. Пять-шесть сот ружей в казарму направили.

— Перебить сяких-таких...

Меньше бунту среди мира будет...

А левые эсэры в казарме решали программные вопросы. На языках, как на саблях, резались с большевиками.

Большевики крыли:

— Что вы такое?.. Ублюдки революции... Тоже левые... Прямо эсэры—ну то еще туда-сюда... Хоть не кроются... А то — ле-е-вые... Как же тебе... Что в вас левого?.. Мелко-буржуазные отбросы... Экскременты буржуазно-монархических партий...

Большевичка Ревекка харкала кровью в грязный, загнившийся платок. Большевичка Ревекка прижимала мальчонку веснушчатого, курносого, плутливого бегуна Володьку.

Из нее текло черной, густой кровью на грязные нары казармы, и она не спорила о программных вопросах.

Левый эсэр Васька Горбылев хрипел, как надрезанный, в темном углу нар.

В казарме была дымная тишь. Плелось угрюмое, вынужденное безделье. В двух-трех робких сердцах проедал норы колючий, густой страх.

А снаружи бились в стены, в серо-оранжевый кирпич вгрызались, звякали в окна металлические, невидимые, бескрылые мухи.

Тоску плодили. Робь разранивали. Высиживали глухую, сырую месть... Дикую, бессмысленную, мужичью...

— Только бы те сволочи не сдрефили... А уж отсидимся — погодите...

Падали космы волос, как солома желтых, на тесный, узкокостый лоб Ваньки Горбылева.

Однодеревенцы с Васькой. Росли, как лес на суземе, без чужой помощи. А выросли — говорили бабы на селе:

— Братовья... Фулиганы... Леший бы вас...

Одиннадцать суток грызли снаружи казарму ваганы с дубьем, с аншпугами, с винтовками, с дробовками...

Максим Ракитин, — правый эсэр, — вожаком у тех.

Комендант города Шенкурска.

Член Военного Совета.

Учителишко. Прапорщишко. Собою — жердь-жердью. Остроносый, как глиста.

На двенадцатый день закокало в нижнем конце из-за церкви. Пули стлались по выгону... В приступившие к выгону сосны въедались едко и зло. В бани, в избы, в амбары цокотали решительно и веско.

Через полчаса побежали ваганы... Грузно шлепали лапти по пригородным дорогам. Как стрекозы, прыгали люди через дороги в лес, за деревья, за молодые, густые сосняки...

А на другой день левые эсэры и большевики разошлись по отдельным комнатам большого каменного дома.

Начальник отряда красногвардейцев хохол Падалко на выгоне у гигантских шагов негромко сказал:

— Пли...

Упало два попа и пять кулаков...

Начальник отряда Падалко подошел к крайнему, потрогал того носком сапога и сплюнул на сторону.

— Ежели какой оживёть — добить беспремѐнно...

Никто не ожил.

IV.

В большом городе над рекой обстоятельный Дорофей Иванович Шаньгин обхаживал необстоятельного товарища Третьякова.

Третьяков лупал глазами, ковырял в носу... Носился по Губернскому Комиссариату Народного Просвещения вертко и ненужно. Елозил патленки на большой голове. В платок надушенный носом дудукал — большим, горбатым, с ноздрями жеребинными.

На Шаньгине был сюртук пониже колен. Шаньгин держал руки сзади на мякоти бабьей, выпуклой, съехавшей к низу... Под бородой у Шаньгина охватывал красную, мшистую шею черный, как грязь, воротник.

Третьяков был в куценькой, таксаторской тужурке с дубовыми листиками на язычках ворота. У Третьякова блестело на груди двена-

дцать пуговиц, две на воротнике, четыре на обшлагах. Когда Третьяков расстегивал тужурку, еще блестело пять на жилете.

Все пуговицы были с двухглавыми орлами, и Третьяков был революционер без предрассудков.

— Наше дело маленькое... Нам надо сохранить школу... А там они себе што хошь делай...

Это Шаньгин.

Говорил. Морщил нос. Кхикал переносьем упрямо и глухо.

Третьяков ничего не говорил. Третьякову сказали вчера в Совете Комиссаров Архангельского края:

— А ты с ними не церемонься... Ты Губернский Комиссар Народного Просвещения... Тебе нечего с ними церемониться... А чуть что — нам говори...

Когда Третьяков вышел за дверь Совета Комиссаров Архангельского края, один из членов Совета Комиссаров Архангельского края Народный Комиссар Земледелия Архангельского края сказал:

— Тоже интилигенцыя... Им, сволочам, верь только на одно ухо... Ты возьми его на заметку, Педа...

Педа ответил:

— Хорршо.

Педа ответил и легонько ударил рукой по столу... Под ноги другим потекли чернила, потекла вода из графина, потек гнев из глаз Народного Комиссара Земледелия.

Оттого все это потекло, что Педа опустил легонько руку на стол.

И еще оттого, что Педа был саженного роста, работал в Архгубчеке и у Педы были руки, как у всех остальных ноги...

Оттого все это потекло.

Но Педа еще раз сказал:

— Хорршо.

Руки больше Педа не опускал.

Через три дня Третьяков закрыл реальное училище. Через четыре— позвонил Народному Комиссару Финансов Архангельского края... Шкрабское жалованье было арестовано.

Председателю Педагогического Совета Архангельского Реального училища бывшему Статскому Советнику Михаилу Петровичу Яковлеву сказали в казначействе:

— Дайте на ассигновке подпись Комиссара Просвещения...

— Какого?... Да што ж я в Москву поеду за подписью?..

— Нам до того дела нет... У нас все по декретам...

Яковлев лупал глазами, тяжелыми, налитыми старым, педагогическим оловом. У Яковлева мешки под глазами осели на серые щеки. Яковлева обухом грякнул кто-то из-за угла...

На другой день Шаньгин в Комиссариате Народного Просвещения Архангельского края сказал Третьякову:

— Я с вами во всем согласен... Понимаете?.. Во всем...

Третьяков одобрительно махнул головой, потому что Третьяков был наивный и необстоятельный.

Шаньгин подсунул Третьякову ассигновку на жалованье реальному училищу. Третьяков не глядя подписал.

— А печать?..

Третьяков прибрякал печать.

Шаньгин вышел в коридор и в ванную комнату рядом. Сунул ассигновку Яковлеву.

— Только, Михаил Петрович, не смущайтесь... Потерпим... Скоро все это кончится...

Михаил Петрович юркнул в коридор и побежал в казначейство.

А Шаньгин вошел в Комиссариат и сказал:

— Кхи... Кхи-кхи... Только зачем это у вас такие приемы с интеллигенцией?.. Интеллигенция—гордость народа... А с террором я никак не согласен...

Третьяков сломал перо и закурил...

Третьяков был наивный и необстоятельный.

Шаньгин—наоборот.

V.

Через две недели Шаньгин был заведующим школьным отделом Народного Комиссариата Просвещения Архангельского края. Его утвердил Совет Народных Комиссаров Архангельского края единогласно по представлению Третьякова.

На заседании спросили:

— А ты его знаешь?..

— Знаю.

— И ручаешься за него?

Третьяков подумал и ляпнул:

— Ручаюсь.

Председатель Совета Народных Комиссаров Архангельского края почесал за ухом и сказал:

— Педа... Возьми Шаньгина на заметку.

— Хорршо.

На столе не было графина. На столе стоял тяжелый, губернаторский прибор с чернилами, с двухглавым орлом. Внизу по кайме прибора было на серебре выведено золотом:

Его Высокопревосходительству Архангельскому губернатору и действительному статскому советнику Виталию Аполлоновичу Бибикову от Архангельского купечества.

А в конце стола один из Народных Комиссаров выводил:

ПРОТОКОЛ

Пленума Совета Народных Комиссаров Архангельского края от 22 мая 1922 года

№ 38.

Народный Комиссар дописал, вытер перо о ершистую шевелюру, чвиркнул зигзагом сквозь прорезь в передних зубах на паркет затейливого пола в кабинете Архангельского губернатора.

VI.

Фаина Галактионовна товарищ Бражкина. - Машинистка в Комиссариате. Училась в Епархиальном—подруги говорили:

— Э... Ты далеко пойдешь. У тебя нос раздвоен... Ты удачливая.... У счастливых постоянно нос раздвоен...

Попала Фаина в машинистки в Комиссариат Просвещения. Вышла Фаина замуж за завхоза Совета Народных Комиссаров Архангельского края. У Фаины нос раздвоен. Фаине повезло...

У завхоза оставались бутерброды с маслом, с сыром, с семгой от заседаний... У завхоза еще много кое-чего оставалось...

Это все потому, что у Фаины нос раздвоен...

Машинисткой была в Комиссариате Народного Просвещения Архангельского края Фаина Галактионовна товарищ Бражкина.

А весь Комиссариат в одной комнате... О трех столах, трех стульях, одном шкапе с архивным хламом, семи окнах.

Больше сотрудников не было: Третьяков, Шаньгин и Фаина...

Бороздили море корабли с днищами стальными. На кораблях—башни. На башнях—пушки двенадцатидюймовые. На мачтах—флаги английские.

Еще в январе пришла телеграмма от Троцкого:

„Разрешаю высадить сорок английских солдат для охраны союзных военных грузов находящихся Мурманском порту".

Англичане высадили шестьсот.

Шаньгин пил чай у директора Ломоносовской гимназии и сказал:

— Начинают... Слава богу...

В мае телеграммы от Троцкого не было. В мае англичане без телеграммы высадили в Кандалакше сто человек.

Шаньгин сказал Третьякову:

— Ужасно наглый народ... И что им нужно от нас?..

Третьяков в досаде грыз ногти и писал в газету воззвание о Квартальных Комитетах.

Шаньгин вечером был на заседании Педагогического Совета закрытого Епархиального женского училища. После заседания Шаньгин подошел к начальнице закрытого училища, оглянулся по сторонам, потрогал начальницу училища двумя руками за сморщенную руку. Сказал:

— Молитесь... Скоро придут наши освободители... Кандалакша уже наша... Молитесь господу милосердному...

Начальница покрыла Шаньгина плесенью глаз старушечьих. Влагу пустила в кружевной платок...

Через час, озираючись, как вор, Шаньгин прокрадывался пить чай к начальнице.

В июне не было телеграммы от Троцкого... Англичане высадили четыреста сербов и пятьсот своих в Онеге. Город был сожжен.

Шаньгин сказал Третьякову:

— Кхи... Кхи... Кхи-кхи-кхи... Кхи-кхи... А я так думаю, что они в наши внутренние дела вмешиваться не будут... А?.. Как вы полагаете?..

Третьяков никак не полагал. Третьякову некогда было полагать. Третьяков писал доклад Совету Народных Комиссаров Архангельского края

О Положении дела Народного Просвещения
Архангельского края и Третьяков потерял

двенадцать школ, семнадцать шкрабов и две шкрабихи никак ненаходились, оттого Третьяков никак не полагал.

Через две недели Шаньгин сказал Третьякову:

— Очень уж устал я... Отдохну с месяц... Вы как на этот счет?..

— В революции отдыха нет... Понимаете?..

Это сказал Третьяков.

Шаньгин сморщил нос и кхикнул два десятка раз с перерывами.

В конце июля Третьякова назначили на съезд в Москву. Третьяков сказал Шаньгину:

— Я буду на съезде, а вы той порой подберете новых учебников...

Пришлось Шаньгину в Москву собираться. Забегал Шаньгин, как мышь в керосине. Сюда-туда носился по устланному голышами плоскому городу. Кхикать не переставал обеспокоенно и недоуменно. Под конец зарубил в голове островерхой:

— А это и лучше... Скажу—насилием большевики послали за букварями... Вроде за мученика идеи сойду...

Через двое суток в вагоне Совета Комиссаров Архангельского края,—на пружинах, на бархате,—он охватывал бутерброды, выданные Третьякову завхозом Бражкиным, чавкал ртом по свиному гулко и решительно. В уборную выходил—грыз из кармана круглые прянички, выпеченные для мученика начальницей закрытого училища.

Через неделю—выли собаки в Кегострове, в Заостровьи, во всех деревнях пригородных.

На Мудьюге народный комиссар внутренних дел товарищ Ошейников выстрелил два раза из пушки. Он был опытный пушкарь. Ехал на Мудьюг—сказал:

— Потоплю всех буржуев английских, ррастаку их мать... о... о... о... Я им покажу... Шоб буржуазия оплела?.. Не-ет...

На другой день утром, в сорока верстах от города вверх по реке тысячеверстной, Ошейников лежал пьяный в каюте первого класса. Рыгал и облёвывал линолеумовые, продранные полы каюты. Визжал останело. Бил рыжими, мясистыми кулаками в тонкую швирку каюты.

— Я... я... я... Пустите меня... Я им покажу... Всех перетоплю буржуев... сволочей... распротаку их мать... в душу... в веру... во все карабли буржуйские...

Его никто не держал. Только каюта снаружи была приперта обломком якоря, и у двери ходил часовой. А вверху на палубе народный комиссар иностранных дел Архангельского края товарищ Шмурович бил залпами из сорока винтовок по английскому аэроплану. Его пароход прикрывал отступление других семидесяти с грузом, с провиантом, с финансами Совета Комиссаров Архангельского края.

А в городе, вниз по реке на сорок верст, мальчишки носились по устланным голышами улицам:

— Невмешательство во внутренние дела... Освобождение Архангельска от немецких шпионов... Организовано новое правительство...

Фаина Галактионовна товарищ Бражкина взяла в ридикюль пять бутербродов с маслом и пять с семгой.

Фаина Галактионовна товарищ Бражкина на бегу жевала бутерброды и бежала встречать союзников. У Фаины Галактионовны товарищ Бражкиной под мышкой был зажат большой букет цветов. Она бежала к берегу реки и думала:

— Вот эти последние от большевиков съем... А там на английские булки... на корнбеф... на ром... Ах... душки англичане...

Фаина Галактионовна товарищ Бражкина захлебывалась радостным смехом.

А муж Фаины Галактионовны товарищ Бражкиной завхоз Бражкин бил пачками в английский аэроплан с парохода в сорока верстах от города и думал:

— Жалко бабу... Славная была баба... Расстреляют сволочи... Жалко... Вполне законченная революционерка... В два месяца перевоспитал бабу... Э-эх жалко... Большая потеря для революции и для партии...

И он бил и бил безустанно в парящую над головой, в харкающую осколками бомб, кусками свинца—растопыренную в стороны, большую серую птицу.

VII.

В Петрограде в Смольном Зиновьев сказал:

— Вам надо ехать в Архангельск... Там каждый человек дорог...

Третьяков ответил:

— Хорошо.

В тот же день Третьяков уехал, потому что он был необстоятельный человек.

А Шаньгин в номере коммунальной гостиницы сказал сам себе:

— Ниччего... Скоро и тут будут... Надо подвигаться к ним навстречу...

И Шаньгин уехал в Вологду навстречу англичанам. Это оттого, что был Дорофей Иванович Шаньгин—обстоятельный человек.

VIII.

Через год—не бегали мальчишки по выстреленным Петром улицам.

Комиссар внутренних дел Архангельского края товарищ Ошейников не выстрелил ни одного раза на Мудьюге из пушки.

Англичане через год не говорили

о невмешательстве во внутренние дела.

Они говорили другое... Разное говорили... Американским солдатам—что за поруганную большевиками цивилизацию. Сербским—что за братский, славянский, порабощенный кучкой узурпаторов, русский народ. По разному говорили.

Солдаты шли в бой. Убивали, изранивали, травили газами немцев...

Немцы те были набраны из Шенкурского, из Пинежского и из других уездов. Совсем особая порода немцев: с длинными бородами, с суземными, серыми глазами, с таежной, медвежковатой постатью. А тайгу, а сузем, а озера да ламбины знали эти немцы, как свои избы.

А то и еще были немцы... Только эти были самые настоящие —

Из Калужской
Из Тульской
Из Вятской.

Поймает инглиш такого немчуру растреклятого и ну лампасы на ширококостой спине немца вырезывать...

Немец в крик, в тоску, в досаду... Закрестится, замолится на языке немецком. А язык этот—с лопскими, с финскими, с самоедскими, с зырянскими словцами...

Порато...
Варака...
Чухарь...
Наволок...

Посмотрит инглиш в словарь. Пальцем сальным от корнбефа, от крови, от пожаров потыкает туда... А слова-то такого в словаре и нет. Залопочет по-своему... А выходит:—это по приказу Вильгельма особый язык у немцев выдуман... Совсем секретный такой... Наподобие условного. Оттого и в словарях не указано.

И снова за лампасы.

Гудела земля сырая, тяжелая, водянистая. Гудели реки многоводные, семужьи. Гудели суземы мшистые, бора ягелевые. Гудели гудом предсмертным багульники, вереса, ягодники...

Оттого гудело все, что три канонерки полосовали сырую утробу реки тысячеверстной.

Оттого, что на канонерках жрали шаньги огромными, круглыми ртами долготелые пушки, охающие на тридцать верст.

А шаньги—пороху, динамита, пироксилина пуд-другой... Свинца, стали, меди, никеля—десяток-другой...

По Усть-Ваге били прямо в церковь перекидным. Запалахкало, заходило страшное, кумачное по деревне, по избам, по дворам. Мужицким пòтом трещало... Горелым, мужицким пòтом...

А проходил час-другой—там, где прошло кумачное, лежала черная, уродливая обгорель.

В Тулгас садили прямой наводкой через песчаные наволоки, через губы тихие, через плеса...

Мясистые, стальные тела снарядов рвались над деревнями прибрежными, над тихими берегами реки тысячеверстной.

А в городе у истока реки сходились со всех концов железные линии рельс: от Сибири, от Урала, от Москвы, от Петрограда, от тундряного, поморского Архангельска. И звали этот город по старине старинной, стариковской...

Вологда...

Лет четыре сотни назад—бежали люди от разной хвори с юга, с Московии, с Украины, со степей южнорусских. До Москвы добегали—туда-сюда... А за Москвой—шла тайбола до Ярославля, через Ростов и дальше, дальше, в тайгу, в непроглядь таежную, в зверье, в гул лесной, в розмах дебрянóй...

Отбегали люди на три-четыре сотни верст от Ярославля. У истока реки тысячеверстной садились позалòговать... Из реки лесной,—хрустальной, живой водой усталые глаза протереть...

Садились. Назад вшивые, заросшие мхом человечьим, головы оборачивали. Говорили:

— Ну и Волок.

Оттого Волок, что волоклись люди месяцами сюда... Ноги волокли, волю, свободный дух,—все, чего не дала им родная сторона.

И вышло

Волок.

Вторые косматыми головами в ответ этим покачивали. Сквозь зубы, сквозь растрескавшиеся от перепаду губы, сквозь бороды волосатые, роняли этим:

— Да...

Так и вышло:

Волок

Да...

Оставались люди у истока реки. Строили из леса матерого, толстоствологo, смолевитого—избы лесные...

Так и шло... Бежало время, как сильный непокорливый зверь от своры собачьей.

И скрали люди из двух слов—

Волок

Да

одну буковку последнюю в первом... Не под силу языку старому было кочевряжиться над звуком

Кkkkkkk...

Все вроэмазь, широко, распоясанно любили старики...

Там где было

Кkkkkkk—

сделали

Ггггггг...

И вышло—

Волог

Да.

А прошло годов сотня, слились два слова многовековые... Расплодилось людвы в лесах. И людва пошла другая: мозговитая, головатая,—а слабая, поганая, неплодовитая...

Нарыла людва просеков в суземах, в тайге, в волоках, в тайболах... Из железа, из чугуна, из стали коней на колесах понастроила... Пустила из Москвы через Ростов, через Ярославль прямо к истокам реки тысячеверстной...

А доскакали кони до реки, морды железные в реку всунули,—поотяжелевали, пораздувало пуза коням... Стали на залогу.

Оттого-то и налепили доску красную на стенах белых люди. На доске написали:

— Вологда.

Всему на свете есть начало.

Всему на свете бывает конец.

И как сказать: ежели бы да жил человек не сто годов и не пятьдесят, а пятьдесят миллионов лет—может, сказали бы люди тогда, что и самому свету конец есть... А то... Да что и говорить. Если бы да так—тогда и все по-иному было б...

И Дорофей Иванович Шаньгин не бегал бы по Вологде... Не нюхал бы картофелем, расплюснутым посередине морды красной, туда-сюда: и по школам, и по Наробразам, и по Исполкомам разнехонькиm, и в самый Штарм 6 не подкачивало б Дорофея Ивановича.

А оттого все это происходило, что был Дорофей Иванович—
обстоятельный человек.

Побегал день. Побегал два. Неделю побегал. Вынюхал, что и как... Кхикнул носом десять раз под-ряд. Рукой пухлой, бабьей, округлой по бороде водил. Кхикал, водил и думал:

— Придется несколько изменить тактику... Под них придется подделаться... Потому—они теперь все. Ну, да мы это сможем...

Раскинул туда-сюда тем маслом, что в голове островерхой как еж. Глаза, затерявшиеся в бровях волосатых, маленькие, серенькие, заплывшие жирком, как у свиньи откормленной, сверкнули, заржали внутри себя подловатым смешком... И тоже маленьким, лукавеньким...

Через две недели Дорофей Иванович сопел в каюте первого класса от Вологды вниз по реке тысячеверстной. Выходил на пристанях. Носом кхикал внушительно и солидно... Оттого бабы вареный картофель, репу, шаньги, молоко из-под полы продавали Дорофею Ивановичу.

За три недели, за месяц вологжанской жизни,—беганья, кхиканья, нюханья,—подвело Дорофея Ивановича, как худую, зимнюю тарань... Теперь в пароходе отжирался, отпивался, отрыгивался дебело и внушительно. Приплюснувшее к позвоночному хребту за вологжанский месяц пузо, отвислошкурое тело на пузе, вся постать, изголодавшаяся на восьмушечном пайке,—пришли в норму, в плепорцию, того солидного ажура достигли, при котором Дорофей Иванович начинал временами кхикать по особенному...

На пароходе сопел три четверти суток в сутки, задрав бороду в потолок каюты. Четвертую четверть—нышпорил, искал, нюхал, приглядывался, окапывался, ориентировался...

Нанюхал, наприглядывал, наискал—комиссаров устюжских, комиссаров неустюжских, секретарей тех и други х.

Ниже секретарского ранга Дорофей Иванович не спускался. Оттого и вышло так, что как приехал в Устюг—так на другой день—

Паек первой категории А за основную службу.

Паек первой категории А за ответственность.

Паек первой категории А за инструктирование Волостных Отнаробразов.

Выходило три пайка.

И еще получил Дорофей Иванович от секретаря губпродкомиссарского зама

две месячных книжки в коммунальную столовую для ответственных работников Устюга Великого.

Оттого все это получил Дорофей Иванович, что в Вологде, после трех недель беганья, приноравливанья, кхиканья, вынюхиванья, выискиванья, выслуживания,—по наробразам, по комам, по комхозам, по бесхозам, по штармам, по губам,—он кхикнул на самоте десять раз и сказал:

— Придется несколько изменить тактику... Под них придется подделаться... Потому—они теперь все... Ну, да мы это сможем.

А они были—те самые, которые выдали Дорофею Ивановичу карточку

первой категории А за основную службу,

первой категории А за инструктирование волостных отнаробразов,

первой категории А за ответственность.

Которые выдали Дорофею Ивановичу

две месячных книжки в коммунальную столовую для ответственных.

А в книжках было написано:

Ивану Даниловичу Петрову...

И в книжках было написано

Данилу Петровичу Иванову.

Ни губпродкомиссар, ни замгубпродкомиссар, ни предустгубчека, ни зампредустгубчека и никакая чека не сказала бы—есть ли на территории города Великого Устюга

Иван Данилович Петров

и

Данил Петрович Иванов...

Не сказал бы и тот необстоятельный человек в коже, с кольтом, при шпорах, при звездах, при мандате двухаршинном, который при выходе с парохода в Устюге сказал Дорофею Ивановичу:

— А вы, дорогой товарищ, чего ж в партию... тово... не вступаете?..

Дорофей Ивансвич кхикнул два раза и сказал:

— Видите ли... некоторая, самая пустяковая и несущественная программная недоговоренность... А я человек прямолинейный...

Человек в коже с серьезным, вдумчивым уважением посмотрел изучающе на Дорофея Ивановича, потер лоб и сказал:

— В том-то и горе наше, что вот добросовестные революционеры, как вы,—по своей порядочности и честному подходу к вопросу из-за пустяковин там разных остаются вне партии... А всякая сволочь лезет и лезет...

Дорофей Иванович раз двадцать кхикнул под-ряд и ничего не сказал.

Когда вышли с парохода, человек в коже рукой волосатой потряс пухлую руку Дорофея Ивановича и сказал:

— Хотите военный паек?.. Нельзя, чтоб наши голодали при такой активной работе... Недопустимо...

Дорофей Иванович кхикнул два раза и взял паек.

В тот же день Дорофей Иванович за приятельской чашкой чая в доме у своего старого знакомца сказал:

— Вы знаете, Галактион Петрович... кхи-кхи-кхи... Эта сволочь в партию меня зовет... кхи-кхи-кхи-кхи...

— Та неужели?..

— Ей-богу... кхи-кхи...

И они оба загоготали, за животы хватались, горячим, душистым чаем отрыгивали, пальцами указательными тыкали друг дружке и все хохотали неудержимо и откровенно.

Все это произошло оттого, что был Дорофей Иванович Шаньгин

о б с т о я т е л ь н ы й ч е л о в е к.

IX.

А ниже по реке на четыреста верст товарищ Третьяков стоял на носу разведочного парохода. В длинную, зрительную, теодолитную трубу вогнал серый глаз. Резал речную, безголосую даль вниз по реке. Обглядывал. Размерял. Комья освинцовевшего от напряжения мозга гнал вниз по реке... Туда, где английские канонерки стерегли жуткую тишь реки тысячеверстной...

На пароходе все спало мертвым сном. Немая, страшная тишь давила реку. Умерла голосистая, прибережная тайга... Озолотило ее осенней смертью.

Только внизу, в машинном отделении, держала пар кочегарная вахта... Тихо, безголосо, бесшумно держала...

Третьяков знал:—только он один держит вот сейчас, вот сию минуту весь красный флот из семидесяти судов... Только вот в этой трубе, впаянной в правый глаз Третьякова, на борту передового судна,—вся надежда, вся правда большой, неописуемо прекрасной, как мир, как мироздание, как палящее солнце, великой борьбы классов.

Это знал Третьяков...

И еще то знал, что сейчас спит весь флот... Оттого спит, что вчера был бой на воде и что товарищу Ошейникову разрывной пулей оторвало руку и кусок груди... И еще оттого, что из двухсот человек коммунистов, удерживающих фронт на реке тысячеверстной, семьдесят выбыло из строя в одном бою... И оттого, что люди без смены, без пищи, без сна, целыми неделями, от устали падали за орудиями... Мертвым, окоченевавшим тело, сном засыпали под гул морских чудовищ, гнавших смерть двадцатипудовыми мешками стали, свинца, меди, никкеля, динамита и всего того, что придумано паршивой людвой во имя самоистребления...

Третьяков знал об этом.

Но Третьяков знал и о том, что на двадцать верст выше по реке спит весь флот красных, в надежде на передового разведчика... Спит таким сном, каким спят крепкие люди, выбившиеся из сил.

И еще о том знал Третьяков, что в городе у моря, там где Петром было выстрелено двести лет назад, за зеленым столом Военный Союзный Совет оценил головы двадцати пяти архангельских комиссаров и что его, Третьякова, голова пошла за сто тысяч золотом.

Оттого-то Третьяков перенес теодолитную трубку к левому глазу. Вынул из кармана грязный носовой платок. Вытер напряженную слезу на правом глазу.

И еще оттого сделал это Третьяков, что был он

необстоятельный человек.

X.

А на другой год приехал под Шенкурск большой комиссар из Штарма 6. Комиссар был в коже, как и все комиссары. Сверх кожи на комиссаре была доха из реквизированного имущества печорской буржуазии.

Комиссар вылез из саней, зашел в избу, напился чаю, отогрелся, созвал командиров отдельных частей и сказал:

— Этой неделей взять Шенкурск... Понимаете?.. Взять...

Те козырнули, звякнули каблуками и сказали:

— Есть.

На пятый день ворвалась с трех сторон ваганва в Шенкурск... Четвертой необложенной стороной—бежали в одних подштанниках и без подштанников, в одних телогреях заморских—солдаты: англичане, американцы, сербы, французы...

А до этого неделю цельную рев доносился до крепких ложементов Шенкурска:

— Даешь Шенкурск...

— Даешь кансервы...

— Даешь рому...

А другие исступленно порεвывали:

— В бога... В веру... В кансервы... мать...

Отборная кронштадтская братва, суземная, смолой напитанная ваганва, без штанов, без полушубков, в лаптях, в шапках с ленточками, в мерзлых безрукавках, до пояса, до колен, до шеи в снегу, морозом в двадцать, в тридцать градусов, без пайка, без снарядов,— одним духом, одними грудями волосатыми, одним ревом стихийного, мирового смерча лезла на Шенкурск.

На пятый день долезла...

И вышло это оттого, что большой комиссар в коже был

необстоятельный человек.

И еще оттого это вышло, что и братва, и ваганва, и отборные полки, набранные из зеленых, были

совсем необстоятельные люди.

Три дня и три ночи жрала ободранная ваганва, ошарпанная братва английские корнбефы, американскую виску, французские тонкие вина, итальянские печенья, тающие во рту...

А на четвертый день большой комиссар призвал всех начальников частей и сказал:

— Марш дальше... За противником... И так гнать, чтобы до самого Архангельска без остановки... Поняли? Через две недели в Архангельске...

Начальники не треньюнули каблуками...

Начальники не сказали:

— Возьмем...

Оттого они не сказали:

— Возьмем...

что за сорок верст пониже Шенкурска по Ваге, те, что бежали три дня назад в подштанниках и без подштанников, босиком и на босу ногу,—поодевали штаны, нарыли окопов, вырубили, вычистили место на пять верст кругом для пулеметного огня... Ложементов, землянок, гнезд пулеметных нарыли...

А когда отъевшаяся, опившаяся, отогревшаяся ваганва и братва подкатила к тем—закахкали маклиновки о пяти зарядах, застрекотали пулеметы, завыли, заголосили, захохокали с реки, с далекого английского тыла, двадцатипудовые снаряды с канонерок.

У ваганвы звалось это место Кицой.

У тех, что без подштанников,—никак не звалось...

Взяла ваганва Кицу не Кицу,—то место, где была Кица,—обсмоленное, черное, в саже, в грязи, в крови,—через полгода.

Уложила ваганва под Кицей две тысячи медвежковатых, на сузем схожих, красноармейцев.

И вышло все это оттого, что были те, что без подштанников,
обстоятельные люди...

И вышло все это оттого, что был большой комиссар
необстоятельный человек...

XI.

Через три месяца в Шенкурске товарищ Третьяков сказал в Губкоме:

— Разрешите выписать Шаньгина...

В Губкоме сидели новые люди. Эти новые не знали Шаньгина... И никто не знал Шаньгина... Новые спросили:

— А что за Шаньгин?..

Третьяков мотнул головой, грызнул вычищенный ноготь на мизинце и ляпнул:

— Это безусловно наш человек... Даже при эвакуации не остался в Архангельске с белыми... Ему верить можно.

Новые поверили и сказали:

— Выписывай.

Через две недели Шаньгин с Третьяковым стояли у карты военных действий Северного фронта гражданской войны и вели беседу.

Третьяков свернул козью лапку. Обхватил ее сухими, воспаленными губами. Вдернул в себя забористого дыму. Закатил мечтательно глаза под лоб. Сказал:

— Дорофей Иванович... И что ж это вы в партию не вступаете?. Уд-див-ви-тельнейш-ший человек...

Шаньгин шморгнул носом и ответил:

— А вот когда наши дойдут вот до этого места—вступлю.

Шаньгин сказал и ткнул пальцем размазанным, разопрелым в место на карте под самым Архангельском.

Третьякова что-то больно кольнуло в сердце. Третьяков тяжело, как сапная лошадь, шморгнул в себя воздух с дымом махорочным. Третьяков глаза из-подо лба спустил прямо в рот Шаньгину...

Но Третьякова куда-то позвали, и он не кончил того, что нужно было кончить.

Оттого не кончил, что был он

необстоятельный человек.

А Шаньгин через месяц писал в Губком заявление о вступлении в партию. В анкете под вопросом:

Причина вступления в партию?

Шаньгин мелкой дробью влепил:

Коммунистический образ мышления.

В Губкоме сказали:

— Хорошо...

и в Губкоме сказали:

— Можно принять... Хороший, честный, коммунистически настроенный работник Советской власти...

И приняли.

Шаньгин взял билет, кхикнул пять раз и пошел есть шаньги к одной из шкрабих.

Все это вышло оттого, что был Дорофей Иванович Шаньгин—

обстоятельный человек...

И вышло это оттого, что в Губкоме сидели—

необстоятельные люди...

А самое главное это все вышло оттого, что был товарищ Третьяков с жеребиными ноздрями хоть и хороший парень, а

страшно, страшно необстоятельный человек.

Оттого это вышло.

XII.

А машинистка Фаина Галактионовна Бражкина из Губернского Комиссариата Народного Просвещения Архангельского края сидела в отдельной фешенебельной каюте образцового английского судна по пути из Архангельска в Англию. Она была в подштанниках... И она была во всем кроме подштанников. И у Фаины Галактионовны Бражкиной был муж офицер английской королевской армии...

Все это оттого, что у Фаины был нос раздвоен... И оттого, что еще в Епархиальном ей сказали подруги:

— Э... Ты счастливая, Фаничка... У тебя нос раздвоен... У счастливых постоянно нос раздвоен...

А самое главное это вышло оттого, что была Фаина Галактионовна Бражкина

обстоятельный человек.

Под Тулгасом на реке тысячеверстной есть такое место завзятое никак туда солнце не хватает... На этом месте—могила, сплюснувшаяся от дождей, от снегов, от вод вешних, буйноголосых.

А кругом—сузем, тайга, чернишина, ягéль, верещаник, кукушкины льны...

На могиле нет ничего и никто не знает, что там могила: забылось.

В могиле лежит тридцать два коммунара, а в самом низу подо всеми—завхоз Бражкин.

Оттого они лежат там, что были они

необстоятельные люди.

И товарищ Бражкин лежит оттого, что был он —

необстоятельный человек.

А в Крыму, на Перекопе, хохол Падалко вставил кусок нагана себе в рот, выстрелил и упал. До этого за минуту шестью пулями он ссадил четырех казаков. Но казаков было девять. Оттого-то Падалко сплюнул на сторону и сказал довольно внушительно:

— Нет... Живого меня не возьмуть, ррастаку их мать...

После этого он вставил нужный кусок нагана себе в рот.

И вышло все это оттого, что был хохол Падалко —

необстоятельный человек.

В будний день.

Рассказ.

Л. Сейфуллина.

I.

Соня с криком из комнаты выбежала. Как мог бы Кондратий не слышать? Фу, чорт, погано вышло! Унизительно.

Не мог Родионов в глаза ему смотреть. Сказал хмуро, взгляд в сторону:

— Ну, чего ж ты? Проходи. Вон папиросы на столе. Кури.

Кондратий помедлил у двери. Поскреб широкими жесткими пальцами глубокие борозды морщин на щеках. Погладил крутой подбородок. Так всегда в замешательстве делал. Сказал, приглушив зычную свою глотку:

— Да я так... На огонь. Может, занимаешься, дак я поверну...

— Какие тут занятья! Слышал, чем занимались... Софья сцену ревности вздумала устраивать. Еще только этой пошлости не хватало! Не топчись, проходи.

Кондратий покосился на мягкий пуф и осторожно обошел его. Большой, громоздкий, а двигался легко. В излюбленном своем углу в крепком твердом кресле успокоился. Заговорил веселей:

— Ну и город! Строют, строют, а все пустырей прорва. Жуликам раздолье. Идешь да дивишься: все еще по башке дубиной никто не оглаушил. Одежу щупаешь. Может, уж сняли? Здесь как не снять? Грех не снять. И раздевают каждую ночь. А темнотища, грязища... Пока в середку города к фонарям допер, материться устал. Право устал.

Родионов, на ходу, взял коробку с папиросами со стола. Сунул рассеянно Кондратию.

— Закуривай.

Кондратий осторожно повертел коробку в руках. Вздохнул и положил на окно.

— Ни к чему с этим сусолиться. Все равно, что вино нынешнего разрешенного градусу. Канпот, а не выпивка. Я не уважаю! Сел бы

ты, чего мотаешься? Я вот лучше своего заверну. Можно маленько пролетарским покадить, а? Табак такой достал—выше первого сорту· Чисто перцем глотку продирает.

Родионов кривил лицо от своих дум. Все ходил из угла в угол. Не слушал. Что ж самому с собой-то разговаривать? Кондратий рассердился:

— Сядь ты, а то я домой пойду. Какой разговор, коль тебя как ветром туда-сюда.

Родионов круто повернул к письменному столу. Сел, как упал, в кресло.

— Скверно мне, товарищ Кондратий. Целый день проекты, запросы, отчеты. А поверх проектов посмотришь, все еще разбитое корыто. Ощущенье такое, что пальцем дыры затыкаешь! Палец отнял— опять дыра. Это труднее, чем воевать...

— Врешь, и крепкая починка есть. В креслах засиделся, поездил бы по епархии по своей. Не то чинимся, строимся. Вон в городе у вас бардаков сколь понастроили. Ну, ну, я смехом! Ка-афе... Куды ни плюнь, все кафе, а по-нашему это как есть... А ты не дергайся, я к слову. Съезди, говорю, хоть к нам на копи, а то на Варежинский завод.

— Это, брат, в целом микроскопическая долька.

— Хватит пока. А ты нынче от другого панихидишь. Плюнь! От бабы в доме всегда визг и суета.

И как нарочно за дверью злой срывающийся Сонин голос:

— Не приставайте ко мне. Надоело! Надоело с бараниной, с говядиной, с копейками! Что хотите покупайте, что хотите ешьте! Отвяжитесь, мама, идите к Василию. Пусть сам займется.

— Что там еще?

Родионов сорвался с места. По лицу пятнами румянец от гнева и стыда. Хлопнул дверью. А за дверью ему навстречу другой женский голос погрубей, постарше:

— Одурела у тебя баба. Совсем одурела! Не подступись. Я гляжу, гляжу, плюну да уеду. У эдакой хозяйки меж пальцев все плывет. Я и то топчусь, топчусь день-деньской и за внучонком, и на кухню. Эта ваша Катя-то советская—не прислуга, видимость одна!

— Ладно, мама! Идите сюда...

Кондратий не слушал. Чего слушать? Все бабы в домашности одинаковы. О Родионове думал: больно к жене присох. Из благородных, и он образованный. Вот и канителятся зря. Она „ах", а он изводится. Жалко парня. Стòющий. Тюрьмы, ссылки, смерти не боялся, а над бабой трясется. Звезданул бы раз хорошенько, небось бы на дело приналегла и „ахи" забыла.

Родионов вернулся суетливым и жалким.

— Помешали нам. Да, вот мы говорили...

Вдруг искренно, просто и горько сказал:

— Не знаю, что с Соней делать. Нервы ей полечить необходимо.

Кондратий недовольно повел большим мясистым носом. Будто неприятный запах учуял. Не сразу отозвался. От его заминки стыд опять щеки Родионова румянцем обжег.

„К чему выскочил с излияньями? Разучился владеть собой?"

Пробормотал поддельно-спокойным голосом:

— Ну, все это ерунда. Семейная канитель... Я сегодня на съезд не попал. У себя в губсовнархозе задержался. Ты сейчас оттуда?

Кондратий поглядел на него. Сдвинул черные с сединкой широкие брови. Прищурил уж высветленные выцветаньем карие глаза. Пососал раздумчиво трубку. Лицо у него стало хмурым, но беззлобным. Знающее и спокойное. „Дедушкино" лицо. И голос из зычной глотки мягче:

— Мне сын письмо прислал: „жениться, папаня, собираюсь, прошу вашего благословения". Я его благословил... матом. Написал ему: „кури, дурак, а не женись". Ласковый, прохвост! Не курит, не пьет, а жениться желает. Она ему, некурящему-то, покажет! Бабы теперь перепроизводство и дух в ней вольный. Без женитьбы охочи удовольствие предоставить, а он в хомут.

— Это ты мне, что ль, рецепт даешь?

— Ну, я тебе не доктор. Сам грамотный, пограмотней меня. За рецепту не заплотишь. Да как бы еще по шее не надавал: не той, мол, мазью мажешь. Я про сына к слову вспомнил.

И хитро сощурил, спрятал в щелки, смущенные глаза. Родионов усмехнулся невесело. Кондратий сегодня тяжел! Как-то все у него просто... зоологически. Не знает, как иногда жалость нестерпимо зудит сердце. Ведь Соня не такая, как все... И оттого, что в душу в воспоминанье прежней, не женой, невестой вошла, сердце екнуло, когда зов ее за дверью услышал. Робкий, смущенный:

— Вася!

Глаза засияли. Кинулся:

— Я сейчас.

Кондратий проводил его взглядом. Почесал подбородок и щеки. Вытянул ноги и вздохнул:

— Как есть, как я, дурак, со своей бывало...

В спальне Соня плакала на плече у Родионова:

— Прости меня... Я не знаю... Я злюсь, ревную, сама себе не рада. Уедем куда-нибудь! Уедем, пожалуйста! Здесь жизнь такая нудная, такая паршивая... Раньше, когда революция, незаметно было...

Родионов целовал мокрые щеки. Успокаивал:

— Уедем... Потерпи еще немного. Здесь большое дело. Ты мне помоги...

Вернулись в кабинет вместе. Радостью освеженные. У Родионова из глаз усталость ушла. Веселым огоньком светились. Красивая Соня слезами только умылась. Не раздрябло лицо. Кондратий крякнул и откашлялся. Когда Соня ласково попросила:

— Идем с нами к Завьяловым. Вас вместе с нами звали.

Охотно и зычно отозвался:

— Айда!

У Завьяловых—торжественный праздник новоселья. В городе стремительно строятся дома. Но и в новых больших на пустырях и в старых, скученных плотно, тесных, по старинке, только для своей семьи— битком забито людьем. Великой российской тревогой взметнуло народ. Перегнало из центральных дальних губерний страхом, службой, зовом семьи. Оттого трудно устроиться в удобном жилье. Завьяловым после долгих хлопот удалось. Четыре больших комнаты на пять душ. Понятно—праздник. Невысокий длинноусый Завьялов поблескивал затаенными узкими глазами. Хохотал довольным, утробным смешком:

— Наваливай, наваливай, товарищ! Милости просим.

Жирная, белая, моложавая жена из столовой отзывалась крикливо:

— Кто пришел? Проходите скорей. Жде-ем!

Родионова в передней Завьялов за локоть придержал:

— Сегодня у меня на беспартийных разрешенье. Не долюбливаю с чужими якшаться... Мало ли, слово какое сорвется, чужой всякое лыко в строку. Но жена одолела: хочу беспартийного веселья. Она у меня чертовка, прямо анархистка! Вы ничего?

— Что?

— А с беспартийными в компании. В губкоме вы у нас самый... Да, собственно, у меня только артисты. Они, так сказать, внеклассовый элемент.

— Я в монастырь не поступал. Думаю, что и всем нам разрешается общенье с миром.

Легонько высвободил локоть и прошел в столовую. Не долюбливал Завьялова. Не пошел бы, если б не Соня. Нельзя замуровывать ее. Подумал:

„Что-то лебезит этот партийный каноник. Гадость какую готовит или боится, что в каноне „ах вы, сени мои“ отхватил. Продувная бестия!“

Не разглядел даже всех за столом. Много собралось. Только оплывшее нездоровым жиром актерское лицо в глаза сразу вошло. Знал и отмечал этого певца из столичных. На закате в местную оперу дань с окраины собрать прибыл. Порадовался:

„Попоет. Это хорошо. Меньше тугого, старательного разговора“.

А разговор программный уже шел за столом, обязательностью и ходячими казенными словами выхолощенный разговор:

— У нас в женотделе...

— Через пару дней закончим регистрацию...

— После подсчета рессурсов бюро губкома убедилось...

Реплики подавались быстро, как по приказу невидимо нажатой кнопки. И как раз те, какие требовались. Безошибочно. Откровенно нарушала тон только синеглазая юная заведующая губженотделом. На вопросы досадливо встряхивала стрижеными радостно золотистыми волосами. Отзывалась односложно. Родионов поймал ее взгляд и сбра

довался, когда в глазах прочел ответный смех. И невольно, немедленно после этого тайного разговора с чужими женскими глазами, вспомнил о Соне. Так и есть!

Поймала взгляд. Злой зеленый огонек в переменчивых кофейных ее глазах. Успокоил улыбкой. А улыбка вышла трусливой. Нет, погано! Повернулся к соседу и обрадовался, что Кондратий. Сидел неподвижно, навытяжку. Глаза под брови, и рот сурово сжал. Дернул за рукав. Сразу морщины у Кондратия, как лучи. Тоже обрадовался своему. Наклонился и шепнул:

— Ничего, за ужином выпивон настоящий будет. Только вон энто начальство как бы не помешало. Богами, на отлете сидят. Напугают Завьялова, не даст!

Взглянув в его округлившиеся глаза, Родионов с трудом сдержал смех. Взглянул на начальство. Не нравилось им богами сидеть! Чернобородый секретарь губкома давил зевоту закрытым ртом. Старался в бороду скучающее лицо спрятать. Полный белесый, из местной госполитохраны, часто непроизвольно на дверь взглядывал. Видимо, метил удрать. Кудрявый плечистый из губпрофсовета с тоскующими еврейскими глазами беспокойно озирался по сторонам. Меланхолично барабанил пальцами по столу. Оба Завьяловы старались, чтоб шел оживленный разговор. Он говорил о нэпе. Она—об омолаживании. Он, перегибаясь через стол к певцу, громко, чтоб всем слышно было:

— Дл-ля нас это о-очень трудный период, но мы н-на чеку! Наша чека на-чеку! Ха-ха-ха! Приходится, до поры-до времени терпим! Хоть и тяжело-о... О-ох, как тяжело! Особенно нам, коммунистам военного времени...

Она, кокетливо раздирая сжатые в жире белесо-голубые глазки, военному спецу. Он податливо в ее сторону изогнулся.

— Это глупости, что только мужчин омолаживают. Совершенно невозможно... В конце-то концов, и женщины добьются. Я первая не пожелаю старухой при муже состоять. Какое ж это равноправие? Опять мы—угнетенные. В наш век социализма не должно быть угнетенных! Я вообще этого не терплю! Никакого угнетенья! За свою прислугу в собез я первая из наших начала взносы вносить...

Две артистки тоже старались общество оживить. Черноволосая худая к почетному углу со своего места рвалась. Через головы соседей к белесому из гепеу:

— Товарищ Кудрин, вы знаете толк в лошадях! Я тоже знаю. Ваша „Стрела" — я даже знаю, как ее зовут, видите? Она бесспорно хороших кровей...

Темноглазая с двойным подбородком, тоже из певиц небезызвестных, ласково, но внушительно Соне рассказывала:

— У нас старинный дворянский род. В пятую бархатную книгу записаны. Но у всех всегда был марксистский уклон к коммунизму. Моя сестра, золотая медалистка, вышла за человека из крестьян

И теперь коммунистка. Я тоже по убежденьям коммунистка, но в партию не могу. Такая натура! Не могу сжаться в програму...

Родионов ушел бы. Кондратий и Соня не пустили. Кондратий мужественно томился ожиданьем редкой выпивки.

— Пойми, не сироп, а настоящего, подлинного градуса!

Языком, прищурив глаза, почмокал.

Родионов качал головой:

— Вы же, на ваших копях постановили: решительная и неуклонная борьба с самогоном, вообще с пьянством. Ты же голосовал?

— Не-ет, я в оппозиции. Там молодые, а я в этом деле кержак.

Родионов отмахнулся от него. Соня принялась уговаривать:

— Так редко бываем в гостях. Надо же людей в простой домашней обстановке посмотреть. Не только за работой!.. Я хочу пенье послушать. Одна—нет! Не останусь одна!

Долго пенья ждали. Артистов уговаривали петь. Артисты всех уговаривали лучше хором спеть. Начала пышнотелая блондинка, из отдела мат и млад. Раскачиваясь на стуле, начала:

Я вам скажу один секрээт,
Кого люблю, того здесь не-эт...

Подхватили вразброд, но громко. Пели и „проведемте, друзья“, и про Стеньку, и про священное море, пока совсем не разбрелись голоса и не сгас хор в запоздалых откликах. Только тогда коротенький толстый артист подошел к пианино.

Спи-ите, орлы боевы-ые...

Весь чад скуки, удушливо пошлых разговоров, игры мелких человеческих интересов, нарочито орластого дурного пенья сразу ушел из комнаты. Жирнолицый с туповатым лицом его прогнал. И сам, тем неосязаемым, что делало его пенье прекрасным, как покровом себя закрыл. Невиден стал. У Родионова холодок по коже пошел. Он закрыл глаза и сразу отдохнул.

Артист больше не ломался, много пел. И было хорошо. Родионов точно свежей водой умылся. Радостный за стол сел. Но за ужином снова ему душно и тяжело было. Пить он не мог и не умел. Рядом охмелевший Кондратий зычными выкриками гул голосов покрывал.

— Спец! Если ты стоющий человек, я специального человека уважаю. Но это же какой специалист. По-одбойку, а он говорит, за-арубку вертикальную! Э-эх, за-арубку вертикальную. Я ему и сказал: никакой ты не спец, а по-просту говорить—идиёт. Он это верть, верть глазами, хлоп, хлоп ушами. Я, говорит, по теории инженер, а по практике техник. Дурак ты, говорю, и не техник ты вовсе, а двести первого пехотного полку капитан, прямо-ой и круглый со всех сторон идиёт!..

Толстая крикливая хозяйка надсаживалась. В ухо певцу:

— Любовь—это, разумеется, романтические бредни. Мы—материалисты. Нам необходимо происхождение видов. Но все же до искусствен-

ного воспроизведенья человека мы еще не дошли, и нужен данный субъект...

Певец плохо ее слушал. Осевшим от пенья и вина голосом Соне говорил:

— Знаете, чем ближе я соприкасаюсь с партийной публикой, тем больше узнаю: человеческое в партийных не угасло. Оно только часто засыпает...

У Сони лицо побледнело. Глаза стали большие и яркие. Певцу она улыбалась рассеянно. Думала о чем-то своем. Родионов с трудом поймал её взгляд. Она встала, обошла стол и шепнула ему:

— Я думаю: хорошо, что ты у меня есть. Нас двое, мы вместе. И не страшно, и не противно.

Горячее, благодарное и радостное взглядом передал. Не страшно, и не противно! Есть в Сониной душа прекрасная одна струна. Когда она отзывается, и Сонины крики, и бабье маленькое, жалкое тоже нестрашны. Возвращались втроем. Кондратия к себе ночевать потащили. Он сердито бормотал:

— Я тебя, Василий, люблю. Ты из нашего класса, хоть образованный. Но ты на меня сверху вниз не подсмеивайся. Подлость, что я напился. Единственный из рабочего класса, а с ними напился. Что ж, я старым перцем испорчен. А ты молодых погляди! Те не подгадят. И я не подгажу. Не-ет! Погоди, на работе погляди. Не тяни, сам ходить умею!..

Соня наклонялась к нему от мужа. Весело кричала:

— Мы-то вас знаем, Кондратий Евстратыч. Вы самый хороший на земле человек!

Потом к мужу:

— Я страшно боюсь ходить ночью по этому городу. Такие глухие улицы и площади, точно затаились нарочно, а в них живая опасность. Зловещие... Но с тобой я ничего не боюсь.

— И не бойся. Стрелять умею, и глаза у меня зоркие. А мне всегда кричать в эту темень хочется. Будоражить ее! Ноги в грязи вязнут, со всех сторон тьма плотной стеной, в глотку гнилое осеннее лезет, а у меня задор. Пройду-у!..

Громко крикнул. Молодо. Она радостно засмеялась. И казалось им, что этот крик и смех в осень, в тьму, в слякоть—большую пустынную, поглотившую живое, площадь разбудил. Но голоса их быстро сгасли Тьма и молчанье властно, обхватом, снова над площадью.

II.

Соня странная стала. Ей положительно необходимо лечиться! Похудела, совсем прозрачная, и в глазах—маята. Каждый день слезы, крик.

— Я не могу так жить! Целыми днями одна. Когда я тебя вижу? Только ночью в постели. И то сразу камнем засыпаешь. Возьми отпуск, поедем куда-нибудь вместе. Я не могу!

Смотрел на перекошенное злостью лицо. Сдерживал гнев. Старался спокойным тоном образумить:

— Соня, а первый год, как сошлись? Мы ведь месяц какой-нибудь... Да, нет и того не жили вместе. Урывками только видались. И ты была спокойна, работала...

— А, первый год! Совсем другое! Тогда был каждый день, как на страшном суде. Тогда была революция. А сейчас—будни. Я томлюсь, потому что меня ничто целиком не захватывает...

— А тогда разве праздник был? Тяжело, опасно... Голодали. Особенно ты, без меня. И работа у тебя мелкая была.

— Вовсе не мелкая. Что ж, что книжки выдавала да грамоте учила. Я тогда все это будто обедню служила. Очищалась, потому уто раньше беззаботно жила. А теперь у меня нет этого чувства. Нет! Где я его возьму? Если б ты со мной побольше бывал.

— Ты знаешь, я не могу! Ты с мечтой пришла, мечты надолго не хватило. А я дело взялся делать, и должен его делать каждый день. Поступи на службу, Володька уж большой. Ведь и из партии ты механически из-за сына вышла. Восстановись!

— Володьке твоя мать больше нужна, чем я. Не могу я хозяйством да Володькой жить. А в партии что я буду делать? Теперь неопасно и тоже как на службе. А на службу поступить не хочу. Каждая машинистка будет настроенье портить. Все в замшевых башмаках... А я... Погляди на меня, я как приютская питомка. Одно платье на все парадные случаи, а дома в облезлом ситце.

— Соня, откуда это у тебя? Ты никогда не была такой...

— Я всегда была такая, только с тобой старалась быть другой. А теперь я одна, целыми днями одна...

Взял большой аванс. Денег ей привез.

— Оденься, как нравится, если тебя расстраивает...

Смутилась. Долго нерешительно деньги пальцами перебирала. Положила их в ящик стола и тихонько, нерешительно из комнаты вышла. Что ж, у нее была трудная молодость. Скудный заработок. А детство в беспечной богатой семье. Старая закваска еще бродит. Ничего, изживет. Она—хорошая. Только нервы полечить надо. Заседанье в семь, а сейчас...

— Мама, Соня, скорей обедать.

Трехлетний Володька шумно ворвался. Ногу отца обеими руками ухватил.

— Слусай, слусай!.. Да папа-зе, слусай:

стол—тыс,
лыба—фис
маслобойка—бутелфас
сто такое—вас-ис-дас.

Розовое Сонино лицо в дверь. Глаза смеются. Подхватил сына и высоко в воздух взметнул. Сказал со смехом:

— Это мать тебя учит? Рано очень начала! Ну-ка, ну-ка, скажи еще твои глупые стишки. Вовка начал:

лыбз—фис...

Но звенящий Сонин голос прервал:

— Не смей! Глупые и не надо. Убирайся отсюда. Отцу твоему хочется, чтоб ты, как Толя Завьялов, революционные стихи картавил. Мы оба с тобой глупые, буржуазные... Отцу твоему не нужны. Иди сюда!

И заплакала. Еле успокоил. Пообедать не успел. Совершенно невозможная стала. В каждой фразе обидное для себя ищет. Откуда такая подозрительность? Будто, действительно, виновата в чем. Боится, как бы не уличили. Доктору позвонил. Утром толстый, румяный, почтительно, но с достоинством с Родионовым разговаривал:

— Немного истерична. В наше время это почти нормальное состояние. Малокровна и, кажется, беременна. Причин достаточно.

Только беременностью и можно объяснить все ее причуды. Мебель в доме и так мешает. Уступил ей, выпросил вначале. Везде кресла, креслица. Совершенно непонятные столики. Будто только для того, чтоб Кондратию в его приезды их ронять. Еще кушетку купила, цветов комнатных. Уголков в комнатах понаделала. В наряды с головой ушла. Модную в городе портниху, бывшую губернаторшу, к себе залучила. И очень этим гордилась:

— У ней вкус развит. В свое время, видно, сама умела одеться. И так хорошо держится. Не дерзко и с достоинством. Занятно, губернаторша на нас шьет.

— Велика радость, что вас обирает бывшая губернаторша.

— Ты ничего не понимаешь. У ней вкус. А зачем же безобразно одетой, запущенной быть, если можно красиво?

Пусть захлебывается нарядами. Хоть смотрит радостно. А то никлая, жалкая. О беременности не спрашивал. Сама скажет. Во всяком случае, это настроение у нее пройдет. И теперь бывает временами прежней, простой и милой. По вечерам, когда его статьи на машинке отстукивает. Иногда его делом оживляется.

— Значит, этот завод выстоит и на хозрасчете? Знаешь, Кондратий мне рассказывал...

Одну ночь долго и хорошо говорили. Опять почувствовал, какая она родная, своя, необходимая. Вернулся с заседанья поздно, а она из театра. В кабинет к нему вошла. Он поежился. Ноги, кажется, без чулок. Грудь и руки голые. На плечах только перехваты. А лицо бледное, с морщинкой у рта. Очень красивая и все же такая, какой не надо ей быть.

— Что это ты, Соня, без чулок, что ли?

Устало и медленно протянула:

— Такие чулки развратные. Телесного цвета и очень тонкие.

— Значит, сверху и снизу голая.

— Что ты как говоришь? Разве некрасиво?

— Мне неприятно. Нехорошо выставила все это. Нехорошо.

— Ты тоже, тело прятать надо. Стыдно! Если красиво, так не стыдно.

— Ну, так ходи голая, если не стыдно. А кусочками — противно. Нет, не сердись, не могу обнять тебя.

С тихим странным смешком:

— А вот после мужья удивляются, что мы изменяем! Ему уже противно мое тело. Он не разбирает, когда я красива. Что ж удивительного, если найдется такой, которому я еще не приелась, и он, как дар, как милость...

— Соня, я с тобой говорю, как с женой. А ты со мной, как проститутка... Подожди! Ну, прости! Соня, мне было больно. Прости! Я от боли тебя оскорбил.

Лежала на кушетке, лицо вниз. Горько и тихо плакала. А, зачем обидел? Конечно, это—ревность... Пошло! Обидно стало, что другие ее тело разглядывали. Мелкая, скверная ревность.

Успокаивал. Целовал ее голые руки, ноги в развратных чулках. А она дрожала. Цепко, судорожно обнимала его.

— Для тебя... только для тебя хотела быть красивой. Ведь мы молоды. Надо и нам красо-о-ту. А ты не замечал. Ну, и не надо! Не будет больше этих тряпок.

Доклад Варежевского завода остался недочитанным. Сперва кружили голову ласки. Как в первые ночи. Потом, усталые, успокоенные, лежали, на кушетке, крепко обнявшись. Говорили до утра. Солнце уже смотрело в окно, когда она спать уходила. Бессвязен был разговор. Обо всем. И о том, что жизнь в их любовь вторгается, и об его поездке на копи, и о Вовке, и о Кондратии, и о том, что она на службу поступит. Встал с тяжелой головой, но превозмогал эту тяжесть легко. Даже самое неприятное, что было в этой ночи—одно ее признание,—казалось изжитым. Из казенных денег, полученных на поездку, она часть истратила. Но теперь все выяснено между ними. Больше не повторится.

Тяжело ей закалка будничной, трудной жизни дается. Уж очень чувством живет. Ничего, закалится. Ясно, у ней перелом. Всяких разговоров о любви всегда стыдился. И мыслей даже. Сегодня подумал: „Здорово я Соню люблю".

Возвращался домой. Притихший, вечерний, без солнца и еще без ночных огней, лежал на дороге снег. Под плотными белыми навалами застывшие неподвижны были ветви деревьев. Люди спешили в дома. От холода, от вечерней снежной печали. Как хорошо, что и у него есть дом! И в этом доме дорогая жена Соня.

— Товарищ Степан, погоняй! Я озяб.

Дверь Кондратий открыл. Еще радостней. Нет, сегодня никуда. Ведь есть право хоть на один вечер дома. По настоящему, дома.

— Вот, старый увалень, как хорошо, что ты раскачался, приехал. Обратно вместе поедем.

Морщины у Кондратия от смеха радостными лучами. Бормотал:

— Ты только не сердись... Кралю одну вы к нам прислали. Я ее от работы отставил. Сюда к вам на пропитанье привез.

— А где Соня? Мама, где Соня? Давайте обедать. Скорей, скорей!

Глухо из-за двери спальни Соня отозвалась:

— Я сейчас.

В кабинете все ждал: войдет. Влюбился, как мальчишка, на четвертом году супружества. Кондратий рассказывал:

— Тоже еще один спец... Костерёв счет в израсходование аванса на мильён на поездку представил. А он туда же на тую же неделю и без всякой покупки,—на три мильёна. Я ему: врешь, обсчитываешь! А он френч с себя, хлоп об ковер! „Пейте мою кровь! Не надо ваших денег". Я ему: ты—гад! Как есть гад... Стану я гадову кровь пить! Тьфу!

Соня вошла. Тихо, будто запинаясь. Остановилась около Кондратия. Взглянула на него невидящими широко открытыми глазами. Сказала негромко, но внятно:

— Вася, выгони меня. Я тебе изменила.

Родионову показалось: ослышался. Только сильное физическое ощущенье боли в сердце подтвердило: правда. Неверным, сразу охрипшим голосом:

— Соня...

— Я очень грязно тебе изменила. Пьяная, в ресторане „Ривьера". В отдельном кабинете.

Будто вяло на вопросы учителю отвечала. Стояла, опустив руки. Но тусклые, застывшие глаза прямо на мужа. Кондратий шумно встал. Столик уронил. К двери кинулся. Соня остановила:

— Не уходите. Его одного нельзя... А мне все равно. Вы тоже меня уважали. Так знайте, какая...

Властное звериное все хорошие мысли сглотнуло. Жена в грязи вытаскалась! Все, что было привито средой, в книгах вычитано, все — долой. Повалил ее прямо на ковер и бил. Бил размеренно, больно, по-мужицки. Потом плюнул и выбежал из комнаты. Кондратий за ним. Надолго живо в памяти — по унизительному сочетанию большой боли и смешных слов—как Кондратий бормотал:

— То-то она пеклась, чтобы ты от бабы себя соблюдал. Как баба нащет тебя визгает, погляди, не замаран ли у ей самой подол. Моя вон, эдак на меня завертывала, а после наружу дело: троих добровольцев мне в помощники брала.

Неделя в диком кошмаре. Напивался пьяным, буянил, валялся по полу в кабинете ресторана с какой-то проституткой. Наконец Кондратий хлопотать пошел:

— Арестуйте домашним арестом.

От пьянства и дома еще не отошел. По ночам щипал, бил Соню, потом овладевал ею. Выспрашивал с болью до сладострастья мельчайшие сквернейшие подробности измены. Вспоминал, как в тот вечер вернулась... Он, дурак, не заметил, что пьяная, опоганенная... Мимо, к себе спать поспешно прошла. Не простилась, только головой кивнула. А он задержать не решился. Устала милая!.. А-ы-ых! Подлая, поганая... Рассказывай, рассказывай снова, как все было!..

Только на десятый день долго просидел один в своей комнате. Дверь на ключ. Кондратий ломиться начал:

— Стервец! Какой ты коммунист? Из-за бабы и работу и свою жизнь псу под хвост! Коль ты, сукин сын, отравился там, так—падаль! Падалью и выкинем. Открой!

Открыл. В синих кольцах глубоко запали глаза. Просерело лицо, и губы с синью. Но сказал спокойно:

— Коммунист я не больно заслуженный, а все-таки не совсем сдрейфил. Кондратий, пошли ко мне Соню. Нет, не трону. Я с ней об её отъезде поговорю.

Так взглянул, что Кондратий поверил.

У Сони глаза мертвые, без тепла. Желтое, старое стало лицо. Вошла покорно. В истерике покаянной муки от него даже хотела. Он начал спокойно, но голос осекся:

— Помнишь, мы с тобой заключили неписанный договор? Тогда, сразу... Как сошлись?

— Помню. Я нарушила, обманула. Прости. Мне казалось, что я не лгу, когда умалчиваю. Ведь, это не могло повториться! И тогда было в одури, без любви. Любовью с тобой всегда... всегда связана. А этим скверным, одна маялась. И думала, этого искупленья довольно... Я его застрелить хотела... Только из любви, из любви к тебе...

— Нет, я не про тебя. Я о себе. Я обещал тогда дать тебе свободно уйти... А сам так скверно... Почему ты не уехала?

— Не могла. Ведь это же шаг... Один только шаг! И из-за него уйти от тебя!..

— Зачем же ты сказала мне? Скрыла бы!..

Вырвалось, как мольба. Крепко в тело, в душу эта женщина вошла. Жена. Страшно оказаться врозь.

Губы побелели, но выговорила твердо:

— Я подлая, но еще не совсем... В обстановке этой запуталась. Снова наряды, любовная лесть... А дома ничего яркого. У меня, вокруг и во мне, все обыденное. Книги о красивой любви... Я их прочитала много от безделья. А ты часто грубо со мной... Он как с королевой...

Вздрогнула от того, что у него судорога по лицу.

— Нет, нет, я не вспоминаю. Это только грязно. Безлюбовно... Я тебе сказала только потому, что беременна. А его отродье тебе в дети принести не могла. В наши с тобой... дети. Я его вытравлю. Все равно вытравлю! Но я не могла...

Крепко сжал веки. Надо, чтоб туман из глаз ушел. Сделал большое усилие. Открыл глаза.

— Соня, сядь. Нехорошо как-то у нас... Я как судья... Но я не хочу обвинять! И не могу не обвинять. Если б ты ушла от меня, а то сама говоришь „грязно, безлюбовно". И как раз теперь, когда я тоже ощущаю томительность моей невидной работы... Я думал: как солдат на часах... Нехорошо выходит, слащаво... Ну, не об этом... Я тебе денег на дорогу приготовил. Только вот... Володю возьмешь?

Медленно покачала головой. Сказала:

— Я одна должна быть. Мне нужно искупление, иначе я не выправлюсь. А так, может, выправлюсь. Из души заваль горе выбьет.

Посмотрел на ее совсем некрасивое теперь лицо, на согнутую спину. Жалость пронизала. Своя, родная.

— А может... Может быть вместе изживем?

— Не-ет. И в тебе старой закваски много. Нам с тобой не изжить. Ты хочешь детей, жизни, очень хочешь. И я... тоже. Мы очень много смертей видели, надо жизнь... И мы хотим родить. А чтобы родить, надо чувствовать себя честным. Я сама, и ты меня тоже, честной больше не ощущаем. Ничего... Я цепкая, выкарабкаюсь.

— Мне с тобой очень трудно расстаться.

Она усмехнулось тусклой улыбкой.

— Вас дразнят служилым сословием. Что ж, за то вы и жертвенный запас. Вашим женам надо уметь такими же быть. Я к тебе не корнями... Так, веткой прицеплена была. Ну и отвалилась.

Подошел, чтоб обнять. И она к нему шаг сделала. Но оба не решились. Она тихонько вышла и плотно притворила за собой дверь.

Через неделю писал ей:

„Соня, я зову тебя. Не выплыву без тебя. Мне одному трудно. Работы много. Я ее не бросаю. И своих, коммунистов, много. А я себя все чувствую, будто один. Не вылезти мне"...

Ответила:

„Вылезешь. Приеду, когда сможем без волненья встретиться. Береги Вовку. Я работаю в детском доме. Ты не крупный, но верный. Такие для буден нужнее. А теперь, в отдаленьи, проще о тебе думаю. Но и без того люблю, хоть вместе нам не жить"...

Через месяц с объезда заводов Родионов вернулся. Похудевший но бодрый. На партийном собрании делал большой доклад. Кондратий в рядах сидел. Слушал и вслед за Родионовым губами шевелил. Будто помогал ему.

Выходили вместе. Родионов убежденно и удовлетворенно говорил:

— Чорт возьми, у нас большие хозяйственные возможности...

Тоскливая тусклость из глаз ушла у него. Живые были.

Проклятые зажигалки!

Повесть.

(Окончание.)

Н. Никандров.

VIII.

Однажды ночью Афанасию, когда он спал, привиделся чудесный сон.

Он счастливейший человек. Он изобрел такой штамп, пресс, который делает сразу целые зажигалки. Уже не надо было корпеть над производством отдельных частей. Оставалось только всунуть фитилек, вставить камушек, налить бензин. Мечта его жизни сбылась. Он побил всех своих конкурентов. Он продает свои штампованные зажигалки вдвое дешевле тех, которые вырабатываются его конкурентами в ручную. Он победил. Его конкуренты один за другим разорялись, нищали, умирали от голода, и трупы их, покрытые стаями мух, валялись по панелям. Поле трупов! И они не вызывали в нем ни капли сочувствия. Другое дело, если бы они в свое время конкурировали с ним более тонким искусством работы или более высоким качеством материала. А они брали только мошенничеством; били на дешевизну, наспех делали зажигалки, как попало, непрочно, на раз, лишь бы сбыть с рук; швов не паяли, только затирали подпилком; ставили дрянной материал, вместо стали давали железо... Обманывая таким образом народ, они губили все дело, убивали в людях самую веру в зажигалки, поддерживали в них тоску о спичках. И разве не поэтому в последнее время так быстро падал спрос на зажигалки! Только самых добросовестных из своих бывших конкурентов Афанасий сожалеет и берет их к себе в работники. Сам он уже не работает, лишь присматривает за делом. От хорошей пищи, от хорошей жизни он сильно располнел; одевался он чисто; излишек заработанных денег закапывал в золотых монетах в землю. Сына, Данилу, прогнал за страсть к живописи и воровству...

Проснувшись Афанасий долго лежал в постели и думал о раздразнившем его сне... Такой штамп, конечно, можно изобрести...

И потом в течение всего этого дня и за станком, и за обедом, и за чаем он не переставал думать о виденном во сне штампе, о сбивавших цену на зажигалки конкурентах, о том, как, наконец, избавиться от них...

— Дань,— вертел он ногой расшатанное колесо станка и любовно оттачивал головку медного колпачка для фитилька.— Слышишь, Дань?

— Ну,—протянул Данила в сторону отца неприветливо, а сам рубил толстую медную проволоку на крошечные столбики, будущие винтики.

У него была своя забота. Он вчера вечером в студии живописи был потрясен виденными впервые пейзажами Левитана. Вот та́к надо владеть кистью, вот такие надо писать картины! Репин хорош, но у него чего-то нехватает по сравнению с Левитаном. Чего же у него нехватает?

— Данька!

— Ну?

— Ты оглох, что ли?

— За работой плохо слыхать. Чего тебе?

— Я думаю, что если мы начнем вырабатывать зажигалки на какой-нибудь новый более заковыристый фасон, то тогда все покупатели, как сумасшедшие, бросятся к нам, и нашим конкурентам придет конец. Ты сообрази, у нас вся мастеровщина делает зажигалки на одну моду: цилиндрические, из одних и тех же трубок, которые тащат из одного и того же казенного завода. Ты слушаешь?

— Ну?

— Ну, а в других местностях делают другие зажигалки, там цилиндрических нет. Тульские самоварные фабрики прихитрились делать зажигалки на манер маленьких детских плоских самоварчиков, с ручками, с крантиком, с канфоркой, с поддувалом, все как следует, я видел, один человек сюда привозил. Ижевский оружейный завод выпускает зажигалки в виде аккуратненьких револьверчиков. Мотовилихинский орудийный завод гонит зажигалки на манер коротеньких мортир. Харьковские паровозостроительные мастерские — на манер игрушечных паровозиков: с трубой, с колесиками, все честь честью. Одесса забивает людям головы зажигалками в форме настоящих карманных часов: таких же круглых, с колечком для цепочки, с заводной шишкой. А в то воскресенье Марья на базаре слыхала, как один приезжий из Москвы рассказывал, что туда из Екатеринбурга приезжала депутация уральских горнорабочих, чтобы поднести Ленину зажигалку из самых дорогих уральских самоцветных камней. Таких зажигалок во всем мире только одна, у Ленина, и, говорят, если перевести на деньги, цены ей нет!

— Ну, и что? — раздраженно пробормотал Данила, нарезая на винтиках резьбу.

— А то, что в нашем городе производятся зажигалки самые некрасивые на вид и самые неудобные для носки в кармане: такой зажигалкой через неделю в кармане дырку протрешь.

— Это пустое, — насмешливо бросил баском Данила. — И есть о чем тут думать.

— Нет, это не пустое! — вспылил отец и задрал в сторону сына хоботом нос. — А о чем же тогда думать? Вот отсльем зажигалку под бюст Левы Толстого и сразу дадим товару нашему ход!

— О, отец! Вы опоздали! Лева Толстой сейчас не в моде! Сейчас Лева Троцкий в моде!

— Ну, под Леву Троцкого сделаем. Какая разница? Нам все равно, лишь бы хорошо продать.

— Вы все фантазируете, отец. То изобретаете немыслимые штампы и богатеете, то везете в Москву проект декрета о преследовании недобросовестных зажигальщиков. Все это пустые фантазии, мания, бред.

— Нет, не бред! Не бред! Вот начнем с завтрашнего дня для начала делать новые зажигалки: плоские-плоские, как книжка курительной бумаги. Такие удобнее будут ложиться в кармане. А то до смерти надоели наши круглые, цилиндрические!

— Отец, а вы о том подумали, что новая форма зажигалок потребует и новых инструментов и нового приспособления мастерской?

— О! Зачем? Не надо очень до такой степени!

— А как же вы будете работать?

— Надо проще. Надо как можно проще. И что понадобится новое приладить, то я прилажу сам за эту ночь. Ты можешь спать. А завтра утром встанешь, и мы будем работать уже на новый лад.

— С плоскими паять много! — серьезным тоном предостерег отца сын, ссыпая ладонью с края стола в коробочку готовые медные винтики.

— Ничего не много! — не только не остывал, а еще более разгорячался отец, равномерно покачиваясь над колесом станка одним плечом вперед. — Корпуса на швах можно не запаивать, их лучше всего закраивать, потом приклепывать на стальной линейке.

— Ого! Это еще дольше! Такую зажигалку придется продавать в три раза дороже.

— Ничего не дольше. Ничего не дороже. Кончено. Уже решено. Завтра делаем первый опыт. Надо же чего-нибудь добиваться, довольно ждать!

— Добьетесь... — иронически фыркнул сын.

Отец спал эту ночь необыкновенно тревожно.

— Цилиндрические зажигалки! — мучительно стонал он во сне, извиваясь по постели в конвульсиях. — Плоские зажигалки!.. — как набожные люди взывают к иконам, со страстной мольбой взывал он к новым зажигалкам, в которые поверил. — Плоские!.. Цилиндрические!.. Плоские!..

— Репин!.. Левитан!.. — в то же время бредил в другом углу Данила, корчась на койке в таком же исступленном гореньи. — Левитан!.. Репин!..

Было два часа ночи, когда Афанасий вдруг сорвался с постели, зажег светильник и, страшно волнуясь, принялся за переустройство орудий производства...

Возились на другой день с плоскими зажигалками отец и сын много; измучились страшно; от волнения не могли ни есть, ни пить, ни отдыхать; взвинченные нервы все время держали их в каком-то странном движении, ни на минуту не давали им замолчать, заставляли их беспрестанно болтать; некоторые инструменты они в горячке сломали, некоторые переделали применительно к новому требованию; окончили рабочий день значительно позже обыкновенного; сделали на две штуки меньше положенного числа... И в результате всех этих нечеловеческих мук Марья половину зажигалок принесла с базара обратно!

— И что вы понаделали!.. — кричала она еще со двора, закатив от усталости и отчаянья глаза, и, еле живая, ввалилась в комнату с худым, костлявым, безжизненным, землистым лицом, с толстым слоем уличного песку на бровях, на щеках, на ушах, подпоясанная, как подорожная странница, простой веревкой. — Делали б, окаянные, как делали раньше! А то понавыдумывали кто его знает чего! „Плоские“! „Плоские“! Какие такие могут быть „плоские“! Прежние лучше шли. Уф...—повалилась она на стул.—Кто ни подойдет, каждый спрашивает: „а круглых, цилиндрических, какие были раньше, нету?“ Народ, как сговорился „дай и дай круглых, те надежнее“. Кто ни возьмет плоскую зажигалку, повертит ее в руках и потянет носом: „а, это такая плоская“. И возвращает товар обратно. Только и слышишь от всех: „вот прежние, трубками, те были хорошие! Вот, за те можно было цену дать!“.

— Эти же лучше!.. — простонал Афанасий и изобразил на лице горькую гримасу.

— Тебе они, может, и лучше, а людям хуже!—оборвала его Марья, сидя на стуле и разматывая с себя платок, шарф, веревку, пальто...—Понаделали делов! Понавыдумывали на свою голову! „Плоские“, „плоские“, и всю эту ночь спать никому не давали! Я ходила сегодня по толчку, как пьяная: тут ночь не спала, кружится голова, а тут сердце сосет горе: никто не берет новые зажигалки! Прямо хоть ложись и помирай! Я зашла в базарное отхожее, стала, прислонилась головой к стенке и давай плакать. Всю свою жизнь припомнила! Спасибо женщины, которые заходили туда, обступили меня и посочувствовали мне: все-таки своя сестра, женщина, не ваш брат, чорт, мужчина...

— По крайней мере, что же покупатели говорят про плоские зажигалки?—спросил Афанасий, стоя перед Марьей с оглушенным видом.—Что им в них не нравится?

— Я же тебе говорила, что они говорят! — раздраженно сказала Марья. — Говорят: „какие-то четырехугольные, позапаянные кругом". Я говорю: где позапаянные? А они: „вот, вот"... И ковыряют пайку ногтем.

— И ты давала ковырять?!

— Я давала не ковырять, я давала смотреть, а они сейчас же ковырять. Тот, чтоб ему не жить, колупнет, другой колупнет... Прямо замучилась лаять на них, на проклятых. Только от одного отгавкаешься, на другого гавкать начнешь. Это не такая торговля, не магазинная, в кресле сидеть и за ручку кассу вертеть, это толчковая торговля, зубами у людей из глотки деньги выдирать!

Афанасий шумно вздохнул и с выражением безнадежности помотал головой. Он выглядел опустошенным, смятым.

— Что же теперь будем делать, отец?—задал ему Данила страшный вопрос.

— Надо еще дня два-три вырабатывать плоские,—перемогая себя ответил Афанасий, в то время, как в его глазах стояла тьма полного неведения. — Может, покупатель еще одумается, убедится, поймет. В торговле так: надо сперва приучить покупателя к своему товару, а потом уже брать с него барыш.

— А не ошибемся ли мы опять, отец?

— А что же делать? Сразу отказаться от плоских тоже нельзя. Столько бы сделано новых приспособлениев разных, столько порчи, изъяну...

И они еще в течение трех следующих дней выпускали на рынок плоские зажигалки. И результат получался каждый раз один и тот же: энергии затрачивали они все больше, а выручки приносила Марья все меньше. Обоим мастеровым сделалось так страшно, как еще никогда не было. Казалось, они навсегда потеряли что-то дорогое для них. А на пятый день они со странной горячностью бросились делать прежние зажигалки, из трубок, цилиндрические.

— Слава богу! — вздохнула с облегчением Марья, когда узнала об этом решении мужчин. — Одумались! Хотели быть хитрей людей!

Но за эти пять дней на рынке произошел какой-то непонятный для них сдвиг в ценах, и цилиндрические зажигалки почему-то пришлось продавать еще дешевле плоских.

— Сбились с цен!—почти плача от досады, объясняла это Марья. — Не надо было отрываться от цен! Видите, что вы наделали?

И жить стало еще труднее; сидели на одном хлебе; голодали. И лица у всех с каждым днем вытягивались все более.

— Если так будем питаться... — начал было Данила и не докончил жуткой фразы, с суровым лицом озираясь на всех за обедом, с отвращением разминая ложкой в тарелке ржаные сухари в кипятке.

Данилу, самого здорового и самого упитанного, голод разил быстрее всех. За несколько тяжелых дней лицо его осунулось, румянец

пожелтел, в расширенных глазах все время стоял нескрываемый испуг перед завтрашним днем.

— Видишь, отец,—продолжал он, немного помолчав и проглотив ложку мятых сухарей, пахнущих мышами.—Мы отказались от завода, отказались от людей, захотели прожить сами. „Сами себе хозяева". И что же получилось? Мы пропадаем с голода, а кругом нас, вместо помощи нам, раздается шипенье: „смотрите, какие деньги огребают Афанасий с Данькой на зажигалках! Смотрите, как они богатеют! Смотрите, как они копят деньги, отказывают себе во всем! Смотрите, как они даже сохнут от жадности к наживе!"

— Пусть будут прокляты те люди, которые про нас так говорят!— четким, дрожащим от возмущения голосом произнес Афанасий в пространство, как будто с тем, чтобы те люди его услышали.

И в его усталом и вместе гневном лице было что-то пророческое.

— И если бы только чужие про нас так говорили,—затараторила злым бабьим голосом Марья,—а то и свои близкие! Своя родня нам завидует, и все желают нам зла!

— А на заводе...—воспользовался случаем Данила.

— Стой!—резко закричал на него отец и показал ему ложкой на мастерскую.—Наш завод здесь! Куда же мы денем все это обзаведение? На толчек снесем?

— А что же мы кушать будем?—истерически взвизгнул Данила и в свою очередь поднял ложку лопастью вверх.—Ведь день ото дня мы слабеем!

— Кушать?—грозно переспросил отец, опустил лицо в стол, подумал, потом встал и пошел во вторую комнату, принадлежавшую женщинам.—Кушать?—повторил он на-ходу зло и загадочно.—Кушать?— послышался уже из другой комнаты его голос, пропитанный как бы дьявольским смехом.

Марья вскинула громадный, белый косой глаз вверх, всем своим нутром вслушалась в сторону своей комнаты, потом, как обожженная, вскочила с места и с воем ринулась туда.

IX.

Из второй комнаты пробивался спиной в дверь Афанасий и тащил за собой, крепко держа за концы в обеих руках, совсем новую, еще глянцевитую скатерть, ярко-желтую, как яичный желток. В противоположный конец скатерти впилась всем своим существом Марья, она волочилась по земле, билась, как подстреленная птица, и, что было силы, голосила. Войдя в большую комнату, Афанасий сжал губы, рванул скатерть на себя и быстро закружился вместе с нею на месте. Марья, приросшая к другому концу скатерти, поднялась на воздух и плавно полетела вокруг Афанасия, точно катаясь на гигантских шагах.

Утомившись, Афанасий проскрежетал зубами и с остервенением хватил скатерть и Марью о землю. Марья брякнулась об пол, перевернулась два-три раза, но скатерть не выпускала.

— Завтра же продашь на хлеб это дерьмо!—прокричал Афанасий, стоя над ней и тряся другим концом скатерти.

— Нет, ни за что не продам! — еще тверже прокричала Марья и крепче прижала к груди желтую скатерть, похожую на парчу.

— Продашь, сатана!

— Не продам, окаянный!

— Врешь, продашь!

— Убей, не продам!

— На кой же тебе эта скатерть? Она дарма лежит в сундуке, только место занимает, преет, гниет!

— Скорей ты, старый чорт, сопреешь и сгниешь, чем это добро сгниет! Оно у меня больше чем двадцать лет лежит и все новенькое!

— Мы же сроду не накрывали ею стол и сроду не будем накрывать! Сумасшедшая!

— Мало ли что? А я все-таки знаю, что у меня в доме есть хорошая вещь! Она полуатлас! Сумасшедший!

— Пусть будет трижды атлас, но питаться нам чем-нибудь надо? Ведь мы работаем!

— Как вы работаете? Вы работаете себе в убыток! Чем такая работа, лучше всем семейством пойти куски собирать!

— Это же хлам, барахло!

— Это хлам? Это барахло? Новая скатерочка „хлам"! Такая нарядная скатерочка барахло!

И Марья, лежа на полу и подложив под одну щеку скатерть, раскатилась звонким, нахальным, вызывающим смехом.

— Значит тебе вещей жаль больше, чем людей, — тоном утверждения спросил Афанасий, наклонился над женой и изо всей силы всадил ей в бок кулаком раз, потом еще раз, туда же в бок, между ребер.

Он бил ее, как работал; смотрел на нее в упор и ожидал, когда она выпустит скатерть.

Марья от нестерпимой боли дико выкатила на мужа белок косого глаза и после нескольких его ударов с силой бросила ему в лицо свой конец скатерти, а сама продолжала биться на полу и голосить.

— Убил! Убил! — кричала она. — На смерть убил!

— Отец!—опомнившись, вскочил со своего места Данила, впился двумя руками, как клещами, в затылок отца, легко поднял его над полом, тряхнул в воздухе и ткнул в стул.—Отец, ты в своем уме?— крепко взял он его левой рукой за грудь у подбородка.—Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты женщину бьешь! Ты жену свою бьешь! Ты мать мою бьешь! И ты сейчас мне ответишь за это!

— Даня, не надо!— вцепилась в плечо брата Груня, задрожала и заплакала. — Даничка, миленький, дорогой, золотой, не надо бить папу, он старый!

— Да, — глухо пробормотал Афанасий и схватился руками за лицо. — Ошибся... Ошибся... Бить ее не надо было... Никогда не бил, никогда...

Марья, увидев, что муж кается, начала голосить еще сильнее, не поднимаясь с пола.

Оставив в покое отца, Данила с Груней подняли мать, усадили ее на стул, успокаивали.

— Наплюнь на скатерть,—убеждал ее Данила.—Может, все придется продать. Не будем же мы, сидя на добре, умирать голодной смертью.

— Все продавайте, все разоряйте, только скорее! — с закрытыми глазами сидя на стуле, просила Марья.

— Мама, — вразумлял ее Данила. — Ведь вы подумайте, мы не на что-нибудь, а на хлеб хотим ее обменять!

— На что хотите, хоть на вино ее меняйте, — слабым голосом проговорила мать. — Все равно я здесь больше не хозяйка, делайте что хотите.

— Мы потом тебе все вернем, — вставил свое слово Афанасий спокойно, — когда зажигалкам начнется ход, мы тогда три таких скатерти тебе купим. Мы ее продадим только на пока. Чтобы обернуться.

— Вы „купите"! — ненавистно улыбнулась Марья. — Вы много за последнее время покупали. Я знаю: за одной моей вещью поволокете на толчок и другую. Уже узнали ход в сундук...

Оказалось, Марья была права. Вслед за скатертью, вещи одна за другой потекли на толчок из ее заветного сундука. Продали шапочнику на подкладку ее белое подвенечное платье, которое она надевала только раз в жизни, когда рядом с молодым и бравым Афанасием стояла под венцом в церкви. Продали ее старинный голубой корсет, который она так ни разу и не удосужилась надеть: все было некогда. Снесли на толчок и маленький дамский красный зонтик, о котором все в доме забыли и который нашли на самом дне сундука совершенно случайно. Унесли из дому и кружевные занавески, рассчитанные на будущую хорошую жизнь, в хорошем собственном доме, на хорошем жалованьи, при хороших знакомствах. В конце концов нашли и новую, пеструю и очень красивую клеенку для многосемейного обеденного стола, которую Марья, с глазами хищницы, перепрятывала от мужчин с места на место более десяти раз.

— Отыскали, проклятые! — глядела она из окна, как Афанасий ковырнул лопатой из-под земли во дворе под стенкой длинный свиток клеенки.

— На хлеб! На материал для зажигалок! — с торжествующим лицом вносил Афанасий со двора в комнату трубку клеенки и стряхивал с нее рукой кусочки сыроватой земли. — У женщины вообще

неполный ум, и она может помереть на улице голодной смертью с бриллиантовым ожерельем на шее. А мы, мужчины, могли бы на эти бриллианты целую трехтрубную фабрику зажигалок открыть. Правда, Даня?

— Ну, нет, отец, — улыбнулся Данила. — За зажигалки спасибо. Сыт ими по горло. „Фабрики" твоей не хочу.

— Отчего же не хочешь? Работать зажигалки целой фабрикой это не то, что в ручную.

— Ах, оставьте, отец.

— Ой-ей-ей... — привычно убивалась в то же время Марья на своей постели, — лучше бы сразу меня убили!.. Такая красивая была клеенка!.. Синяя с красными олеандрами!..

— Маша, — вошел в комнату жены Афанасий и остановился перед ее постелью. — Ты только скажи: касался я когда-нибудь твоего сундука, пока у нас в доме не было такой страшной нужды?

— Что теперь об этом говорить, когда сундук уже опорожнили, — едва успела проговорить Марья и разразилась новым приступом рыданий.

— Нет, ты скажи, я касался? — настаивал Афанасий. — А теперь, когда у нас такая нужда в хлебе, я говорю: давайте будем обратно проживать то, что мы когда-то нажили. На самом деле, зачем же надо было тогда трудиться и наживать добро? Неужели только для того, чтобы оно так и лежало по сундукам, новое, как в магазине, до самой нашей смерти.

— Он голыми нас оставит... — плакала напротив, на своей койке, Груня, у которой накануне отец взял и снес на толчок полушелковую цветистую шаль, длинную-длинную, до самой земли. — Скоро не в чем будет в город показаться-а...

— А ты не показывайся, — сказал отец и подозрительно оглядел глазами ее фигуру. — Уже, кажется, допоказывалась...

Прошло еще несколько дней, и Афанасий стал внимательно приглядываться к платью и обуви семьи, что на ком было лишнее, что на ком слишком новое, слишком хорошее, не по трудному времени.

— Сейчас не до моды, — говорил он, снимая с семьи что-нибудь из белья. — Ишь каких кружев на панталонах понашивали.

— Это праздничные, — плакала Марья.

— „Праздничные"! — насмешливо фыркал Афанасий и запихивал чистенькие панталоны в грязный мешок.

Это, наконец, испугало даже Данилу, который долгое время был солидарен с отцом.

— Отец, — как-то раз, за обедом, сурово заявил он и достал из кармана лист исписанной бумаги, — отец, вот тут у меня таблица, полный отчет, во что нам самим обходится каждая зажигалка и почем мы ее продаем. Математика точная наука, она не врет. Довольно работать в темную... Смотри сюда, вот тут перечислено все, что мы про-

дали из домашности на поддержание производства зажигалок, потом подведена стоимость всего; потом вот здесь указано, сколько нами выработано товару и сколько выручено денег за этот товар. Выходит, что затратили мы на производство зажигалок больше, чем выручили за них. Каждую зажигалку мы продаем на рынке на 30% дешевле, чем она нам обходится самим. Понял: де-шев-ле. Значит, было бы выгоднее их вовсе не делать и вообще ничего не делать, а лежать на печке и проедать дом.

Афанасий с мучительной улыбкой посмотрел влево, мимо таблицы, потом вправо, тоже мимо таблицы, потом опустил лицо, мотнул головой и сказал:

— Ты знаешь, что сделай этой таблицей. Ты ею...

Он прибавил еще два слова и неестественно рассмеялся.

— Отец, это не ответ! – закричал сын.

— Что ты меня учишь?—серьезно заговорил Афанасий.—„Таблица", „таблица". Таблица таблицей, а жизнь жизнью. Я знаю, что в жизни ни одно дело не идет гладко, какое ни возьми: то полоса убытка, то полоса прибытка. Сейчас мы попали в полосу убытка. Надо перетерпеть, переждать, и мы выкарабкаемся.

— А мы мало терпели, ждали?

— Терпели много, осталось терпеть мало. Как-нибудь выдержим.

— Разве при такой сумасшедшей конкуренции можно выдержать!—вмешалась в разговор мужчин Марья.—Сейчас, что ни день, то на базаре появляются новые продавцы зажигалок.

И она рассказала, как вчера на толчке одна женщина, тоже жена рабочего металлиста, замечательно хорошие никкелированные зажигалки почти что задаром народу отдавала.

— Ну, и, конечно, весь народ к ней: „никкель", „никкель". Я смотрю, чтó это такая толпа собралась! Подхожу, а она только поспевает товар отпускать, деньги получать, сдачи сдавать. Ах, ты, думаю, холера. И я так пожалела, что я не мужчина и что она в три раза здоровее меня. У не разбирают товар, а на меня только фырк носом: „тю, медь"

— Тьфу на такой народ!—сплюнул силой Афанасий, потом с искаженным злобою лицом, спросил: — И ты сама видела ту женщину?

— А как же не видала? Схватилась ругаться с ней! Она меня последними словами, и я ее последними словами. Потом я ей пригрозила: „погоди, вот я своему мужу скажу". А она: „и у меня муж есть".

— И ты запомнила, какая она из себя?

— Запомнила.

— И заметила, где она на толчке стоит?

— Заметила. В том ряду, где женщины стоят, которые торгуют с рук.

— Ну, хорошо же.

— А что?

— Ничего. Вот кто нам вред производит! „Никкель", „никкель". А он—на раз! Оттого она дешево и отдает свои зажигалки, что они фальшивые!

И, едва проводив на другой день Марью на базар, Афанасий задал Даниле урок, а сам надел картуз и взволнованно заспешил из дому. Он шел прямо на толчок.

Летний солнечный день слепил его, обилие чистого воздуха опьяняло его, шум и движение улицы увеличивали его душевный хаос; он ничего из окружающего не понимал, не замечал, только ускорял шаги, полный такого странного чувства, как будто бежал вперед с исключительной целью поскорее ринуться в какую-то пропасть.

— Где здесь женщина, которая никкелированные зажигалки почти что задаром отдает?—задыхаясь от волнения, спросил он на толчке у женщин, продающих зажигалки.

— Вон там, вон там!—радостно зашевелились те, повернулись все в одну сторону и указали Афанасию рукой.—С краю! С того краю!

Афанасий увидел перед собой длинный ряд продавщиц зажигалок, стену женщин, очень похожих друг на друга, одинаковых своей страшной изможденностью, худых, костлявых, с огрубелыми от солнца и ветров лицами, с кофейной кожей щек, шеи и рук, сухих как мумии. Они жадными и вместе смертельно-испуганными глазами смотрели в упор на него, остановится ли он перед ними и купит ли у них зажигалки.

— Это у вас никкелированные?—испытывая в груди удушье, спросил он у самой крайней из них.

— Да, у меня,—обрадовалась та и заметалась в страхе, как бы не упустить покупателя.—Только у одной у меня и есть,—дрожащим голосом говорила она, прыгающими руками протягивая к Афанасию коробку со сверкающими зажигалками.—Вам много надо? Десяток? Дюжину?

— А посеребреных нету?—с трудом произнес Афанасий.

И прежде чем женщина успела ответить ему, он собрал все свои силы и кулаком правой руки ударил снизу под дно коробки. Зажигалки взлетели вверх, выше голов толпы, высыпались там из коробки, заблистали в лучах солнца серебряным фейерверком и, одна там, другая здесь, посыпались на землю. В народе произошло смятение. Снующие в тесноте большими стаями мальчишки-воришки моментально порасхватали с земли зажигалки и разлетелись в стороны. Афанасий тоже исчез, незамеченный в поднявшейся суматохе, едва успев крикнуть, одновременно с ударом по коробке:

— Не обманывай народ!

— Держите его!—кричала, плача, обезумевшая женщина и безрезультатно кидалась в тесноте то в одну сторону, то вдруг в противоположную.—Держите его! Ой, Боже мой, Боже мой! Муж с сыновьями теперь убьют меня за это! Им эти зажигалки с кровью выходят! Люди

добрые, лучше убейте меня сейчас тут на месте! Все равно я уже больше не жительница на этом свете! Ой-ей-ей...

И потом еще долго было видно, как то в одном месте толчка, то в другом взлетали над уровнем голов толпы ее развевающиеся, стремительно несущиеся волосы.

— Кто она такая, эта женщина?

— Ее обокрали, кошелек вытащили из кармана, а она сошла с ума. Она уже больше полдня тут бегает. „Держите его" и „держите его". А кого держать—неизвестно. Глядите: аж вон где голова ее выскочила, аж вон где! А теперь уже вон где: уже в другом месте! Забе́гает себя на́смерть.

— Конечно, забе́гает.

X.

Воскресный день. На базарной площади, кольцом окруженной в несколько рядов торговыми палатками, с утра толчется в страшной тесноте народ. Это толчок.

С горы, откуда шел Афанасий, толчок представлялся ему в виде громадного черного, плоского, расплывчатого живого чудовища, протянувшего во все переулки свои противные длинные щупальцы. Щупальцы все время шевелились, втягивались в туловище чудовища и вытягивались из него. И Афанасий почувствовал, что это чудовище пожирает его труд, его силы и однажды сожрет его самого. Толчок ни на секунду не успокаивается, все время чешуйчато переливается светлыми кружочками человеческих лиц, черными—картузов. Базарные будки, одиноко попавшие в это огромное, черное человеческое месиво, кажутся маленькими, хрупкими, похожими на голубятни. Вот-вот неугомонно шевелящаяся толпа поднимет их вместе с находящимися в них товарами и купцами и, как наводнение щепочку, опрокинет и отнесет прочь с площади или просто разотрет в порошок. И в такой толчее, в такой давке люди ухитрялись продавать, покупать, рассматривать, оценивать вещи, спорить, доказывать, убеждать! Тут так называемая торговля с рук, а у краев толчка, где толпа пореже, идет торговля с земли. В бесконечный ряд, касаясь друг к другу, тянутся там лежащие прямо на земле подстилки продавцов с наваленными на них товарами. Тут все: посуда, книги, ржавые гвозди, нестиранное, только что снятое с тела мужское и дамское белье, кондитерское пирожное с кремом, пара подслеповатых щенят редкой породы, беспроигрышная лотерея, табурет хиромантки, читающей по рукам прошедшее, настоящее и будущее человека, слепец, вертящий за ручку бандуру, как кофейную мельницу.

— Дорогие братья и сестры! Помогите, сколько милость ваша, слепому! Помогите темному!—выкрикивал он в промежутках между своей музыкой и гнусавым пением.

Толчок многоного шаркает сапогами по земле; тысячами глоток гудит... И откуда ни зайди, впечатление одно и то же.

Перед одной женщиной, сидящей на низенькой скамеечке, разложены на мешке, на земле, новенькие, сверкающие медью зажигалки. Зажигалки неважные, сделанные грубо, всюду белеет на швах олово, ролик выпирается как-то далеко от всех остальных частей.

Афанасий тихонько подходит к этой женщине, поворачивается к ее товару спиной, словно вовсе не интересуется ею и не замечает ее, а сам настороживается, стоит, ждет, слушает в ее сторону.

Народу проходит мимо несчастной женщины много, тысячи, но зажигалок никто не спрашивает. Что это значит? Неужели уже каждый купил для себя?

— Почем?—ленясь наклониться к земле, показывает носком сапога на зажигалки плотный, бородатый мужик в просторном картузе на уши.

— Вы сперва посмотрите какой товар,—вкрадчиво и вместе перепуганно заговорила женщина, привстала и угодливо засуетилась перед покупателем.—Смотрите.

Черное лицо ее побелело; руки задрожали, она взяла одну зажигалку, потом другую, потом третью, чтобы выбить перед покупателем огонь. Она рвала и большой палец и всю ладонь о зубчики колесика, но ни одна зажигалка огня не давала.

Афанасий обрадовался. Это не его работа!

— Ветер,—сконфуженно сказала женщина и положила последнюю испробованную зажигалку обратно на мешок.

Мужик насмешливо крякнул и с самодовольным видом пошел дальше.

— Мыла почем?—спрашивал он уже рядом.—Не та мыла, не та, не зеленая, а эта, красная! Почем?

А у женщины, казалось, так и осталось в ушах его самодовольное кряканье. Она боялась даже посмотреть ему вслед и, наклонившись к земле, по-новому перекладывала на мешке свой товар. Афанасию вдруг сделалось бесконечно жаль бедную женщину: Марья! его Марья! вылитая Марья!

Так вот как они продаются, зажигалки!

И в тяжелом раздумьи он поплелся по всему длинному ряду торгующих с земли, в надежде отыскать более счастливых продавщиц зажигалок... Было тесно, народ двигался туда и обратно, все время тасуясь, как карты. В одном месте шедший навстречу Афанасию худой, высокий полуголый сборванец, мрачный, как дьявол, ткнул ему в самый нос каким-то зажатым в руку черным, мягким, теплым предметом, резко пахнущим птичьим пометом, и сурово спросил:

— Шкворца купишь?

Афанасий покривил лицо, с бранью отплюнулся, снял с нижней губы несколько мокрых птичьих пушинок...

И куда он ни ходил, где ни смотрел, всюду видел одну и ту же картину: зажигалки лежат, люди равнодушно проходят мимо. И все продавщицы зажигалок какими-то неуловимыми черточками похожи на его Марью.

Вдруг он наткнулся на перегородившую ему путь живую стену людей, на плотный, крутой, на вид как бы даже скрипящий человеческий водоворот: одни люди всеми силами, с мучительными гримасами, продирались к центру твердого людского клубка, другие с точно такими же невероятными усилиями, но уже с детски-счастливыми лицами выдирались из клубка обратно. Первые держали выше головы приготовленные деньги, вторые—покупки.

Из глубины водоворота весело вырывались, повторяемые без конца, выкрики двух человек: взрослого и мальчишки.

— Спички! Спички!—как трезвон двух колоколов, толстого и тонкого, кричали продавцы.—Советские спички!

У Афанасия от неожиданности перехватило дыхание, он открыл рот и задрал голову, так что палкообразная бородка его протянулась почти параллельно земле. Что он слышит?

— Спички! Спички!—задорно тренькали два прежних голоса, уже охрипшие, оглохшие, но все еще веселые и смеющиеся.—Советские спички!

Афанасий опустил голову и вздохнул. Теперь ему все ясно. Теперь он понимает, почему на всем базаре зажигалки лежат без движения. В продаже появились спички! А он даже забыл об их существовании, о возможности их появления. Вот что значит годами не выходить из дому...

XI.

— Радость!—рано, как никогда, вернулась однажды Марья с базара, растерянная, веселая, одичалая, с танцующим веком косого глаза.—Сегодня у нас большая радость!

Она села на стул, поставила около своих ног кошелку, на этот раз через край набитую всевозможной провизией, из середины которой торчал мокрый, синевато-серебряный двурогий хвост громадной свежей рыбины.

И Афанасий и Данила оставили работу и, нацелясь глазами в рыбий хвост, направились к Марье.

— Продала?—еще издали тыкал в нее вопросом заволновавшийся Афанасий.—Продала? Все продала?

Данила, присев на корточки, ощупывал в кошелке рыбину, не икряная ли. Если икряная, икра пойдет ему, на поддержку таланта...

— Значит, продала, если говорю, что сегодня у нас радость,—говорила Марья и снимала с себя пласт за пластом старое тряпье.—И как продала! Сколько запросила—за столько и отдала. Сегодня зажи-

галки шли, как сумасшедшие. Было бы у меня еще сто штук, и те продала бы. „Дай“ и „дай“. С руками рвут. Но это не все: сейчас к нам должен притти оптовый заказчик, наверное приезжий: одежа на нем не очень хорошая, но сам видать денежный. Все рукой за карман трогает.

— Заказчик!—засуетился и засиял Афанасий.—А у нас нет запаса готовых зажигалок. Я говорил, что надо было давно начать работать зажигалки в прок! Вот если бы Данька был человеком и согласился работать по праздникам! Но нашему „Второму Репкину“ по праздникам нельзя. По праздникам ему надо садиться на лисапед и ехать в Борисоглебский монастырь древнюю колокольню рисовать, чтоб ее бурей завалило.

— Отец, не ругай веру! — остановила его жена. — Ты старый человек.

— Я не веру, я колокольню.

— Отец, про праздники забудь, — задирающе заметил в то же время Данила.

— Знаю,—с горечью отозвался отец, и нижняя челюсть его задрожала.—Знаю, что у меня нет сына! Но я помощника себе найду! Чужого найду! Такой случай! Оптовый заказчик! И разве это последний? Маша, а ты верный дала ему адрес?

— Конечно, верный, сейчас подойдет.

— А то, может, выйти на улицу и покараулить его? Дань!

— Ну, вот еще, буду я его караулить!

— Сам придет,—успокаивала Афанасия Марья. — И это на цену повлиять может, если его караулить. Скажет: значит нужда продать, если за покупателем так гоняются.

— Вот видишь, Маша,—проговорил воспрянувший духом Афанасий.—А ты говоришь „спички“. Я плюю на те спички!

— Отец, — пробасил Данила от своего стола: — Не торопитесь плевать.

Тогда Афанасий с тем же уверенным лицом поворотился к нему.

— А ты, молокосос, хотел бросать уже налаженное дело на-ходу и поступать на маленькое жалование на завод, писать анкеты и получать червивую селедку. Зажигалки, они пойдут! Они уже идут! Вот, нас уже разыскивают по адресу!

В дверь постучали.

— Войдите!—закричали сразу три голоса.

В комнату вошел пожилой мужчина, очень маленький, очень полный, весь с головы до ног осыпанный землистой базарной пылью, с соломинками, бумажками, ниточками, пушинками. У него были замечательно густые, жирные, блестящие, темно-каштановые, вьющиеся волосы, громадной копной накрывавшие голову. Такие же волосы вылезали у него из-под ворота сорочки и сливались в одну общую упругую массу вместе с волосами бороды, усов, головы, так что,

казалось, будто небольшое пухлое, лоснящееся личико заказчика утопало в глубоком пышном буром меховом воротнике. И было это странно, так как на дворе было тепло, стояла весна.

Заказчик снял слишком маленькую для его волосатой головы шляпу, устремил на хозяев крошечные пылающие глазки, потом окинул беглым взглядом всю обстановку мастерской.

— Здравствуйте,—медленно проговорил он и потрогал себя крохотной пухлой ручкой новорожденного за бороду.

— Здравствуйте! — почти закричали ему предупредительные хозяева, оба вместе, муж и жена, прямые, напряженные, гордые, заискивающие, дрожащие.

И они как бы сделали на заказчика стойку, ожидая, что он скажет. С лица заказчика ни на секунду не сходило такое брезгливое выражение, словно у него под носом дурно пахло.

„Это от денег, от богатства!"—мелькнула одна и та же мысль в умах хозяев.

И муж сейчас же сделал жене ужасный по своей свирепости знак глазами, чтобы она ни в коем случае не вмешивалась в его разговор с богатым заказчиком.

Жена быстро отсунула назад руки, точно ей собирались их отрубить, и сама попятилась назад, пока не прижалась спиной к стене.

— Так это вы мастер зажигалок?—спросил заказчик, не глядя на Афанасия и с еще более брезгливой миной копаясь пятью пальцами бороде.

— Да, это я, — мотнулся вперед верхней половиной корпуса Афанасий.

Такое же движение сделала за его спиной и Марья.

В то же время было слышно, как в стороне Данила сперва осторожно замедлил колесо станка, а потом и вовсе его остановил, чтобы послушать разговор с заказчиком.

Разговор начался.

— У вас готовых зажигалок нету?

— Готовых нету, но вы можете заказать. Вам много надо? Нам постоянно заказывают...

— Мне надо сотню, для отправки. Но только к этому четвергу. Можете сделать? Что?

— К четвергу? Можно. Сделаем. Садитесь, вот стул.

Заказчик так покривил лицо на стул, точно перед ним был не стул, а зловонная яма, и не сел.

— Хотя я на базаре уже видел вашу работу, покажите мне образец, может, у вас еще лучшие есть. Что?

— Марья!—тихо и повелительно проскрежетал в сторону жены Афанасий, пожирая ее страшными глазами.—Подай, какие есть там готовые зажигалки! Да скорей, ты, сатана, уу!

И он едва не погнался за ней.

Марья, испуганно выкатив в бок белок косого глаза, метнулась в один угол мастерской, в другой, в третий, что-то уронила, подняла и опять уронила, потом, как полоумная, выбежала в кухню, остановилась там, что-то припомнила и сейчас же бросилась через мастерскую во вторую комнату, откуда, наконец, принесла свой мешочек с несколькими готовыми зажигалками. Было слышно, как тукало в груди ее сердце, когда она подавала образчики товара заказчику.

— О, они простые!—с насмешливой ужимкой сказал тот и, положив на свою пухлую, нежную младенческую ладонь пару зажигалок, точно близорукий, водил по ним густыми ресницами узко-сощуренных, поблескивающих глаз.

— Они простые, да хорошие,—сказал с достоинством Афанасий.

— На базаре вы найдете и никкелевые, да те будут на один день,—послышался из-за спины Афанасия дрожащий голос Марьи.

— Цыц!—зашипел на нее Афанасий и припал в ее сторону на одну ногу.

Марья отдернулась назад, крепко прижалась лопатками к стене.

— Ну, и почем же вы хотите за такие простые зажигалки?—спросил заказчик, продолжая пренебрежительно переворачивать товар на ладони возле самых ресниц.

Афанасий сказал цену.

Все лицо Марьи в ужасных страданиях завопило беззвучным судорожным криком: „мало!".

— За эти зажигалки?—сделал насмешливое движение плечами заказчик, потом поднес к носу зажигалки и зачем-то понюхал их.— А если брать сотню?

— Все равно, берите хоть тысячу, цена одна,—обиделся Афанасий.—Это не такой товар, не толчковый.

Марья заложила руки назад, вытянулась вверх и, не спуская круглого белка косого глаза с заказчика, повернулась к нему одной щекой, не дышала и ждала, возьмет он товар по этой цене или нет.

Заказчик придал себе такой равнодушный вид, как будто зажигалки были ему не очень нужны, что-то едва слышно запел себе в бороду, очень тоненькое и очень далекое, ссыпал зажигалки с ладони на стол, взял свою измятую шляпу, помял ее еще больше, скользнул сверкающими глазками по полу и повернулся к дверям.

Его кроткое бормочущее пение ножом бороздило сердце Афанасия, Марьи, Данилы.

— Значит не нужно? — дрогнувшим голосом спросил Афанасий и мутно, как сквозь туман, уставился на заказчика, который, казалось, то стоял перед ним, то исчезал.

Марья готова была лишиться чувств. Она задрала, сколько могла, голову, закатила глаза, раскинула руки, ноги, судорожно распялась на стене, затрепетала, заколотилась, как высохший лист плюща на камне на ветру.

— Что значит не нужно?—пожал плечами заказчик и улыбнулся полу.—Товар нужен. Я товаром нуждаюсь. Я товару ищу. Я товар заберу. Но не по такой же цене. Смешно. Вы наверное давно не были на базаре? Сейчас этому товару вовсе нет ходу. Сейчас ему не сезон. А держать его до время тоже нет расчету, потому что еще неизвестно, что спички скажут. Сейчас везде жалуются, что этот товар забивается новозыбковскими спичками. Что? И на базаре сейчас таких цен нет. Я не спорю, безусловно, может, они когда-нибудь будут, но сейчас таких нет. Вот спросите у вашей жены, она вам расскажет, или сами сходите завтра на базар, так там стоит одна женщина с зажигалками, так у ней полная щикатулка разных зажигалок, фигурных, с ободками, с резьбами. Так она просит за свои зажигалки дешевле вашего, и то никто не берет, что-о?

— Резьбу я могу понарезать вам всякую,—раздраженно произнес Афанасий и отвернулся от заказчика в сторону.

Вот на что кидается, будь он проклят, покупатель: на резьбу, на ободки, бородки, пояски, кантики! Где у людей понятие? Куда перевелись умные люди?

Марья изнемогала от желания ввязаться в разговор мужа с заказчиком. Еще никогда в жизни не имела она в уме таких хороших, таких доказательных слов в хулу чужих зажигалок, красивых, и в защиту своих, простых. Пять лет жизни отдала бы она за то, чтобы муж разрешил ей сейчас привести заказчику ее доводы. Муж не торговый человек, муж рабочий, он не умеет. А она торговая, она оборотистая, языкатая язва.

Афанасий и заказчик между тем разговорились, языки их развязались, и они мало-по-малу вступили в тот особенный, отчаянный, непередаваемый, болтливый и многословный торг, который обычно имеет место только на толчке среди профессиональных толчковых перекупщиков. Обе стороны, и мастер и купец, с горячими жестами божились, клялись друг другу, уверяли один другого, что они уступают только благодаря своей врожденной доброте, терпя при этом колоссальные убытки.

— Я такой человек!—говорил один.

— Хорошо, что вы напали на такого человека, как я!—горячился другой.

И оба расхваливали друг другу свои редкие душевные качества.

— По правде сказать, таких людей, как я, мало!

— Таких, как я, вы тоже больше не найдете!

— Я уступаю еще немного только из вежливости к вашему хорошему характеру!

— А я прибавлю еще немного только потому, что вижу, что вы хороший человек, семейный, живете своей квартирой, а не такой, какие, бывают, валяются в чужих квартирах на койках, по углам!

— Вы человек умный!—льстил купец мастеру.—С глупым я бы так не разговаривал!

— Вы ведь человек понимающий в зажигалках!—на комплимент купца отвечал мастер собственным комплиментом.—Понимающего в зажигалках я сразу вижу!

Купец несколько раз хватал со стола шляпу и брался за дверную ручку, решив уходить, но не уходил и шляпу снова бросал на стол. Мастер в свою очередь несколько раз с решительным видом ссыпал зажигалки в мешочек, затягивал мешочек шнурком и тотчас же снова расшнуровывал и с шумом высыпал зажигалки на стол, чтобы заказчик наконец убедился, какой золотой берет он товар.

— Я ухожу!—берясь за дверь, говорил заказчик.

— Вы поглядите, от какого золота вы уходите!—с грохотом рассыпал по столу из мешечка товар Афанасий.

Купец торговался, возбуждался, а сам все время нервно зажигал зажигалки, все под-ряд: одну, другую, третью. Случилось, что одна зажигалка не зажглась. Купец обрадовался, оживился, швырнул ее на стол, высоко поднял плечи, состроил гримасу.

— Это же совсем брак!—сказал он.—Один брак! Что-о?

— Брака у нас не бывает!—грозно пробасил старый мастер, выпрямился, расширил ноздри и поправил на носу очки, чтобы лучше разглядеть мизерные черты обидчика.—Брак на базаре бывает!

— Вы не на улице, не на толчке берете!—закричал угрожающе от станка Данила.—Вы в мастерской берете, вы на квартире берете, куда вы всегда сможете прийти и плюнуть мастеру в рожу, если он вас обманет! Здесь не мошенники, не купцы, здесь рабочие!

— Да!.. Да!..—как бы прикладывал одобрительные печати к каждому слову сына отец.—Д-да!.. Д-да!..

Заказчик сперва недоуменно пожал плечами, потом весь сжался, закрыл один глаз и развел крылышками кисти рук.

— Ну, хорошо. Ну, хорошо, я понимаю. Допустим, что она не брак. Но зачем же тогда она не зажигается? Что-о?

— А, может, в ней уже бензину нет!—грубо бросил ему Данила.— Ведь вы ее больше полчаса мучаете, и раньше она зажигалась!

— Это она, скорей всего, на погоду,—не утерпела и закричала от стены Марья, со злостью глядя на купца.

— Цц!..—зашипел на нее Афанасий, показал ей из-под полы пиджака огромный кулак и повертел им там так, как вертят в балагане Петрушкой.

— Зажигалки не зажигаются чаще всего от камушка...—начал лекцию по своей специальности Афанасий.—Камушки бывают: твердые, мягкие, настоящие, поддельные... Другой раз мальчишки нарежут кусочки цинкованной проволоки и продают за камушки... Это тоже надо принять во внимание... Опять же в другом даже нормальном камушке бывают две разных слойки, две породы: половина камушка такая,

половина такая... А покупатели не понимают и давай ругать мастера зажигалки... А при чем тут мастер? Скажите, если начать роликом по железу шкрябать, может железо дать искру?.. Так же самое и по другому предмету и по плохому камню... Вся причина в камне... Вторая причина, когда зажигалка не дает огня, содержится в ролике: если ролик не стальной, как у нас, а железный, как у других... Третья причина...

— Будем говорить не за причины, а за цену,—перебил его заказчик, багровый, потный от желания выторговать копейку.—Мы ценой не сходимся. Говорите, какая ваша последняя цена?

— Какая ваша?—спрашивал Афанасий.—Я свою сказал.

Торг продолжался...

В конце концов, Афанасий, измученный, осовелый, уступил. Заказчик оставил задаток, взял расписку, полез в глубь одежд за деньгами.

— Смотрите, какими хорошими деньгами я вам даю!—повертел он бумажкой.—Новенькие!

Афанасий махнул рукой:

— Они хоть новенькие, хоть старенькие, один чорт: цена им всем одна.

— Потом, если хорошо эту сотню сделаете, я еще тысячу штук вам закажу.

— Когда? Слышите, Марья, Данила: тысячу штук!

— Ну, потом, после.

— Все-таки приблизительно когда? Мы должны собраться с материалом.

— Ну, через пару дней после того, как эти сделаете. Смотря, как эти сделаете. Если хорошо эти сделаете. Все от этих будет зависеть. Что-о?

И заказчик ушел.

А в доме сейчас же поднялся невообразимый скандал. Марья нападала на Афанасия.

— За такую цену отдать такие зажигалки!—набросилась она на него.—Полоумный! Да я бы эту сотню на базаре дороже продала! За такую цену на базаре любая будка или любой столик хоть тысячу штук у тебя заберет, не надо и заказчика ожидать! Разве это цена? Это не цена.

— Пускай наживает, — пришибленно отвечал Афанасий. — Ему с ними тоже не малая толока будет, покамест он всю сотню пропустит, из-за каждой зажигалки с каждым всяким трепать языком.

Марья продолжала беситься. Афанасий ее усмирял.

— Теперь уже поздно языком колготать,—говорил он, все более приходя в себя.—Дело сделано. Надо было раньше смотреть. А теперь я сам ум тебе вставлю.

— Как это так „раньше", как это так „раньше"? — дергалась всеми своими мышцами Марья.—Ты же одного слова не давал мне сказать и

цыкал на меня, как на собаку! И я тебе, старому дураку, все время моргала глазами от стенки; „не уступай, не уступай, жид прибавит". И разве ты не слыхал, как я кашляла каждый раз, как ты собирался спускать свою цену? Потом смотрю, ты взял и ляпнул. И главное, за какую цену? За цену-то какую? Больно даже подумать. А меня всегда ругаешь, если я на базаре под конец дня иногда за такую же цену товар отдаю. Мне нельзя, а ему можно! Но там дело идет только об нескольких штуках, об двух, об трех, а тут мы сразу теряем на сотне. Вот это надо понять!

— Кончено!—отрезал рукой Афанасий.—Замолчи!

И пошел к станку.

XII.

— Кушай, Афоня. Хорошенько кушай. Поправляйся,—говорила мужу за обедом Марья, несколько дней спустя, когда сдали заказ и получили остальные деньги.—А когда покушаешь, сходим в город, купим тебе новые штаны, пока не проели все деньги.

— Что-то не хочется мне штаны в магазине покупать,—смущался Афанасий.—Лучше на толчке.

— О!—вскричала Марья, смакуя второе блюдо, приготовленное только по случаю получки денег.—Опять на толчке! Всю жизнь одеваться будешь на толчке! Хотя один раз в жизнио день на себя штаны по мерке, чтобы были как раз по тебе!

— Может, завтра?—расковыривал Афанасий ложкой на тарелке знаменитое „второе", громадную цельную тушоную морковину, приятно попахивающую из надломов как бы свежей сосновой смолой.

— Почему завтра? Нет, нет, не будем откладывать! А то деньги разойдутся, а тебе опять будет нечего в праздник надеть. Смотри, в каких лохмотьях ты ходишь.

— А какая разница, в лохмотьях человек или нет? У меня работа домашняя, а свои, домашние, не осудят.

После обеда супруги взяли деньги и отправились со своей слободы на главную улицу города: там выбор готовых брюк был больше.

Афанасий не выходил на главную улицу годы, и теперь проспект поразил его эффектностью многоэтажных зданий, роскошью магазинов, многолюдностью тротуаров, праздностью толп, их нарядами. Что сегодня здесь: будни или Пасха? Почему же они не работают? И какие это люди: русские или нет? Скорей всего, что нет. Скорей всего, он попал за границу, где все чистые, сытые, богатые...

— Машенька, пойдем лучше на базар, там проще,—морщился Афанасий, стеснялся окружающего блеска, теснее прижимался к единственно близкому ему тут человеку, к жене.

Он держался за ее рукав, как ребенок держится при чужих за юбку матери.

— Провались ты с твоим базаром!—озлилась Марья, у которой глаза так и горели при виде в магазинах предметов комфорта.—Я твой базар уже видеть не могу!

— Тут купить штаны нашего капиталу не хватит.

— Не хватит—уйдем. А за спрос денег не берут. Что мы хуже людей, что ли, что ты всего боишься? Я тут никому не спущу, пусть только нас кто-нибудь тронет.

Афанасий робел перед каждым чисто вымытым стеклом витрины, перед каждой сияющей дверной ручкой магазина. И он не переставал поражаться храбрости Марьи. Нет, бабы развязнее мужчин. Бабы могут требовать. Им доступнее везде проникать, всего добиваться. Ишь, как Марья разговаривает с образованными приказчиками! Как равная. Как будто у нее полные карманы денег и на улице ее ожидает собственный выезд. А между тем один цветистый галстух, что на шее приказчика, стоит дороже, чем все, что надето на ней. А на их улице соседи еще дразнят ее: „косая", „косая"... Вот тебе и „косая"! Если бы не эта „косая", он уже сто раз бы погиб. Она ему верный друг и помощница в жизни. Разве он сам когда-нибудь в жизни надел бы на себя новые штаны? А сегодня наденет. Один раз она его так же силой к доктору вела, толкала в спину, била, плакала, жаловалась на него на улице прохожим, а потом оказалось, что она ему жизнь спасла. Раз даже—смех вспомнить!—к зубному врачу свела... Смелый, смелый и еще совсем мало оцененный этот народ, бабы!

В магазине готового платья перед оторопелым Афанасием разложили на широком прилавке брюки всевозможных сортов, суконные, шевиотовые, бумажные, с рисунком, в полоску или клетку и без.

— Ну, выбирай!—раздраженно уставила Марья белок косого глаза на Афанасия.—Чего же ты стоишь, за меня прячешься?

Марья чувствовала себя в богатом магазине так легко, точно она была хозяйкой разложенных по полкам мануфактурных сокровищ.

Афанасий придвинулся ближе к прилавку и начал выбирать. Он искал для себя вещь погрубее, подолговечнее, прощупывал главным образом толщину материи, смотрел на свет, какая плотность, пробовал на ладони вес, какие потяжеле. В магазине перед приказчиком он страдал и волновался, как в полиции перед приставом. Он выбрал брюки самые твердые, по твердости более похожие не на брюки, а на валенки, разложил их на прилавке, с растроганными глазами погладил рукой, и, прежде чем спросить о цене, начал усиленно глотать пересохшим горлом слюну. У него и голоса не было, и слов подходящих для вопроса не находилось.

Наконец, подняв на приказчика красные, как заспанные, глаза, он спросил не своим голосом:

— Сколько зажигалок за них?

Лицо приказчика изобразило гримасу удивления.

— Что-с вы-с сказали-с? — с привычной галантностью преклонил он ближе к Афанасию одно ухо, а сам в это время разглядывал надетую на токаре шишковатую от заплат дерюгу.

Марья ударила мужа по плечу, точно будила его.

— Это он так, — объяснила она приказчику. — Он спрашивает, какая этим штанам цена. Уже заговариваться стал, — прибавила она тише с укором. — Вроде ополоумел...

Приказчик притворился, что не знает цены брюкам, щуро посмотрел на исписанный трехугольный бумажный билетик, пришпиленный булавкой к поясу брюк, нарочно на глазах у покупателей поиграл со свинцовой пломбочкой, зачем-то прикрепленной там же, потом обменялся быстрым воровским взглядом с хозяином, пузырем, сидящим в кресле за кассой, и назвал цену.

Марья вскрикнула. Не только у них самих никогда не было подобных денег, но они даже не слыхали, что вообще у кого-нибудь бывают такие деньги.

На Афанасия количество рублей уже давно не производило никакого впечатления, на него производило впечатление только количество зажигалок, и он стоял перед прилавком и, беззвучно шевеля губами, мысленно переводил сумму рублей, названную приказчиком, на зажигалки. Он высчитывал, сколько раз уложится стоимость зажигалки в стоимости штанов. Выходило 2253 раза. Значит, одни штаны стоили 2253 зажигалки, или $112^1/_2$ дней самой каторжной работы. И это, если не пить, не есть, ничего на себя не тратить, работать только на штаны. А если и питаться и откладывать маленькие сбережения на покупку штанов, тогда на них придется проработать сверхурочно года два—три. Вот сколько своего соку он должен отдать за новые штаны.

— Пойдем,—взяла его за руку, как слепца, Марья и вывела из магазина.

— Пардон!—закричал им вслед образованный приказчик, и дирижируемый спокойными глазками неподвижного пузыря, погнался за ними.—А сколько вы хотели дать? Пожалуйте-с, пожалуйте-с! Можно уступить!

Но Афанасий и Марья ничего ему не ответили. Они были так оглушены, что даже не слыхали его вопроса. Марья только обернулась белком косого глаза назад и с испугом посмотрела на дом, из котого они так счастливо спаслись. Дом был чудовищно громадный. А у Афанасия все еще стояла в глазах страшная цифра: 2253 зажигалки.

По пути домой они останавливались перед витринами эффектных магазинов и рассматривали разложенные там товары.

— Ого!—назвала Марья цену в рублях, помеченную на блестящем никкелевом кофейнике в окне магазина металлических изделий.

На Афанасия рубли не произвели никакого впечатления. С равнодушным лицом он смотрел на кофейник и мысленно переводил рубли на зажигалки.

— Да,—только после решения этой арифметической задачи лицо его вдруг приняло живое, необычайно осмысленное выражение,—из этого кофейника кофию не попьешь.

— Было бы что пить,—отозвалась Марья.— Был бы кофий, а из чего его пить всегда найдешь! Его можно и из кастрюли пить.

— Все деликатность!—со злобой произнес Афанасий, скривил лицо и сплюнул на тротуар.

— Ветчина!—стояли они затем перед окном следующего магазина, принадлежавшего производительно-потребительскому кооперативу сотрудников отдела народного питания.

— Даже сквозь стекло слышно, как копченым пахнет,—потянула Марья от стекла в себя воздух.

— Это не пахнет, это так аппетитно разложено на блюде, что кажется, что пахнет,—поправил ее Афанасий.

— А какая сумасшедшая выставлена за нее цена, за фунт,—вскричала Марья.

Афанасий опять произвел умственную работу, высчитал, сколько зажигалок уложится в фунте ветчины.

— 32 зажигалки за фунт,—возмутился он.—Ловко.

— Ловко с нашего брата шкуру дерут,—прибавила Марья.

— Я бы им этой ветчиной по морде, по морде, по морде!—сказал Афанасий, увлекая Марью прочь от витрины.

— Галоши!—через минуту глядели они сияющими глазами на сияющие новенькие галоши в окне склада резинового треста.

— $387^1/_2$ зажигалок за пару галош! — мотал головой Афанасий. — Лучше всю жизнь босиком проходить!

— И находятся люди, которые всем этим пользуются!—уязвленно поделав губами, медленно проговорила Марья.

— Ого, еще сколько!—тряхнул бородой Афанасий.

Он вдруг почувствовал страшное утомление от всего этого: от бесцельной ходьбы, от окружающего движения, шума, чистого воздуха, уличного света...

Придя домой и торопливо влезая в грубую холщевую рабочую блузу, от хотел сказать жене, чтобы она посмотрела в соседней комнате на часы, сколько времени, а вместо этого крикнул:

— Маша, глянь-ка там сколько зажигалок?

— Где, каких зажигалок?

— Да на часах.

— Какие же зажигалки на часах? Ты уже что это?

— Я спросил, сколько время, а она „зажигалки"!

— Нет, ты сказал „сколько зажигалок". Давеча и в магазине у приказчика спросил: „сколько зажигалок за брюки".

Данила рассмеялся.

— Видите, отец, зажигалки у вас уже в печенках сидят.

В это время Марья крикнула из другой комнаты, который час.

— Ишь, сколько время потерял зря,—покрутил головой Афанасий и поставил привычную ногу на подножку токарного станка.—Сколько за это время можно было сделать зажигалок? — завертел он ногой колесо и стал высчитывать, сколько зажигалок уложится в потерянных им часах...

С некоторых пор он и время мерял не часами, а зажигалками. Два часа времени означало у него одну полную зажигалку. Один час равнялся половине зажигалки, полчаса—четверти зажигалки...

— Вжж... вжж...—доставляя ему истинное удовольствие, гудел под нажимами его ноги станок. — Вжж... вжж... Марья, ты меня в город больше никогда не води. Сроду я в нем не был и сроду не буду. Ну его! Вжж... вжж...

А Данила, работая над чуждыми его душе ничтожными зажигалками, легко и вольно продолжал думать и мечтать о своем, о великом, о том, о чем он думал все время, пока его отец и мать ходили в город за новыми штанами.

Что же все-таки он будет изображать на своих замечательных картинах?

Что-нибудь самое важное для человека, необходимое ему более, чем даже хлеб.

Что же это такое?

Он, как фабрично-заводский рабочий, никогда не видит солнца. Его отец, как фабрично-заводский рабочий, никогда не видел солнца. Его дед и его прадед—тоже. Словом, весь фабрично-заводский рабочий класс никогда не видит солнца. А без солнца даже растение растет уродливо—криво... И вот он все свои картины будет заливать солнцем и таким солнцем, какого еще ни у одного художника не было. Кто может дать сильнее почувствовать солнце, как не он, вечный пленник бессолнечной мастерской!

Он глубже всего чувствовал солнце в самом раннем детстве, когда был безгранично беспечен. И с тех пор он всю свою жизнь носит в себе то давнишнее чувство солнца. Проснешься утром, оторвешься от волшебных детских снов, откроешь глаза и видишь перед собой еще более волшебную явь: сочащиеся в комнату изо всех щелей ставен золотые лучи росисто-утреннего, ароматного солнца. Мгновенно забываешь обо всем, срываешься с постели, торопишься наверстать упущенные во сне часы, минуты, мчишься на воздух, на двор, на улицу, к детям, к воробьям, к собакам, ко всей звенящей в ушах земной жизни, к венчающему эту жизнь солнцу!

Вот таким притягательным, таким пробуждающим к большой жизни будет на его картинах солнце.

Каждый, кто взглянет на его картины, моментально забудет про свои годы, старый он или молодой; забудет про свои маленькие, частные, будничные, годами налаженные дела; забудет даже про то, что он будто бы хорошо знает и понимает и исповедует; и вдруг, как бы

воскреснув из мертвых, вновь испытает ту стихийную органическую животную тоску по солнцу, которая не считается абсолютно ни с чем, ни с какими препятствиями, и которая так хорошо знакома каждому по его годам раннего детства.

Солнце!

XIII.

— Меди! — весь день и все дни твердит Афанасий. — Как можно больше меди! Главное—медь! Не будет меди, и мы все пропадем, как собаки! Из чего мы тогда будем делать зажигалки? И потом каждый день надо ожидать того заказчика на 1000 штук. Тысяча штук это не шутка! На этом заказе сразу можно будет поджиться! Наверное он адрес потерял и теперь где-нибудь блукает по улицам, нас ищет!

— Да,—озлилась Марья наивности мужа.—Ты все еще помнишь про него. А он уже давно забыл про тебя. Неужели ты думаешь, что он на самом деле имел заказать нам 1000 штук?

— А почему же нет?

— Он врал.

— А какой расчет ему врать?

— Чтобы вы ту сотню старались как можно лучше сработать.

Данила перестал драть наждачной шкуркой медь и тоже ввязался в разговор.

— Вы, отец, делаетесь как маленький,—сказал он с горечью.— Вы каждому выжиге верите. Вас обмануть — раз плюнуть. Он и про отправку товара врал. Просто его жена и дети торгуют на базаре в будках или на столиках, и он хотел достать для них товару получше и подешевле. Вот и все.

— А зачем же ему было и про отправку врать?

— Для форсу,—опять заговорила Марья. — Для весу. Как вообще торговый человек.

— Не он придет—другой придет!—стоял твердо на своем Афанасий. — Запас меди все равно надо иметь. Хорошо, что у меня в тот раз был старый запас меди, а то бы мы и с той сотней не управились. Теперь, если кто где увидит медь, забирайте прямо без никаких, или мне говорите, я заберу. Вы и раньше всегда смеялись надо мной, когда я мимоходом всю жизнь везде медяшки подбирал, а вот она нам и пригодилась, вся дочиста в дело ушла. Заворушка в России будет, спичкам не жить, зажигалки пойдут! Я это знаю, я предчувствую, я старый человек, я никогда не ошибаюсь, вот увидите, тогда помянете мое слово. И ни у кого тогда не будет меди, у одного у меня будет медь, и я на одной меди сколько тогда заработаю!

И со странным упорством Афанасий стал отовсюду тащить в свой дом все, что было сделано из меди. Ночами, когда все спали, и праздниками, когда все не работали и отдыхали, он перекидывал через плечо мешок и отправлялся в город на поиски драгоценного для него металла.

В углах комнат, на полках кладовок, на чердаке под крышей, в сарае на дворе, везде была навалена разная медь: листовая, трубчатая, проволочная... Но больше всего Афанасий приносил медного лому, остатков всевозможных старых медных вещей: сплющенных кастрюль, измятых умывальников, гирь от стенных часов, пряжек от сбруи...

— Два дня семейство сидит без обеда, а он опять где-то меди купил!—жаловалась с плачем Марья, следя в окно за Афанасием, как он украдкой от всех прошел двором прямо в низенький сарайчик, держа под полой какой-то твердый угловатый предмет, похожий на медную прозеленевшую раму от разбитого стеклянного аквариума. — Ты опять откуда-то медь приволок!—встретила она его появление в комнате еще более отчаянным криком. — Лучше бы хлеба семейству купил! И сам голодный ходишь, на кого стал похож, и нас голодом морищь!

— Я ее почти что задаром купил,—оправдывался Афанасий, тревожно озираясь на своих, как на чужих. — За эти деньги хлеба все равно не купить. А медь сгодится. Ее все трудней и трудней достать. Она вот-вот совсем прекратится.

За два летних месяца Афанасий осунулся, постарел, одряхлел. Глаза его угасли, помутнели, он, как никогда, затосковал, заскучал.

Единственной его отрадой были медные вещи. Он смотрел на них долго, упорно, с удовольствием, почти с обожанием и с умильной улыбкой подробно высчитывал, сколько из какой медной вещи можно выкроить зажигалок. Что ни держал он в руках медное, что ни попадалось ему на глаза сделанное из меди, какой бы медный предмет ни выкапывал он из своей старческой памяти,—все тотчас же мысленно перекраивал на зажигалки: это пойдет на корпуса, это на винтики, это на ниппеля; из этого можно навить пружинку; это свернуть на трубки для камушка... Таким образом он в воображении своем уже переделал на зажигалки почти все медные вещи, существующие на земле: предметы домашней утвари, церковные колокола, части паровых машин, превращал в лом целые океанские пароходы...

Он и возиться любил только с одной медью, от чего его руки насквозь пропахли желтой самоварной медью, и ему был истинно приятен только один этот запах, единственный возбуждающий его жизненную энергию. В седых волосах его, на голове, в бороде и усах всегда искрились золотые опилки меди. В одиноком раздумье и в разговоре с другими он любил покусывать зубами или крошить в руках крепкую, с едким вкусом, медную стружку.

Медь пропитала, просочила этого человека всего. Казалось, она сделалась его второй кровью: отнять у него медь, и сердце у него перестанет биться.

И ни один предмет, сделанный не из меди, совершенно не останавливал его внимания, казался ему просто несуществующим, не занимающим на земле места и невидимым, как невидим воздух...

XIV.

— Солнце...—сидел Афанасий за столом, за обедом, вместе со всеми, и задумчиво рассуждал, пронизывающе сощурясь на огненно-золотой шар солнца, уже коснувшийся нижним своим краем крыши соседнего дома. — Солнце... На кой оно?.. Из него не сделаешь ни одной зажигалки...

— Ого, отец! — грубо усмехнулся Данила в свою тарелку, жадно жуя.—Ты, кажется, скоро уже и солнце будешь кроить на зажигалки!

— Солнце...—с тихой страстью в голосе и во взгляде воскликнул Афанасий, весь странно преобразился, привстал со стула и медленно, как во сне, подошел к окну. — Но это запас тоже недолговечный, — разговаривал он сам с собой, не спуская очарованно-сощуренных глаз с солнца. — Ну, сколько из него, примерно, можно было бы выточить зажигалок?

— Ты лучше ешь! — прикрикнула на него Марья строго: — чем языком молоть-то!

Данила бегло взглянул на отца, послушал и опять погрузился в еду.

— Отец, твои щи захолонут!—пробормотал он между одной ложкой щей и другой.

— Его бы расклепать в тонкий лист...—продолжал решать судьбу солнца Афанасий.

Он стоял, беззвучно шевелил губами, морщил лоб, очевидно производил в уме какие-то сложные вычисления.

— Отец! — почти одновременно закричали на него мать и сын и, побросав на стол ложки, уставили на Афанасия суеверно вытаращенные глаза.

Афанасий полуобернулся, указал им пальцем на солнце и так при этом улыбнулся, такую изобразил на лице гримасу безумия и вместе страдания, что мать и сын откинулись на месте назад, потом со стиснутыми зубами, с ужасающим стоном, бросились к старику.

— Отец! — беспомощно и как-то гнусаво, в нос зарыдал, как ребенок, Данила, этот двадцатичетырехлетний русский богатырь, и, совершенно растерявшийся, убитый, припал обеими руками к плечам несчастного старика. — Отец! — кричал он леденящим душу голосом.— Что мы с тобой сделали? Отец!—содрогался он от конвульсивных рыданий на плече безумного отца.—Ой-ей-ей... Пропал человек... Пропал... Наш отец... Мама... Груня...

— Это я тебя убила, я!—упала перед стариком на колени Марья. — Это я замучила тебя, нашего кормильца, я!—била она себя в костлявую грудь, ломала черные худые руки, припадала губами к его сапогам.—Я барыней возле тебя жила, а должна была в прачках жить, чтобы помогать тебе приобретать! Афоня, прости меня, подлюку. Подлюка я, подлюка!

Груня стояла на своем месте за столом и, глядя издали на отца, с тупым видом крестилась и крестилась, сама даже не замечая этого.

Только один Афанасий, казалось, не потерял присутствия духа.

— Погодите, погодите, не плачьте, медь будет! — успокаивал он семью и блуждал вокруг бессмысленными, как бы что-то внезапно позабывшими, глазами. — Медь будет, медь будет! — колюче щурил он глаза.

Потом его залихорадило, он сжался, стал возле окна, спиной к подоконнику, лицом к семье, и задрожал.

— Сколько заказчиков! — показал он рукой прямо перед собой, всматриваясь и дрожа. — Сколько заказчиков!

Груня дико вскрикнула, выскочила из-за стола и, боясь взглянуть на страшное лицо отца, с плачем бросилась к матери.

— Мамочка, дорогая, неужели это уже нельзя?

Мать, дочь, сын, все трое прижимались к седой всклокоченной голове Афанасия, точно своими по-родственному любящими прикосновениями они еще надеялись вернуть безумцу разум.

Афанасий, высвобождаясь из их объятий, подозрительно вглядывался в каждого из них сверху вниз.

— Афоня, это мы, ничего!—успокаивала его, кричала ему в самое ухо, как глухому, Марья.

— Отец, не смотри так, не бойся, мы тебя не тронем, это мы, мы! — тщетно старались вдолбить в него сознание дети.

— Грунечка, доченька моя родненькая! — вдруг совсем по-другому, тонко и нараспев, заголосила Марья. — И что же мы теперь без него, без кормильца нашего, будем дела-ать!

— Тише! — раздраженно прикрикнул на мать Данила. — Мама, вы как будто уже хороните его. Может, еще ничего такого нет. Надо скорей людей созвать, доктора, доктора! Груня, беги скорее к дяде Филиппу; пусть он сейчас придет сюда, скажи ему, что наш отец сошел с ума!

Груня накрыла голову шалью и побежала, тряся мешками своих дряблых заплаканных щек.

— О-о-о!.. — потерянно повалилась на пол Марья и завыла. — Пропали мы теперь без него, пропали!.. Дом только им и держался!.. Пропа-а-али...

— Мать! — сквозь душившие его горло спазмы воскликнул Данила тоном железной уверенности. — Я не дам вам пропасть, я брошу все, и студию, и живопись, распродам краски, холсты, альбомы, все принадлежности! Я буду работать дни и ночи, но только мы должны как-нибудь спасти нашего отца! Как мы могли допустить это? Но кто же знал, кто знал, что так будет!

— Я знала! Я замечала! — взвывала Марья, катаясь по полу. — Я уже давно замечала, что он ни одной ночи не спит, ни одной ночи! Лежит, думает, стонет! А дышит он ночью как! Как будто у него

внутри горит! И как раскрыт бывает рот, и какие глаза! А когда встанет и займется делом, тогда как будто ничего...

— Теперь поздно плакать...— произнес Афанасий, сидя на стуле и холодно взглянув на жену и сына, как чужой и далекий.— Надо было раньше хвататься за медь...

Он встал, перебросил через плечо мешок, с которым ходил за медью, сунул в карман отвертку, молоток, напильник, надел картуз, направился к двери.

— Ты куда?—перегородил ему дорогу Данила и ласково обнял его за талию.

— Пусти!—вырывался и неприязненно хмурился Афанасий.—Ты украл мою медь. Я пойду, еще наберу.

Марья привстала с полу.

— Не пускай его,—тихонько проговорила она Даниле, потом обратилась к мужу.—Афонечка, погоди, милый, не уходи, сейчас должен притти мой брат Филипп, вместе пойдете, у него много, много меди.

— Воры!—злобно сказал Афанасий и, понуждаемый сыном, сел на стул.

Данила снял с него картуз, взял с плеча мешок, вынул из карманов инструменты. Афанасий особенно не протестовал, он все смотрел в одну точку и, казалось, не переставал о чем-то думать, что-то припоминать. Очки он разбил накануне, новых ему решили не покупать, все равно разобьет, и теперь лицо его выглядело необычным, другим, более морщинистым и помятым.

Вскоре в мастерскую прибежал Филипп, родной брат Марьи, такой же, как и она, худой, некрасивый, быстрый, типичный рабочий-металлист, с кожей лица, шеи и рук, как бы отсвечивающей металлической синевой. Пожилой, но еще очень бодрый, член завкома, он тоже делал у себя дома зажигалки.

— Здравствуй, Афоня!—протянул он Афанасию свою железную ржаво-синеватую руку, с деланной веселостью улыбался вокруг, а сам бледнел, волновался, нервно пощипывал свои черные реденькие бачки на щеках.

Афанасий посмотрел на него и отвернул лицо в сторону, ничего не сказав.

Филипп испугался еще более и еще более старался казаться развязным. Он смело подсел вплотную к Афанасию, хлопнул себя по коленкам и пошутил, обращаясь к больному:

— Ты что же это, старый товарищ? Никак тово... не в своем уме? Это не хорошо!

— Я за медь деньги платил!—враждебно повел глазами в его сторону Афанасий.

— Все плотют,—бойко затараторил Филипп.—Не только ты один плотишь. Никто тебе об этом ничего не говорит, браток, что ты не плотишь.

Он как бы незаметно поднялся, стал к Афанасию спиной, состроил на лице ноющую гримасу, подозвал к себе Данилу.

— Вот что, дружок, — говорил он ему вполголоса, — лети сейчас к нашему заводскому доктору, объясни все, в чем дело, скажи, что буйства никакого нет и ни на что вообще не жалуется, только, похоже, даже своих родных не признает. Живо!

Данила убежал и через час возвратился в сопровождении двух докторов, одного заводского, другого специалиста-психиатра, случайно приглашенного первым.

— Пока, конечно, ничего такого определенного нет, — сказали оба доктора после тщательного исследования Афанасия, изредка бросавшего им обрывки фраз про зажигалки, про медь. — Но, во всяком случае, факт его помешательства на-лицо. Наблюдение за ним необходимо, одного его пока-что не оставляйте. А там посмотрим.

— Доктор, — с клокочущими в горле слезами обратился к специалисту уже во дворе Данила, — ну, а сознание к нему когда-нибудь вернется?

— Как сказать? Оно и будет возвращаться, и будет опять пропадать. Картина болезни, ее ход определятся позже.

— А может, это нервное?

— И это может быть.

Доктора сели рядышком на линейку и уехали. Собравшийся возле дома Афанасия слободской народ таращил на них глаза с завистью, как на счастливчиков: хорошо одеты, хорошо упитаны, пешком не ходят, лечат друг друга бесплатно и без обмана...

И потянулись для дома Афанасия жуткие, томительные дни...

Как и предсказывал доктор, сознание иногда возвращалось к Афанасию. Но что это было за сознание! Он опять говорил только о зажигалках, о меди, обо всем, что связано с ними, и, не жалея себя, дни и ночи проводил у станка, работал зажигалки в запас. Но, главное, он все время что-нибудь при этом изобретал. Он изобретал и штамп для выделки готовых зажигалок, и пытался приготовить из какого-то смешанного состава камушки для зажигалок, и приноравливал электрические батареи для серебрения зажигалок, доставал ванночки, растворял в воде щелочи, убивал бесполезно на все это массу времени, переводил материал, портил инструмент. Он писал заявление в Москву, просил выдать ему патент на монопольное производство зажигалок, как великому самородку-изобретателю. Однажды он заставил Данилу написать вывеску „Здесь делаются зажигалки" и нарисовать горящую зажигалку с протянутой к ней папиросой.

— Что-то будет! — предсказывал он какие-то социальные грозы. — Зажигалки надо готовить!

По-прежнему то-и-дело украдкой убегал он в город добывать медь, с той только разницей, что теперь в его мешке на-ряду с негодными, поломанными медными вещами оказывались и вещи вполне год-

ные, иной раз даже совершенно новые. Больше всего он приносил медных ручек от парадных дверей.

— Где ты взял эту крышку от самовара? — выпрастывая его мешок, требовала от него ответа Марья и топала на него ногой. — Говори сейчас, где взял, признавайся, а то пойду в милицию, заявлю, и тебя посадят в тюрьму. Воровать?.. — для острастки замахивалась она на него кулаком. — Воровать?.. Скажите, пожалуйста, что мне с ним делать, где-то совсем новую крышку с нового самовара снял! Люди, может, поставили на паратном крыльце скипятить самовар, рассчитывали вечером чаю с гостями попить, а он, без совести, снял с кипящего самовара крышку, в мешок и—домой! Еще подумают, что мы его посылаем. Мало того, что на всех паратных медные ручки поотворачивал, так ты уже и к чужим самоварам дорогу узнал! Этому конца не будет! Сына своего напрасно перед хорошими людьми ставил вором, а сам кто: не вор?

— Медь, меди, медью!.. — на все подобные попреки успокоительно отвечал Афанасий, в то время, как лицо его выражало сознание исполненного очень важного долга.

Но как только эта полоса сравнительного сознания у него проходила, он тотчас же впадал в состояние полного младенчества. Тогда они как бы менялись с Данилой ролями: Данила выполнял по производству зажигалок самую ответственную работу, а Афанасий делал только то, самое несложное, что давал ему Данила. Но, конечно, это была уже не работа, а мука и для отца, и для сына. Ночами он вел себя еще более беспокойно. Вообразив медь великой драгоценностью, он, один, среди спящего дома, носился с нею из угла в угол, и по квартире, и по двору, перепрятывал ее с места на место, подглядывал, не следят ли за ним налетчики, чтоб убить его и отнять у него столь дорогое и нужное для всех сокровище. Или когда среди ночи вдруг вставала над крышей соседнего сарая медно-желтая с легкой прозеленью луна, безумец приходил в страшное волнение. Он становился на пол на колени, прятал лицо от луны за край подоконника и жадно горящими глазами в продолжение долгих часов следил за медленным движением в небесном просторе ночного светила с таким возбуждающим медно-зеленым металлическим отблеском. Стоило луне или месяцу скрыться за соседним сараем, как Афанасий начинал метаться по комнате, задыхаться, стонать, потом он рвал все дверные запоры и выбегал на улицу, чтобы итти и итти за околдовавшей его луной.

И как за ним ни следили, и как его ни запирали на десятки замков, он все-таки ухитрялся вырываться из дому и отправлялся на поиски меди. Днем он ходил по людным улицам, выслеживал человека, который закуривал папиросу о зажигалку, внезапно нападал на него, валил на землю и отнимал у него зажигалку.

— Караул! — кричал испуганный хозяин зажигалки. — Держите его, держите!

Афанасия хватали.

— Это моя зажигалка, он ее у меня украл! — говорил он и зажигалки не отдавал.

Собирался народ, его вели в милицию, там с трудом разжимали его руку с зажатой в ней зажигалкой, и, продержав несколько дней, выпускали.

Придя домой, Афанасий, вместо того, чтобы отдохнуть, брал лопату и принимался рыть землю во дворе, в одном месте, другом, везде. Сбегалась семья, поднимала на Афанасия крик, что он испортил весь двор, пыталась отнять у него лопату. Афанасий оказывал сопротивление и упорно твердил, что в земле у него запрятаны зажигалки.

Он и на самом деле имел обыкновение уворовывать целые зажигалки или их части у Данилы и прятать их во всех потайных местах.

Потом он повадился выпрашивать зажигалки у прохожих или специально для этого ходил по дворам. Позвонит в парадную дверь, ему отворят.

— Что вам?

— Дайте зажигалку.

— Что-о?..

— Зажигалку.

Одни с громом захлопывали перед ним дверь, другие, принимая его за нищего, выносили ему кусочек хлеба, третьи думали, что чудак просит закурить.

— Нà,—выносили они ему зажигалку и ждали.

Афанасий совал зажигалку в карман и делал попытку скрыться.

— Воры!—кричал он, когда у него отнимали чужую зажигалку.— Воры!—кричал он и на народ, обыкновенно сбегающийся на такие скандалы в очень большом числе.—Кто такого, как я, обидит, тот пропадет!

Народ, видевший в Афанасии человека необыкновенного, принимал его последние слова за прорицание. И в карманы сумасшедшего со всех сторон совали мелкие деньги, булки, кусочки сахару, яблоки... Старухи при этом крестились.

На Афанасия нередко приходили с жалобами, что поймали его, когда он отвинчивал у парадных дверей медную ручку; однажды его привели домой окровавленного, избитого и рассказали, что среди ночи застали его на балконе за подпиливанием медных перил. Домашних он не слушался, и они все чаще в обращении с ним прибегали к побоям. Он много ел, обрюзг, опух, оброс, был очень тяжел, и чтобы сдвинуть его с места, иногда возле него стояли и били его кулаками в спину, как в стену, и Марья и Груня.

— Ишь, проклятый. Не хочет итти.

Они немного отдыхали, потом принимались снова его бить. Часто призывали себе на помощь и Данилу. Данила тоже бил. А у Афанасия, когда его били, было такое выражение, как будто он и сознавал, что

напроказил, но помочь горю при всем своем желании никак не мог, а только стоял, жался и по-детски испуганно моргал глазами на каждый занесенный над ним кулак.

И вот, после долгих мучений с ним, после крушения надежд на полное его выздоровление, после длительных споров членов семьи между собой, жена и дети решили с помощью завкома отправить его в соседний город в дом умалишенных.

XV.

В день посадки больного в поезд в его доме, кроме своих, собрались прежние два врача, Филипп и двое рабочих - металлистов, старых товарищей Афанасия по заводу, вызвавшихся провожать его до места.

Афанасия перед дальней дорогой подстригли, вымыли, приодели. С ним перед разлукой и обращаться стали ласковей и кормили его лучше, сытее. И он, казалось, учуял, что его собираются упрятать в какое-то нехорошее место. Он забрался в угол мастерской, огородился мебелью и уперся.

— Что уже сговорились, сволочи?—спрашивал он у собравщихся из своего угла, из-за баррикады.—Сговаривайтесь, сговаривайтесь!..

— Афоня,—с обычной бойкостью вертелся возле него и весело болтал Филипп с самым невинным видом.—Афоня! Об чем же мы сговорились? Нам не о чем сговариваться. Ты ведь все слышишь, о чем мы говорим. Мы ничего такого тебе не желаем, ты не сомневайся, мы все свойские. А что касается поездки, то тут ничего такого нету. Я тоже еду. Поедем вместе. И вот люди поедут, двое наших старых товарищей, тоже заводские. Погостим там немного, отдохнем от работы, хорошо покушаем и обратно домой. Едем? А там хорошо! Вино, закуски, все на свете! Ну, подымайся, идем...

Афанасий не давался. Брать его силой не решались, боялись шумом привлечь внимание соседей, улицы. Доктор посоветовал на некоторое время совершенно оставить его в покое, дать ему забыться и выйти из засады.

И среди собравшихся мало-по-малу завязалась беседа. Беседа еще более оживилась, когда, после вечернего гудка, в мастерскую пришли, проводить Афанасия, еще человек десять рабочих-металлистов. Это были большею частью люди пожилые, однолетки больного, степенные, и было чрезвычайно трогательно видеть, как они, провожая своего старого друга, быть может, в последний путь, умыли свои синевато-прометалличенные лица, руки, надели чистенькие сорочки, праздничные платья.

Старики-металлисты были очень рады встретить друг друга не на заводе, а в обстановке частной жизни. Они тотчас же разбились на отдельные кружки и оживленно заговорили. Говорили о зажигалках.

— ... Такой штамп изобресть безусловно можно,—слышались убежденные слова старика в одной группе.

— ... Штамп,—донеслось это же слово из другой.

— Штамп... штамп...—повторялось это слово по всем углам квартиры.

Вопросом вскоре заинтересовались оба доктора. Это вдохновило речистого Филиппа на самые пространные объяснения.

— Это ведь тоже, как говорится, своего рода, неизвестно что!— перекатывался в комнате его бойкий голосок, когда он, отвечая на вопросы докторов, старался говорить с ними по-ученому.—Зажигалка! Каждый ее имеет, каждый ее носит в кармане, но не каждый имеет об ней правильное понятие! Многие, даже очень многие, в особенности люди сильно ученые, вот хотя бы взять вас, докторов, думают, что зажигалки, это изобретение науки, развитие промышленности, техника, оптика, диабет, нумизматика! А если на этот вопрос взглянуть, как следует, серьезно, практически, то окажется, что никакой заслуги перед наукой тут нет. Наоборот! Зажигалки—это просто всеобщее помешательство рабочих-металлистов, болезнь, эпидемия, бороться с которой не в силах оказалось даже государство!

— Правильно!—с добродушным смешком загудели изо всех углов металлисты.—Так оно и есть!

— Дураки!—обратился к присутствующим Филипп.—Зажигалками хотят побить спички! Разве это мыслимо? Разве в здравом уме на зажигалку можно смотреть, как на серьезную вещь? Это скорей забава для детей: вот нет ничего, а вот огонь, и без спички! Для детей это своего рода китайский фокус, игрушка, рождественский подарок с елки. Но мы же все-таки не дети! „Самостоятельность“, „самостоятельность“! Они помешались на „самостоятельности“! Хотят стать выше людей, отбиться от кучи, от всеобщего стада,—какие умники! Но только нет, не отобьются!

— Дядя Филипп,—раздался обиженный голос одного металлиста:— а разве вы не делаете зажигалки?

— Как же!—вскричал Филипп и подпрыгнул, и завертелся, стоя на месте и жестикулируя.—Делаю, очень делаю! Я не скрываю! И если бы люди узнали, какие я все время терплю на зажигалках убытки, как я на зажигалках раздеваю невинное семейство, меня давно бы связали и тоже отправили в сумасшедший дом! Вы думаете, один Афанасий на зажигалках сошел с ума? Все! Я первый! У меня у первого вот уже два года нет сну! А вот в этой комнате перед нами сидят, по крайней мере, десять старых, можно сказать, заслуженных мастеровых, посмотрите на них, послушайте, о чем они говорят, разве это не сумасшедшие?!

В комнате раздался взрыв общего смеха, особенно хорошо смеялись оба доктора. Один из них, специалист-психиатр, ловил каждое слово Филиппа с таким острым вниманием, с такой лихорадочной

жадностью, точно случайно вдруг увидел перед собой всемирно известного великого ученого, о котором раньше только слыхал.

— Подумайте сами!—указал рукой Филипп на заслуженных металлистов.—Проработали на заводе, как люди, по тридцати лет, нажили кое-какое, хотя и небольшое, состояние, считались рабочими первой руки, получали по первой категории, а потом взяли и сошли с ума: начали днями и ночами ковыряться в квартире с зажигалками, разорять дом, изводить жен, уродовать детей, и все ждут какого-то сумасшедшего случая, когда зажигалки их враз подымут! Хотел бы я увидеть хотя одного металлиста, который бы продавал зажигалки не в убыток себе! И это, несмотря, что медь у всех краденая! Вы, доктора, и прочие люди науки, когда видите перед собой очень красивую фигурную зажигалку, наверно думаете: вот какие хорошие заграничные фабрики зажигалок пооткрывались! Ничего подобного! Никаких фабрик зажигалок нигде не пооткрывано! Этот товар работается вручную! Если бы вы хотя раз посмотрели, каким путем из куска меди получается зажигалка, вы бы решили, что зажигалки делают сумасшедшие мученики, и если бы вы не были очень сильно ученые и если бы у вас не была потерянная совесть, вы бы первые вышли на площадь и разбили свою зажигалку о мостовую с тем, чтобы больше никогда ее в руки не брать! Вы думаете, это медь? Это не медь, не металл, это наши слезы, это крик души рабочего-металлиста!

— Ооо!..—волной покатилось одобрительное гудение заволновавшихся матерых мастеровых.—Ооо!.. Верно!.. Верно!..

— Я извиняюсь,—перебил Филиппа врач-специалист, держа записную книжечку в руках и карандаш.—Если вы так хорошо сознаете и разорительность работы над зажигалками, и все безумие этого дела, отчего же вы тогда не бросите эту работу?

— Бросить нельзя,—сделал убежденный жест Филипп.

— Отчего же?

— Вещей жаль. У меня весь инструмент, вся мастерская, вся квартира, весь дом, весь двор, вся семья, жена и все дети,— все подогнано под зажигалки! Неужели все это бросить? Да и сам я уже вроде как ни на что другое не способен... Правда, я, как хороший мастер, все-таки нахожусь в лучшем положении, чем они, потому что я в последнее время почти что уже совсем изобрел такой пресс, который будет штамповать сразу готовые зажигалки. Если бы не этот пресс, конечно, я тоже давно бы сошел с ума. Меня этот пресс очень должен спасти!

— Теперь пора,—тоном гипнотизера вдруг произнес врач-специалист, не спуская внимательных глаз с Афанасия, который перекинул через плечо мешок, надел картуз и тихонько выходил во двор.

По знаку доктора несколько человек пошли вслед за Афанасие незаметно окружили его, усадили вместе с собой на поджидавшую на улице линейку...

Филипп, со слезами на глазах, распоряжался возле линейки:

— Дань, держись ближе к отцу, чтобы он все-таки видел своих! Возьми его под руку! Маша, теперь не плачь, теперь не время! Груня, не забудь отблагодарить доктора!

Линейка тронулась, оторвалась от домика, в котором Афанасий родился и прожил всю свою жизнь. Старики-металлисты, группой стоявшие на улице, возле калитки, достали носовые платки, вытирали глаза, кашляли, качали головами в направлении линейки, увезшей их старинного друга...

— Доктор,—смущенно подошла Груня к врачу-специалисту.— У нас таких денег нет. Хотите получить зажигалками?

На другой день, было еще совсем темно, когда Данила вскочил с постели, босой пробежал в потемках от койки к станку, зажег самодельный бензиновый светильник, ополоснул холодной водой лицо, схватил в углу длинную медную желто-зеленую трубку, похожую на высохшую камышину...

Молодой токарь по металлу торопился!

Хлеб дорожал! Зажигалки дешевели!

— Один спятил,—подумал Данила, ставя ногу на отцовское место, на подножку станка.—Теперь другой будет сходить с ума. Проклятые зажигалки!

Он вертел ногой и вертел вихляющее колесо станка, когда вдруг его сердце больно, как никогда, защемили слова: „Второй Репин“!

Четыре дня.

(Рассказ.)

М. Чистякова.

Стук в окно через запушенные снегом стекла казался таким тихим и жалостным, что хотелось совсем приглушить его и не стаскивать с печи парное тело. И Иван Сергев только дрыгнул ногой и громче всхлипнул носом, но Митревна, не спавшая по ночам от поясницы, завозилась под дерюгой.

— Старик, а старик, стучит ровно кто...

И так как Иван Сергев не отвечал, она обратилась к сыну:

— Степка, поди отопри, да окликни, кто... а уж дверь-то того... опосля...

Мальчишка медленно и сонно поднялся с лавки, накинул тулуп и неверными шагами закачался в сенцы. Там он долго возился чем-то, шуршал валенками, открывал и закрывал дверь,—так долго, что опять уже спалось и начинало казаться, что никто и не стучал вовсе и что Степка лежит, как и раньше, на лавке и что все это почудилось во сне, а теперь прошло и снится другое.

Но вдруг шлепнулась дверь в избу, закрутился пар и ввалился человек, весь облепленный снегом. И пока он молча распутывал башлык и стягивал примерзлый к плечам тулуп, обнажая желтую кобуру нагана, Иван Сергев, окончательно и неприятно проснувшийся, следил за его движениями, не слезая с печи. Было много вот таких же сипужных ночей, когда вваливались чужие люди в солдатских шинелях, с наганами, когда они кричали, требовали, обыскивали—и увозили хлеб, и угоняли скотину. По-первоначалу было обидно и горько, а главное жалко добра, потом, когда добро перевелось, проходил страх и зарастала обида. И ночные стуки уже не пугали, и ночные гости требовали только ночлега, вызывая неудовольствие за прерванный сон.

И теперь Иван Сергев думал: „Откуда еще нелегкая принесла? Шляются по ночам... Не слезу, пущай сам, как знает, укладывается“.

Он повернулся на другой бок, лицом к старухе и увидел, что она приподнимается и, вытягивая шею, по-звериному приглядывается к солдату.

— Да ведь это Микишка,—говорит она, будто недовольно в напряжении угадывания, и, только сказав эти слова, понимает свою радость и кричит, и плачет, и мечется по печке, забывая как слезть.

— Он и есть,—отвечает незнакомый голос сквозь заиндевелые усы.

Ждали от него письма, а вот он сам стоит посреди избы, разматывает башлык и говорит сиплым басом. И эта чужая серая шинель—его шинель, и страшный наган, выпячивающийся из желтой коробки—его наган, и сам он, далекий и отчужденный, коммунист и комиссар, по слухам, смотрит на них серыми своими глазами, как и тогда, когда был мальчишкой...

... И долго еще тянулась эта ночь. Ставили самовар, принесли из амбара насквозь промерзлое сало и резали его тонкими розовыми ломтиками на деревянном кружке. Пришла из клети радостная и смущенная приходом мужа Степанида, растрепанная со сна, с красной полосой на щеке: отлежала, дура, свалившись ничком в жадном своем зверином сне. Она смеялась истомно и не знала, как подойти к мужу, а он и не смотрел на нее и, хрустя розовыми ломтиками на здоровенных своих зубах, громко и размашисто говорил. Старики упивались его видом, его смехом, звуком его голоса, но часто речи его складывались непонятно для них.

— Ты, Микиш, должно, по ученой части? Речь-то у тебя непонятная, не наша,—спрашивал отец.

— Я обучался политграмоте,—объяснял Никифор и прибавлял строго:—это не ученость во мне, а сознательность.

Старики опять не понимали, и отец опять спрашивал:

— Как ты сказал? Нет, вот грамоту-то ты как назвал?

Но мать ничего не спрашивала: не понимая выражений сына, она чувствовала их общее настроение. И на мать Никифор смотрел весело и дружелюбно, но в его отношениях к отцу сквозила холодность и какая-то связанность. Иван Сергев скоро уловил это и оскорбился, и его подчеркнутая сдержанность еще увеличила холодность сына.

„Это он совестится, что отец жил богато и знался с господами",—думал старик и, перебирая в памяти события прошлого, находил все дельным и правильным, и хмурился, и умолкал, замыкаясь в себе, как привык замыкаться за все тяжелое время обысков и конфискаций. И только, когда Никифор, напившись чаю, принялся чистить свой наган, бережно и любовно, старик не выдержал.

— Много, не бойсь, людей укокошил этой свистулькой?—спросил он с кривой усмешкой.

Никифор сбоку посмотрел на него и ничего не ответил.

— Не все же коммунисты—живодеры,—неловко вступилась мать.

И всем троим стало тяжело и ясно почуялась рознь.

— Тебе бы спать, дитёнок,—заторопилась старуха и повела его в клеть. За ними пошла розовая от волнения Степанида.

Утром, когда еще ползали по избе лиловые сумерки и тенили заспанные лица, Никифор был на ногах. Он развязывал свои сумки, раскладывал какие-то книжки, и вид у него был такой, как будто он что-то высчитывает и соображает. И теперь в белесом свете наступающего утра ясно увидел Иван Сергев полосы на его сером, длинном лбу, каких раньше никогда не бывало, заметил, что будто и глаза его залезли дальше под лоб и вся голова осела в плечи, будто нес он какую-то непомерную тяжесть. И пока отец копался в избе над хомутом, он все рылся в книгах, а на стену, к самому угоднику, прибил пеструю картину, на которой прыгали пузатый поп и рыжий барин.

— А эту,—Никифор указал на образ и нехорошо выругался,— можно и к чортовой матери.

— Это для старухи, для старухи висит,—и Иван Сергев весь вспотел от странного усилия,—а по мне хошь и не надо как третьегодняшний снег... Вешай свой, пущай...

— Не пущай, а надо сознательно,—сказал Никифор, и скулы его выперлись из-под кожи и все лицо от этого сделалось злым и упрямым.

— Говорю—вешай... Ну, только и образ не трожь... для старухи, для матери.

Иван Сергев все не глядел на сына, все потел и, торопливо оборвав, вышел из избы.

На дворе было все гладко и бело; ночная сипуга улеглась по-земи белым своим рассыпчатым телом и блестела, ворочаясь мягким животом. Лопата в руках Ивана Сергева прыгала сама собой, мяла ее толстые бока и зубоскалила с солнцем.

На крыльцо вышел Никифор в одной гимнастерке и в шапке, здоровый и крепкий, яркий на снежном блеске и больше свой деревенский, чем там в избе, когда он копался в книжках. Сначала он глядел на работу отца, заложив руки в карманы суконных своих солдатских штанов, потом взял лопату и стал помогать. И так долго работали они молча, бок-о-бок, оба напряженные и внимательные, радостно-возбужденные и упругие в четко схваченном ритме. Потом сразу остановились, побросали лопаты и закурили. И когда, прикуривая, ткнулись друг в друга головами и взглянули близко веселыми глазами, Иван Сергев подумал, что Никифор—мужик и мужик хороший и что утрешнее—ребячья вздорность, не стоящая внимания.

Работали вплоть до темноты; очистили двор, откопали и вычистили катухи, задали корм скотине. Никифор во все входил, двигался быстро, и пот выступил на его скуластом лице, темнил волосы и прилипал к ним теплую шапку со значком.

— Вот, Микиш, бросай службу — на кой она ляд? — приходи, захозяйничаем—добро! Опять богато заживем, не как наши лодыри,—

сказал весело старик и по вдруг опустившемуся лицу сына понял, что этого нельзя было говорить.

— По-прежнему?—нет,—отвечал Никифор сухо—зажглась заря новой жизни, и мы теперь должны бороться, а не торчать по домам. Борьба наша происходит ударная на всех внутренних фронтах и деревню нам надо ударно перестроить согласно учения Карла Маркса.

Он бросил лопату и прибавил:

— Идем в избу—я хотел прочесть тебе...

— Сейчас, вот только эту кучу раскидаю...

Когда Иван Сергев вошел в избу, Никифор сидел за столом и читал книжку. Плотная фигура его вся перегнулась и сжалась, и в лице было напряженное и упрямое выражение.

„Чисто пни корчует",—мелькнуло в голове у Ивана Сергева.

— Садись,—бросил Никифор отцу.

Тот послушно, и смущаясь, и боясь, что не поймет книги, сел рядом. Никифор читал об устройстве коммуны, читал быстро и неровно и не давал опомниться: только схватишь одно слово, поймешь и хочешь обдумать, а уж за ним, как горох из мешка, просыпаются новые слова— и не угнаться за их скоком, и не поймать всего...

... Старуха у судной лавки месит тесто и тоже прислушивается... Степанида няньчит ребенка и глядит на мужа, раскрыв глупую свою пасть и не замечая того, что мальченка сползает с ее колен и, раскорячась на худых ножонках, переваливается к отцу и обхватывает его колено. Никифор сердито отстраняет его и сердито кричит:

— Баба, убери же ребенка!

Потом опять читает и опять слова скачут, как горох.

„Не то, нам таких книжек не нужно,—думает Иван Сергев.—А может, это я глуп, да стар, не понимаю? а там все правильно? Не знаю, не знаю"...

— Не знаю,—повторяет он вслух, когда гул голоса стихает, и Никифор взглядывает на него вопросительно.—Ты мне лучше так, на словах расскажи.

Никифор недовольно встает и говорит:

— Вот в воскресенье на сходке я буду об этом объяснять, тогда и послушаешь. А сейчас это я тебя предварительно ознакомил.

Он ходит по избе и сапоги его стучат, как давешние слова из книжки.

— Мужику это трудно перемолоть,—опять говорит он:—но нужно себя преодолеть. Я вот преодолел в батальоне—спасибо, товарищи помогли, и теперь вся эта проблема у меня, как наяву.

Он останавливается перед отцом.

— Ты то заруби у себя на носу, что в коммуне работы меньше, а урожаи больше. Это уж выходит само собой, как говорится, механически. Там, где земля давала, скажем, 60 пудов с десятины, она даст все сто; сорок пудов, значит, будто приросту; из них ежели мы половину возьмем на покрышку расходов, да на новые машины, и то оста-

нется нам в прибыль противу прежнего двадцать пудов. А новые машины произведут повышение процента урожая. Вот ты и разочти, что это за проблема.

Серые глаза Никифора блестят и пот проступает на лице, как давеча во время работы.

Иван Сергев заволновался.

— Ты говоришь—прирост; ну, а откуда же он возьмется, если я, примерно, буду меньше работать?

— Коммунальный процесс жизни его производит. Вот здесь,— Никифор схватывает со стола книжку и тыкает ею в нос старика.— Вот здесь все это написано.

— Книжки господа пишут,—угрюмо говорит Иван Сергев,—а они нашего положения не знают. Ну, как просчитаются, а мы полезем за ними—да в яму?

— Ошибки не может быть: книжки эти писали не господа, а наш же брат, рабочий...

— Ну, это ты того... не греши... Нашему брату писать книжки некогда. Это—господское дело. А где господа—там нам гибель. Вот у нас в волости засел Никольского барина сынок, ну и замучил мужиков нарядами. Так и здесь. Понаобещают, смутят, а потом—расхлебывай. А земельку-то себе—ясное дело.

Никифор горячился, но старик сказал свое и замолчал. Он больше не слушал сына и укладывался спать.

А с раннего утра уехал Никифор по каким-то своим делам в волость, и было похоже на то, что он никогда и не возвращался домой, а все скитается где-то в батальоне.

В сумерки, когда Иван Сергев носил для топки солому, за ним неслышно прошмыгнул в избу председатель.

— А я к тебе, Иван Сергев, хочу, брат, тебя маленько поприжать,— сказал он, дружелюбно усмехаясь,—зажги-ка копчугу.

— Что же, прижимай—такое твое дело,—также усмехаясь, сказал Иван Сергев, вздувая огонь.

Он уважал председателя за то, что тот был основательный мужик и хозяин, понимал хозяйственное положение и входил в него, не гоготал зря, не фордыбачил: где можно—ослобонял, где нужно—хоронил. Он был свой человек на деревне и ходил по выборам второй срок.

— Прижимай, прижимай,—повторил Иван Сергев.

Сели, закурили. Председатель разложил какую-то бумагу, долго рассматривал ее, шевеля губами и, наконец, что-то найдя в ней и придерживая негнущимся черным пальцем найденное, спросил:

— Перво-на-перво: сколько у тебя овец?

— Сам знаешь нашу линию. Все мы теперь, почитай, на одном полозу с Юфимкой-Голопузым... Пиши четыре головы.

— Так. Четыре,—председатель сделал какой-то значек на бумаге;— ну, а ягнаков?

— Пара.

— Пара—так. Свиней—нет. Индеек—нет... Кур?

— Кур? Это уж бабье дело. Что, старуха, сколько у нас курят?

— Да всего на всего восемь курочек, а к весне и тех не будет. Горе чистое с ними — корму нет, в катухе — холодина, — запричитала Митревна:—пиши восемь. Оно хоть и бродит всего десяток, да две совсем не стоящие...

— Не стоящих не надо—лишняя возня, как поколеют,—подтвердил председатель и, нацарапав последний крючок, сложил бумагу.— Теперь о другом. Завтра утром запрягай своего мерина в волость на дежурство.

— Ослобони—не могу, хоть зарежь—не могу,—Иван Сергев в волнении встал с лавки и снова сел.

— Какие же твои мотивы?—спросил председатель, свертывая новую цыгарку.

— Мотивы мои такие. Меренок мой еле двигается — это одно, а другое—поехал сегодня на нем в волость Никифор и, значит, итти ему опять не в моготу.

— Это ты верно,—подтвердил председатель и прибавил: — дай-ка своего табачку—хороший он у тебя.

И, принимая от Ивана Сергева табак, повторил:

— Мотивы твои основательные, да только и мне не в петлю же лезть из-за тебя. Ну, кого я сейчас окромя тебя назначу?

— Да ты к Петрухе Макарычеву сходи — у него лошадь отдохнула.

— И то—попробую. Ну, а если не поедет—езжай ты—и чтобы никаких... Дай-ка прикурить!..

— Петруха откажется—поеду. Разве я не понимаю,—говорил повеселевший Иван Сергев, давая прикурить.

И затем разговор их перешел на хозяйственные вопросы и тек тихо и мирно. Опять закуривали и опять председатель говорил:

— Хороший у тебя табак, Иван Сергев.

Но вдруг на дворе завозились, и Митревна, чуткая к шуму, от постоянной ночной бессонницы, насторожилась.

— Приехал,—сказала она и посмотрела на мужа испуганно. А уже в избу, черную от узкой полосы света над столом, всерывалась шинель Никифора.

Председатель встал, лицо его оробело.

— Здравствуй, товарищ!—Никифор протянул ему руку.—Работаешь на пользу рабоче-крестьянской власти?

— Стараемся, товарищ. Так сказать налаживаем структуру и, примерно, выходим на сознательный путь, — председатель говорил тем сложным и ему самому непонятным языком, которому он научился на волостных съездах и на котором никогда не говорил с мужиками, употребляя его только в официальных случаях.

— Это хорошо, если сознательно входишь, — сказал Никифор.— Речь председателя ему понравилась, как понравилась и вся церемонная их встреча.—Ну, а сейчас сюда по каким делам?

— Да вот, произвожу учет животным...

— Покажь!

Никифор развернул бумагу, взглянул мельком и недовольно отодвинул.

— Формалистика недостаточна. Грязно пишешь и не понять ничего. Что это за рогульки?

— Я это для себя—мне так понятней. Я ведь не обучался,—обиженно сказал председатель,—я сам дохожу своим хребтом.

— Надо быть на высоте заданий, товарищ. Ты заведи себе входящий и исходящий, как в волости.

Председатель угрюмо молчал. Никифор, взглянув еще раз в бумагу, продолжал:

— И потом, откуда тебе препровождаются эти сведения? Вот у тебя записано, что у Ивана Сергева четыре овцы. Ты произвел учет?

— Иван Сергев сам пояснил,—сказал председатель неуверенно; на лбу у него поползли капли пота.

— Он может пояснить тебе ложные данные. Так работать, товарищ, нельзя,—повысил голос Никифор.

— Ну, это ты того... напрасно,—вступился Иван Сергев,—скотину нашу учли и переучли, а обманывать его мне не к чему: свой брат, мы друг за дружку.

— Необходим строгий контроль.

Никифор долго и сердито говорил об обязанностях председателя. Иван Сергев давно потерял нить его речей, и, смотря на потное лицо председателя, думал: „заездит, ох, заездит мужика“.

Наконец председатель не выдержал. Прерывая Никифора, поднялся он с лавки и, не глядя на него, сказал виновато:

— Ну, у меня тут еще одно дельце есть...

И вышел торопливой походкой из избы.

— Не соответствует своему назначению, — проговорил Никифор, — злоупотребляет, должно быть.

— Он мужик ничего, мужик хороший,—заступился Иван Сергев,— вникает в дело, перед волостью, али там перед уездом за свою деревню горой; налог ли какой, повинность ли—старается скостить...

— Вот то-то скостить, — сердито передразнил Никифор, — не о своей шкуре надо заботиться, а удовлетворять общегосударственную необходимость.

Иван Сергев не понял и замолчал. В его сознании обозначались ясно и отчетливо польза и нужда своей деревни, а по сходству с ней, основанному на личных жизненных отношениях, нужда и польза Никольских, Белкиных, Лаптевых и множества других деревень; все они переплетались крепко хозяйственной связью и потому нуждались друг

в дружке: примерно, в нынешнем году у Белкиных хорошо уродилось просо, а наше что-то плохо всходило, зато выручил картофель. И вот мы ездим к белкинским мужикам и меняем лишний картофель на пшено, а из Катуровки привозим конопляное масло, а из дальних хохлацких выселок—гречиху. Но тут вмешивается власть—волость или еще выше—уезд—не дозволяют самим мужикам по их нуждам обмениваться и хотят доставлять все нужное от себя. Чтобы барыши, значит, себе. И только мешают. Без них куда бы лучше...

Так думал Иван Сергев, и потому, когда Никифор заговорил о государстве, он вспомнил серые грязные стены волостного исполкома, куда недавно по наряду возил приезжего комиссара, и молчал, не понимая, как можно гордиться об них.

А Никифор говорил в раздумьи:

— Придется завтра же сходить к нему. Распутать спутки. Проконтролировать.

Он казался озабоченным.

И весь следующий день он „распутывал спутки" в Совете. Ждали к обеду—не пришел, послали Степку к председателю сказать—ждут, мол, обедать; осерчал: „не до обеда,—говорит,—справлюсь с делами—приду". Под вечер забежала Фенька, соседкина девка к старухе за растворником. Быстрая и вся какая-то вострая, блестя зубами и глазом в непотухающем смехе, она рассказывала:

— Ваш-то Никифор у председателя просидел бо-знать сколько, там и обедал. Петровна ему ветчину жарила—ей-богу не брешу. А потом ушел к Макарычевым и там что-то все объяснял, а потом к Тихону Матвеву. Всех под черед проходит—чисто поп...

Она засмеялась и вся заблестела в смехе и убежала, быстрая и какая-то вострая.

— Ишь, дьяволенок,—злобно ей вслед проговорила Степанида:— сплетки разносит.

И только здесь заметил Иван Сергев, что у бабы покраснели и распухли глаза, и желтые лохмы висят из-под кички неопрятно: вспомнил, что еще сегодня утром она хлюпала о чем-то в углу и все хоронилась за печкой, вспомнил и подумал: „Должно с Никишкой нелады... Ну, это их дело. Разберутся".

Надо было итти убирать скотину, чинить старухе дежу к завтрашнему празднику. Все это было нужное, всамделешное, призывающее, а разговоры, обиды, ссоры идут откуда-то дуром в жизнь и путают ясное и нужное, но запутать совсем не могут и, покрестившись, расползаются прочь. А нужное остается—земля, скотина, работа.

„Разберутся",—думал Иван Сергев, пролезая в низкую дверь катуха с ведром месива. Там было темно и под ногами мягко; от свежего навоза поднимался парок и приятно почесывал в ноздрях. Шумно вздыхала стельная корова, а рядом, через тонкую перегородку, фыркала лошадь и чем-то стучала — должно быть, хлестала себя хвостом по

звонким ляжкам. И чьи-то мохнатые горячие головы одна за другой потыкались к ногам и затерлись о портки.

— Бе-е, — говорили они протяжно, — бе-е...

Иван Сергев подставил им ведро и пока они, теснясь и влезая друг на друга, ели, он распутывал их длинную курчавую шерсть и соображал о времени стрижки.

А со двора от колодезя слышался скрип бадьи, и голос Степаниды, протяжный и жалобный, плакался кому-то:

— ...и все-то молчком, все молчком... Иной раз за всю-то ноченьку темную и не притронется, ровно поганая я какая. Заплачу я так вот...

Голос замер, а бадья у колодезя все скрипела и стучала вода, проливаясь из ведер. Иван Сергев нахмурился и невольно ждал. И опять голос, замирая в рыданиях, говорил:

— ...Заплачу и скажу: аль я тебе не жена? аль кто другой место мое занял? А он — не то, говорит, у меня на уме, отвяжись—да по матери... а я опять: что же у тебя, мол, на уме? Девка какая городская? Ну, он опять обругает, что ни есть чище, а потом сделает, что нужно... и все молчком, кое-как, будто нехотя. Апосля упрется носом в стенку, а я в слезы...

И опять замер голос, и опять скрипела бадья у колодезя и стучала вода, проливаясь из ведер.

Иван Сергев нетерпеливо вышел из катуха.

— Ну, чего рассудачилась? — воду-то ждут, небойсь, — грубо окрикнул он Степаниду. И пока она, выпячивая живот и широко расставляя ноги, шла с коромыслом, провожал ее глазами брезгливо, с жалостью.

Он не любил и не уважал баб, хотя и прожил со своей старухой много длинных годов ладно. Но баба была нужна в хозяйстве, так же, как корова, овцы, почти так же, как лошадь, и потому хороший хозяин должен с ней обращаться строго, но аккуратно. И теперь Иван Сергев не одобрял поведения Никифора. „Бабу нужно держать в руках — это правильно. Но ночью, в потемках, под дерюгой надо ослобонить вожжу, а не то можно и захлестнуть ее совсем, занукать, как молодую кобылу. Встанет—и шабаш,“—думал Иван Сергев и осуждал Никифора. И ночью, несколько раз просыпаясь, прислушивался к шорохам и качал головой.

Воскресенье началось с неприятности и потом весь этот день вытянулся для Ивана Сергева темным и тяжелым годом. Утром за завтраком Никифор хмуро спросил:

— Какой это у вас хлеб под половицами в сенцах?

— Спрятали,—торопливо ответила старуха:—спрятали—от кобелей от наших...

„Эх, надо бы помягче,“—подумал старик и сказал:

— Спасали от реквизиции. Волостная комиссия ездила здесь — без толку отбирала.

— Как—без толку? Как ты смеешь такие глупые слова против представителей власти говорить? Да понимаете ли вы, что делаете?

Никифор вскочил и бросил ложку; скулы на его лице выперлись и дергали кожу.

— Да за эти за самые ваши злодейства вас нужно сейчас же, как злостных неплательщиков, предать суду Ревтрибунала. Это пахнет расстрелом!

Он долго кричал, потом, остановившись перед стариками, хрипло сказал:

— Надо объявить в Совете. Пускай перемеряют.

— Штой-то ты, сынок,—заголосила Митревна,—а мы-то как? Ведь до нови-то... до нови-то не хватит—помрем...

— Неправда, не помрете, прикидывайтесь перед кем другим, а не передо мной. Я вашу политику знаю. Вас только и можно взять измором—оголить, как бабу, а потом и заставить плясать по своей дудке. Ведь вы только и думаете о брюхе...

— Да ведь и ты вот пришел—трескать просишь,—вдруг, задыхаясь и багровея, закричал Иван Сергев. Долго привыкал он сдерживаться и таиться и теперь словно какая-то пленка, вспухшая за многие тревожные дни, лопнула в глотке, знакомый и радостный порыв бешенства охватил его неудержно, и сквозь этот порыв остро метнулась жалость к сыну и стыд за свой безобразный упрек; но это смутное чувство только подхлестнуло его и заставило еще бешеней, еще безобразней кричать: — и твою...,—он прохрипел ужасное слово, Степанида где-то вскрикнула и зарыдала, - кормил и чертенка твоего кормил.

Никифор стоял бледный, как платок; рука его дрожала и тянулась к полке—к нагану. Мать, мгновенно угадав его движение, бросилась к нему.

— Микишенька, родной мой, кровинушка моя,—запричитала она в голос и обнимала сына и целовала его руку, ту, что тянулась к нагану, и все отодвигала сына от полки, где лежал наган.

— Моя жена и сын имеют свою норму,—кричал Никифор перекошенным ртом, стараясь освободиться от матери и дотянуться до полки:—они едят свой хлеб, а не ваш. А тебя, старую собаку, давно пора за ноги, да в яму.

Иван Сергев сразу остановился, ошеломленный, убитый.

— В яму? Зачем? Я сам уйду. Ослобоню место... вижу, мешаю... в лес уйду к волкам...

И, как был без шапки и в одной рубахе, он выскочил на двор. Ему казалось, что его оплевали, обидели, выгнали из собственной избы—его, хозяина! И смутно чуял, что имелось на то право, страшное, звериное право—право молодого и нового хозяина. Он плохо сознавал происшедшее и только одно отчетливо понимал, что надо ему куда-то уходить, не теряя ни минуты. Но вместо этого он беспорядочно бегал по двору, падал и ползал по холодному белому. И тогда,

на белом чудилось ему, что он—старый волк, обгрызанный волчатами, и что кровь его стекает в снег... И, глухо хрипя, он зарывал голову в сугроб; становилось легче, переставало душить, светлела голова. Наконец, он поднялся и взялся за лопату. Через час напряженной работы он успокоился.

Судя по солнцу, было уже за полдень. Хотелось есть и просить прощения. У кого? У сына? Но он обидел, кровно обидел, а злобы на него уже не было—была слабость и хотелось мира, тихости. И когда издали увидел Никифора в серой шинели и в желтых ремнях нагана, больно почувствовал, что сын носит в себе что-то чужое и уходит куда-то в чужое. Проводив его глазами, пошел в избу. Обедали молча, только Митревна сказала будто себе:

— А Микишка так и ушел... от обеда ушел, обиделся—куском попрекнули... А я-то для него и блинчики испекла...

После обеда опять бродил по двору, пока не залиловел снег и зеленое небо не подморгнуло звездой, пока не захрустел по-вечернему снег и не захороводились темные избы, как большие глазастые собаки. Тогда пошел домой.

— На сходку кликали,—сказала Митревна.

На сходку? Там будет Никишка чужой и враждебный и опять будет кричать. А, может, и скажет что путное, помирится? Итти или нет?

— Иди, старик, послухай,—просительно сказала Митревна.

— Без тебя знаю, не учи...

У самой избы столкнулся с двумя. Один—большой, грузный Климов—окликнул:

— Иван Сергеев, ты? на сходку? И мы туды. Любопытно, что твой Никишка затевает.

Пошли рядом, и избы шли с боков поодаль, будто и им было любопытно узнать, что затевает Никифор.

— Коммунию говорит. Чтобы все обчее—и работа, и пай. У Макарычевых выяснял. Знамо, на словах-то хорошо выходит, а вот как в дело-то произвести?..

— И в дело можно,—отозвался другой; было темно, и только теперь по голосу—тонкому ребячьему—признал в нем Иван Сергев Ванюшку Макарычева,—и в дело можно: все от нас от самих зависит, а мы упираемся, чисто корова бодливая.

— Это все с Никишкиных слов,—засмеялся грузный Климов,—а ты, парень, сам-то умом раскинь да старых людей послухай. Вот ты, Иван Сергев, сам-то как думаешь об этой об коммунии?

— Я так думаю, что нам окромя Советов никакой другой власти не нужно. Зря книжки пишут,—сурово сказал Иван Сергеев, больно вспоминая согнутую под копчугой спину Никифора.

— Вот, вот, и я так думаю,—подхватил Климов,—с голоду не дохнем—и слава тебе господи, о чем еще думать?

Возле избы председателя прилипли еще двое, и все пятеро ввалились в избу. А она уже кишела, как муравьиная кучка, и вся качалась в лиловом махорочном дыму: качались серые лица, качались перепутавшиеся в полумраке клочья одежи, качались, мерцая, головки цыгарок, качались голоса, плавая в вязком угаре. И Иван Сергев, и Климов, и молоденький Макарычев, и те, что были с ними, как только вошли, сейчас же стали вертеть собачьи ножки и, только закурив, присоединились к сходке.

Громкий категорический голос Никифора висел в дыму, и его крепкая спина застилала желтый ламповый свет и прятала маленькую тень председателя.

— Опоздали,—шопотом сказал кто-то под ухом Ивана Сергева,—книжку читал, а теперь словесно...

— Для ленивых членов коммуны будут определенные принудительные средства,—говорил Никифор, отвечая кому-то.

— Да принудь вот такого, как Алдошка,—сказал высокий из угла:—он окромя палки ничего не признает...

— Да и от той увильнет,—ввернул смешливый Климов.

Все засмеялись, а высокий серьезно продолжал:

— Вот такому работнику, как Иван Сергев, скажем, и будет маленько обидно с Алдошкой ровняться.

— Что Алдошка,—прервал кто-то невидимый в дыму,—кажный из нас будет норовить, как бы отвильнуть от работы в надеже на обчество: пай-то, дескать, всем равный, чего же мне больше всех ту́житься?..

— Я же вам говорил, что будут определенные принудительные средства,—нетерпеливо заговорил Никифор,—и, кроме того, будет товарищеская солидарность и дисциплина. Это уж все рассчитано, и нужно только организоваться, согласно программе.

— Позвольте мне слово сказать,—выступил в пятно света и желтый от этого света старик.

— Говори, говори, дядя Аким, послухаем...

— Нам, старикам, а то и отцам и дедам нашим эта самая коммуния была известна.

— Тогда была не коммуна, а общинное землепользование,—перебил Никифор, — коммуна совсем другая фикция и строится она на других убеждениях.

— Ну, я там не знаю, на чем она строится, а только дюже шибает она на древний наш крестьянский порядок. И скажу я вам, братцы, хорошо это, по-божески. Ну, только народ от этого порядка отошел и идут все в одиночку, да на отруба, и не съютить их никакими судьбами. И не надо их приневоливать к обчей полосе: не гни дуром—сломаешь. Може, дальше—больше—опять на тот деревенский порядок дела-то вывернет, ну, а пока надо погодить...

— Погодить,—сказали сзади.

— Погодить,—сказали в середине—в дыму.

— Какого дьявола годить? Годили, годили, да и угодили носом в болото,—Никифор кричал во всю свою широкую глотку, и тени скакали по его скуластому лицу,—теперь вам есть случай стать на ноги, а вы рыло воротите и не понимаете своей же выгоды. Бродите, как слепые...

— И то слепы, это ты правильно,—кричало из дыму.

— И наша рабоче-крестьянская власть идет вам, дуракам, навстречу и облегчает вам вашу коммунистическую организацию: она выдает инвентарь, семена, сбавляет налоги и повинности.

— Ишь, ты!

— Вот оно дело-то!

— Это, значит, прямой расчет записаться...

— А вдруг ошибешься...—кричало в дыму.

— Рот мажут, в рот положат ли,—опять ввернул смешливый Климов, и его громкий голос и смех стоявших около него в дверях услышал Никифор.

— Я вижу, что Климов хочет сделать из собрания безобразие,—крикнул он, свирепея,—я возьму тебя на заметку—ты ответишь. Завтра же в волость собирайся. Председатель, слышишь?

Наступила сразу тишина. Головы наклонились, глаза спрятались, тулупы запахнулись. И эта тишина, и бледное, вдруг даже осунувшееся лицо Климова подхлестнули Ивана Сергева. Он заговорил громко и решительно, как человек, пошедший не оглядываясь:

— Ты вот книжки разные читал, а нам это не нужно. Нам нужна жизнь—работа.

— Подойди поближе, не слыхать,—прервал Никифор, и в его голосе послышалась отцу насмешка.

— Кто захочет—услышит,—отвечал он угрюмо и, не двинувшись с места, продолжал,—ты пример дай, на деле пользу покажи, а без этого, на рыск нельзя. И книжки ни к чему.

— Об этом не беспокойся—покажу,—перебил с задором Никифор, я организую у вас коммунистическую ячейку. Пока записалось два члена, сегодня, должно, запишутся другие. Пока еще не поздно, я принимаю запись,—прибавил он как бы мельком, но с ударением.

— А нельзя ли тебе, Никифор Иванович, повременить с отъездом,—сказал робкий голос,—поруководствовал бы нами пока-что. Мы бы с тобой больше утвердились. А то мы не отчетливо штой-то разобрались.

— Не могу, товарищи: кончился срок моего отпуска, и завтра я должен выбыть на место службы. Наша работа ударная. Сегодня после сходки я проинструктирую вас, оставлю литературы, а вы сейчас же свяжитесь с волостной ячейкой.

— Ну, и накуролесят же они без тебя,—отчетливо, задорно сказал кто-то сзади.

— Как накуролесят?—из-за Никифора грозно поднялась черная фигура.—Кто накуролесит?—метнулся Ванюшка Макарычев.

Поднялся крик: заговорили все разом, задвигались волны дыма и закачались клочья одежды.

Иван Сергев вышел из избы и торопливо пошел домой, а гул все гнался за ним и тыкался в уши. И чьи-то тяжелые шаги скрипели сзади.

— Подальше от греха,—задыхаясь сказал Климов, нагнав и идя рядом;— ну и задает же жару твой...

Он шопотом выругался, сплюнул и уже весело и смешливо прибавил:

— А того... не с того конца малый начинает, а?

Иван Сергев не мог балагурить; он мучительно хотел остаться один в морозной ночи под рдяными звездами, вздохнуть.

— Некогда, опосля,—оборвал он и пошел быстрее.

Климов, все задыхаясь, еще раз нагнал его и, сунул жаркое парное лицо к самому уху Ивана Сергева, зашептал махорочно:

— Того... мне верный человек сказывал... донес, говорит, в Совет, хлеб, мол, спрятали там-то и там-то—перемерять штоб... Так ты того... в другое место...

И он сразу отстал и грузные его шаги выскрипывали куда-то в бок.

Иван Сергев, оставшись один, вздохнул шибко и глубоко, как давно хотел вздохнуть, и стал думать о сыне. Он знал, навернсе знал, что мужик своего хлеба сам не отдаст, и если теперь Никифор донес в Совет, то значит он откачнулся от них, от своего хозяйства, от крестьянства, от земли. Он—отрезанный ломоть. Он баломутит деревню, но он чужой деревне и заводит все свои выдумки, чтобы показать свою власть, покрасоваться, поцарствовать. И много еще горького, злого думал Иван Сергев, идя домой морозной ночью под рдяными звездами. С этими думами он ужинал, с ними лег спать.

„Не мужик“,—бормотал он на печи, кутаясь в дерюгу и забиваясь к самой грубке. Ему казалось, что как только он ляжет на теплую печку и вытянется, то сейчас же успокоится и заснет; но он все ворочался, вздыхал и думал о сыне. Он старший, к нему должно перейти хозяйство, а он неосновательный, отбился, идет в сторону. Куда?— Иван Сергев не знал. Но в сторону... Он вспоминал непонятную речь сына, его книжки, крашеные картины, наган; вспоминал, что за все время он ни разу не поговорил толком о хозяйстве, не сходил к стельной корове, разладил с бабой. С матерью будто и был ласков по первоначалу, а потом и на нее перестал глядеть. Степке все книжками докучал... „Не мужик“.

Сердце угомонилось, злоба прошла, а сна все не было.

За полночь пришел Никифор: отказавшись от ужина и от теплых блинов, которые мать, чуткая к его приходу, разогревала в печи, он залег спать. Старуха все еще металась по избе тенью; потом и она легла. А Иван Сергев все не спал и думал о сыне. Спит он иль тоже вот так думает? Но этого нельзя узнать—нельзя подойти, спросить,

осерчает, да и как старику-отцу, кровно обиженному, первому подойти? Не годится. Вот если бы сам объяснил как и что... о чем думает. Ведь не чужой же он, а своя кровь—сын.

И Иван Сергев особенно ярко вспомнил первый день по приходе сына, когда они вместе откапывались от снега и тот взгляд, дружный и веселый, которым взглянул тогда на него, прикуривая, Никифор вспомнил и его крепкую, всю залитую зимним солнцем фигуру, его сильные руки и веселый размах, с которым они подбрасывали лопату. Это было не долго—после он уже не работал с отцом, но это было. А было—значит сидит еще в Никифоре мужик. И только затирает его что-то чужое. А он возится над этим чужим, сопит, как медведь, и не бросает—осилить хочет. Втемяшились ему проценты, чтобы разбогатеть сразу. Прирост, говорит... Врет, надо работать, тогда и будет прирост... а он уши-то и развесил... молод—глуп...

Иван Сергев ворочался и вздыхал. „Домой бы его... на работу в горячую пору, втянулся бы... объездился... Силы у него много, не знает, куда деть... и транжирит зря"... И опять вздыхал, и опять ворочался.

Серели пятнами окна, кричали петухи—шло утро. По избе заходили; тяжело ступал Никифор, шелестела валенками старуха; говорили тихо.

— Давай,—сказал на что-то Никифор. Потом слышен был стук ложки о горшок—ел, должно быть.

„Надо встать,—думал Иван Сергев,—а как встать? к чему? Может, и не нужен я совсем?"

— Дай, мешочек-то завяжу,—просила старуха.

— Не надо, я сам...

Шуршала одежа, кряхтел Никифор, старуха бормотала:

— Опять сипуга зачинается... плохо тебе итти, дитёнок, плохо.

— Ничего, дойду... Прощай.

И Иван Сергев явственно услышал легкое свистение воздуха через губы. Целовались. „Надо встать, проститься",—думал он и—лежал.

— С отцом простился бы,—голос старухи поскользнулся.

„С отцом"? Ну, ну?!

— Он спит, не надо,—быстро сказал Никифор. И дверь шлепнулась, и все смолкло.

Иван Сергев вскочил с печи и стал торопливо обуваться.

„Еще успею,—думал он,—попрощаюсь, позову, чтоб приходил домой, хозяйничать вместе".

Вошла Митревна, покрытая тулупом.

— Ну, и сипуга—зги божьей не видно... А ты это куда?—прибавила она удивленно.

Иван Сергев быстро вскинул на нее глазами.

— На двор...

Митревна поняла.

— Иди, иди с богом,—сказала она значительно.

Иван Сергев вышел на двор. Мелкая, колкая, вострая, как запрокинутая борона, набросилась на него сипуга, проехала по лицу и полезла под тулуп. Но он, согнутый и черный, высоко поднимая тяжелые, липнущие к молодым сугробам, валенки, пошел через двор, за гумна. Он был уверен, что Никифор пойдет на станцию гумнами— путем самым коротким и заезженным: и действительно, как только он обогнул старые обсипуженные ветлы, перед ним замаячила серая шинель. Ивану Сергеву казалось, что еще немного усилий—и он догонит ее, но она уплывает все дальше и дальше, ныряя в снежных взметах.

„Авось обернется,—думает Иван Сергев, захлебываясь в горячих иголках и все поднимая высоко в тяжелых валенках старые ноги:— ведь из родного дома уходит, должòн же чуять"...

Он останавливается, задыхаясь. Все кругом белеет, режет, рвет, гудит—и нет уже серой шинели...

Тогда медленно и трудно он поворачивается назад.

Второй Адам.

(Третье звено Кощеевой цепи.)

Продолжение.

Фестиваль.

— Ты сегодня,—сказал дядя Алпатову,—постриги свои лохматы и почистись немного к вечеру: у нас будет фестиваль.

— Фес-ти-валь?

— Ну, да. Гости соберутся и директор придет. Директор умнейший человек, все нонче будут и немец. Ты по немецкому как?

— Слабо.

— Я и попа позвал.—По закону тоже плох?

— Плох и по закону.

— Держись поумнее. Безобразием нашим не хвались.

— Каким безобразием?

— Обыкновенным безобразием, что Бога нету, что царя не надо. Тебя же с волчьим билетом выгнали. Все это знаешь, они, пьяные, наверно, все будут ниспровергать, а ты не встревайся.

Астахов помолчал, приступая к самому главному.

— Вот еще что: должно быть, и уездный начальник тоже будет. Человек он у нас свой. Только ему другой раз бывает неловко, над ним тоже есть начальники. Ты за столом не бултыхни про... нашего гостя.

— Про желтого капитана?—догадался Алпатов.

— Зови как хочешь. Только лучше забудь его совсем: нынче ночью он от нас пропадет.

— Куда же пропадет он, дядя,—можно спросить?

— В степь пропадет.

— Дядя!—осмелился Алпатов,—вы напрасно со мной говорите, как с маленьким. В гимназии меня уже хорошо научили конспирации. Я хотел бы знать, как это можно пропасть в степи?

— А степь такое дело, в любую юрту пойди, и тебе барана зарежут. Все пастухи, прибейся к любому аулу и гоняй баранов, хоть год, хоть два... один политик у нас так и вовсе пропал.

— Погиб?

— Зачем погиб. Живет где-нибудь. Слышали даже, что и женился. Только этот аул перекочевал далеко за Голодную степь, оттуда уж ничего не доходит. Другой политик через пятнадцать лет объявился, ребятишек с собой своих привез,—желтенькие, косые. Ну, ладно! Лохматы свои ты ступай сейчас же подправь.

От этого разговора у Алпатова на сердце остается что-то хорошее и по пути к парикмахеру он догадывается, отчего бы это так? Сначала он подумал на желтого капитана, что это от него: так свободно, живет: захочет—с каторжниками в тайге, как и со всеми, все его и там слушаются; захочет—в степь и там будет жить с пастухами. Вот бы уйти с ним. Разве уйти? Нет. Нельзя. Надо вперед непременно сделаться первым учеником и доказать. Кому доказать,—он не спрашивает себя,—куда-то в пространство, доказать, где судят и где—все. Надо всем доказать. Однако от мысли, что нужно себя всем доказать, явилось какое-то очень неприятное раздражение, и, значит, хорошее было не в этом.

— Вы мне волосы постригите только чуть-чуть,—сказал он парикмахеру.

И вдруг, глядя на свои волосы, вспомнил свое хорошее: дядя говорил, вечером будут капитаны с женами, значит и Аукин будет, и с ним, может быть, придет и о н а. Нащупав в себе это верно-хорошее, он опять, как тогда на вышке, очутился возле певучего дерева и так не расставался с ним до самого вечера. Близ заката солнца на эту золотую луговину с певучим деревом стали приходить гости и бросать на цветы свою огромную тень. Пришел директор гимназии такой же, как дядя, большой человек и тоже опасный. Он сел в кресло и, задумавшись, стал одной рукой на другую мотать свою длинную, как у черномора, бороду, а глаза свои забыл на Алпатове. Несколько раз Алпатов украдкой взглядывал и каждый раз с отчаянием замечал, что глаза директора стоят на нем. Потом эти страшные глаза, не отрываясь, начинают смеяться и в то же время разглядывать в глазах Алпатова так пристально, как бывает, если задаться найти в глазу другого обыкновенного опрокинутого в зрачке человечка. Вот он, страшный черномор, поймал его человечка и потянул, и потянул к себе. Алпатов, расширив глаза, открыто пошел в эти великаньи глаза, и вдруг они стали изменяться и как будто даже смущенно отступать.

— С волчьим билетом,—сказал дядя.

— Вижу,—ответил черномор.

— Ну, как же нам с ним?

— Ничего, ч е л о в е ч е к у него в глазу, кажется, цел, а другое все—пустяки.

И, подхрюкнув себе в бороду, быстро стал ее разматывать.

Астахов щелкнул ключом в таинственном шкапчике, где хранились драгоценные сорта вин для самых лучших приятелей, и, оглянувшись на племянника, сказал:

— Скажи там, чтобы начинали. Если Марья Раймондовна пришла, она уж знает как нужно. А ко мне никого не пускайте,—я занят.

Уходя из кабинета, Алпатов слышал, как директор сообщал Астахову важное известие, что скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник и с этим будет связана закладка железнодорожного пути через всю Сибирь.

— Улита едет, когда-то будет,—ответил Астахов.

В передней лицом к лицу Алпатов встретился с Марьей Раймондовной. Играя черными своими глазами, сверкающими камешками на ушах и на шее, вся в чем-то белом с золотом, она подхватила юношу под руку и ему стало, будто он вошел в какую-то богатую веселую залу, и в ней были все цветы и музыка. Марья Раймондовна достала гребешок, по-своему причесала Алпатова и дала ему роль, — он будет в передней встречать гостей, провожать в гостиную и всем говорить одно и то же: „дядя извиняется, он сейчас выйдет".

Никогда в своей жизни еще не видал Алпатов таких женщин, но знал, что есть такие, или снились, или где-то читал. На мгновенье ему стало на душе совсем небывало особенно: будто какой-то окончательный и настоящий праздник настал, и он теперь никого не боится и стал вдруг большим, как все. Но как только раздался звонок, он вспомнил про нее, и от этого стало ему больно. Предчувствие не обмануло: входит капитан Аукин.

— Пожалуйте в гостиную. Дядя извиняется. Он сейчас выйдет.

— Вот как-с,—растерянно улыбнулся Аукин.

В гостиной навстречу гостю встает Марья Раймондовна и встречает Аукина, как настоящего гостя. Марья Раймондовна играет и сверкает для всех одинаково.

— Почему же не пришла милая Аленушка?

— Собиралась,—да я отговорил, другим обидно очень.

— Вы бы и других взяли.

— Как их возьмешь,—ведь их у меня одиннадцать номеров-с.

Печальный возвратился Алпатов в переднюю встречать гостей, она не придет, вечер будет пустой. Но все-таки хорошо было догадываться, что не придет она потому, что бедная и гордая и он такой же, как она, бедный и гордый. После этого богатая и роскошная Марья Раймондовна стала ему враждебной, и он решил с ней бороться.

А гости начали звонить один за другим. Сначала шли все больше капитаны и управляющие пристанями с сибирскими фамилиями — Россошных, Беспалых, Долгих. Потом начались учителя. Саратовский немец Яков Иваныч Мюллер в форменном вицмундире; учитель словесности, тоже в форме, тонкий, как игла, с двоящимся взглядом, с кривыми губами и с рябою, похожей на картошку, женой; инспектор, молодой, ловкий кругленький малоросс Косач-Щученко; чахоточный учитель математики, чех Пикель; лохматый бурсак, учитель истории

Смирнов. Роскошным явился уездный начальник, гигант с открытым лицом и двойной бородой.

— Дядя извиняется,—сказал уездному начальнику Алпатов.

Но тот, не слушая, прямо идет в кабинет и там скрывается от преследующего его Алпатова. Весь красный от гнева, Алпатов бежит к Марье Раймондовне и, запыхавшись, докладывает ей о „безобразии" уездного начальника.

— Пойдемте немного пройдемся,—сказала ему, улыбаясь, Марья Раймондовна.

И, взяв его под руку, идет с ним по коридору в переднюю. Лакей Александр куда-то ушел, никого тут не было.

Тут, обняв юношу, она сказала:

— Ты очень мил, давай поцелуемся.

Алпатов отпрыгнул в угол, как от змеи.

Но ей он от этого еще больше понравился. Она идет к нему, наступает, ближе и ближе улыбающиеся алые губы с маленькими черными усиками и белые хищные зубы.

— Марья Раймондовна,—говорит он,—я буду драться!

— Дерись,—отвечает она с хохотом,—я очень рада.

Запускает ему в волосы обе руки и тянет к себе голову. Он сжал кулаки. Но вдруг все зазвенело.

— Звонок,—сказала она,—открывай дверь, но только помни, я до тебя все равно доберусь.

Явился толстый протопоп, отец Иоанн, и тоже было направился в кабинет, но встретился в коридоре с директором и Астаховым. Все трое пошли в столовую, Алпатов идет за ними и на пороге стоит в изумлении. На большом столе посередине целая бочка с икрой, обложенная кедровыми шишками и потом дальше аршинными навагами, осетрами, стерлядями, нельмами; там дымились горячие пельмени, из кедровых темно-зеленых веток всюду выглядывали бутылки. Так Марья Раймондовна по своему вкусу создала стиль сибирской тайги.

Из другой комнаты, от карточных столов, чуть видные в облаках табачного дыма, сходятся гости.

— Благорастворение воздухов и семянов земных!—сказал о. Иоанн.

— Приступим, батюшка,—ответил Астахов.

Директор хрюкнул, наматывая бороду. О. Иоанн благословил все, начиная с икры, обошел вокруг стола, не забыл ничего. После этого все бросились к столу с тарелочками в руках.

— По случаю какого-нибудь события настоящее торжество?—спросил о. Иоанн.

— Определяю племянника в гимназию,—ответил Астахов,—это первое. А второе, по случаю грядущего проезда наследника цесаревича по Сибири и закладки железнодорожного пути.

Тогда, выпивая, все заговорили о значении пути для Сибири и, главное, для пароходчиков. Катаев и Китаев, два маленьких пароходо-

владельца, каждый свое доказывали Якову Ивановичу Мюллеру: Катаев,—что пароходчики выиграют, Китаев,—что проиграют.

— Будет всем хорошо,—отвечал Яков Иваныч,— Сибирь будет, как Америка.

— Вы бы на эту тему речь за ужином сказали, — попросили Мюллера.

— Да, я собираюсь сказать маленькую речь,—ответил немец.

Аукин душевно открывался:

— Я своего мнения не имею, у меня одиннадцать номеров, и я не могу иметь мнения, я—не я, надо мной одиннадцать номеров!

— Саша, друг, — сказал управляющий Россошных, — лучше расскажи потихоньку, как он тебя в Иртыше искупал.

Аукин боязливо оглянулся иа Ивана Астахова и ответил:

— Кто вымочил, тот и высушил.

Все курили и постепенно скрывались в облаках вместе с бочкой икры. Но это было только началом пира,—в это время Марья Раймондовна в другой комнате готовила другой стол для ужина в стиле сибирских степей, вкладывая в рот целому жареному барану букет с ковылем. Тут пир открыл Яков Иваныч Мюллер своей маленькой речью о значении предстоящего проезда наследника по Сибири и связанной с этим железной дорогой.

— Сибирь тогда будет,—говорил Яков Иваныч,—совершенно, как Америка.

Директор громко хрюкнул и пробормотал:

— Что к нам Америка из Петербурга приедет?

— Ну, конечно,—ответил Яков Иваныч,—из Петербурга. Сибирь-колония совершенно соединится с метрополией, и всем будет хорошо, очень даже хорошо.

В середине ужина тонкий учитель словесности начал говорить длинную речь просветителю края Ивану Астахову. Но у него затянулось, и вдруг ловкий Косач-Щученко вырвал у него всю силу, крикнув:

— Выпьем за Лейденскую банку!

Все крикнули „ура!“ и принялись качать Ивана Астахова. Порядок исчез, места перепутались, капитаны сбились к одной стороне и запели „Вниз по матушке по Волге“, учителя—„Не осенний мелкий дождичек“. Те, кто не пел, обменивались через весь стол невозможными криками, взятыми, наверно, у кочующих в степях полудиких народов:

— Эй, бер-ге-ле-гет!—кричали с одной стороны.

— А ба-ба-ба-гы-ы-ы...—кричали с другой.

Усердно работая на той и на другой стороне по восстановлению порядка, любитель застольного пения Косач-Щученко наконец захватил всю власть. Ему помогала Марья Раймондовна.

— Через тумба, тумба—раз!—пел Косач.

— Через тюмба, тюмба—два!—пела Марья Раймондовна.

— Через тумба, тумба—три!—схватили другие голоса.

— Телеграфный столб!—грянули все.

Мало-по-малу из всего этого хаоса определилась любимая всеми „Зимушка" и, наконец, ее знаменитый куплет:

— Как у нашего патрона
Чорт стащил с башки корону,
на нашем славном троне
Село чучело в короне!

Начали пощипывать Марью Раймондовну. Иван Астахов даже извинился:

— Это я по-стариковски.

Аукин давно лежал под столом. Из кучи красных потных волосатых рож Алпатов заметил, как дядя манит его к себе, протягивает ему двадцатипятирублёвую бумажку и необыкновенно сердечным голосом говорит:

— На-ка, вот, съезди, пора, брат, я сам начал с двенадцати лет.

Потные рожи советовали дяде:

— Вам бы надо самим,—в первый раз страшно.

— Ну, что же, я и сам свезу. Вели-ка заложить Червончика. Только надо бы директора вперед спросить, как он смотрит на это. Ступай-ка, найди его.

Алпатов идет искать и верит, твердо верит, что директор этого не допустит. Только бы поскорей найти его. Проходя коридором в полутемном углу он заметил и поскорее, испугавшись, что его заметят, бросился в темную комнату: он заметил, в углу Марья Раймондовна целовалась с Косачом. Алпатов приблизил лицо к окну, и там ему за окном открылся мир совершенно другой,—там над степью открыто правил месяц и дрожала Алена-звезда, его Алена.

— А что если,—схватился он,—дядя, не дождавшись директора, велит ехать. Да и непременно же велит,—одно спасенье—найти поскорее директора.

Возле кабинета он слышит возню.

— Это ты, Александр? Чего ты кряхтишь?

— Помогите,—просит Александр,—директора вынести, вот только ноги маленечко попридержите.

Тяжелы ноги директора, но Алпатову очень хорошо, он рад помогать ему, директор очень хороший и много хороших неведомых тайн, кажется ему, скрыто в его огромной волнистой волочащейся теперь внизу бороде.

По винтовой лестнице они спускаются вниз, и там на помощь приходит еще желтый капитан с сумкой за плечами и нагайкой в руке, все вместе переносят директора на пролетку, и Александр, даже без шапки, садится проводить его на квартиру.

— Директор, должно быть, хороший человек,—говорит Алпатов.

— А вы много видели хороших людей?—спрашивает желтый капитан.

— Раньше их было много,—ответил Алпатов.

— Их и теперь довольно, только все они несчастные. Вот и директор такой.

— И я думал так.

— Вы много думаете?

— Да, я много думаю. Я постоянно думаю. Но бывают пустые минутки, и тогда мне бывает страшно.

— Чего вам страшно?

— Разное чудится; часто вижу, будто страшный китаец метится в меня из пистолета. Мне хочется, чтобы все время было наполнено.

— Как?

— Вот как эта звездочка,—у нее нет темных мест.

Капитан вдруг пожал ему руку и ничего не сказал.

Сердце сжалось у Алпатова, и он не мог удержаться.

— Я все знаю,—сказал он,—мне дядя доверил, и я привык уже заниматься конспирацией: вы сегодня уезжаетс в степь, вот бы мне тоже вместе с вами пропасть.

— Я должен скрываться,—ответил капитан,—а вы еще подождите, вам надо жить иначе.

— Вы правы,—вздохнул Алпатов,—мне еще много нужно доказать.

— Кому и что вы будете доказывать?

— Всем, я непременно хочу быть первым учеником.

— Первым? чтобы настоящим быть первым, не нужно много думать о первенстве, а если станете это доказывать, то сверху только будете первым.

— Как это?—живо спросил Алпатов.

Но в эту минуту тихо подъехал верховой киргиз, с ним была другая оседланная лошадь.

— Помогите мне поднять сумку на плечи,—сказал капитан.—Вот спасибо, дорогой, милый юноша, прощайте же.

Алпатов долго стоял на крыльце и думал, что если бы у него был такой отец, как легко бы жилось, как хорошо бы во всем с ним советоваться. Загадочные слова капитана он просит объяснить свою звезду, но она ему шепчет неясное. Слышатся отдаленные крики в степи. „Кто это?—спрашивает себя Алпатов,—может быть, все тот же второй Адам ищет себе землю, вот ищет же, нельзя ему иначе, так и я хочу быть первым и буду и докажу это всем".

Компания.

Бежит дорога—иди по ней, широко ляжет вокруг тебя земля и высоко станут навстречу города. Но если на пути о себе задумался, то это, как змея укусила, и в самое сердце. Тогда и дорога, радостно

бегущая по зеленой земле к городам, свитком совьется вокруг себя самого и закроет хороших людей и природу.

Любят причиной этого считать самолюбие. Скажут: „потому что у него слишком большое самолюбие". А бывает, и обратно, скажут: „у него нет никакого самолюбия". Можно вселенную мерить на свой аршин, а можно себя измерить вселенским аршином: мера одна и та же—аршин. Так, верно, и самолюбие.

Проходит и год, и два. Наступает последний сибирский год. Прекрасно, первым идет Алпатов в гимназии, но все учителя и ученики в один голос говорят про него: „у него слишком большое самолюбие". Сам Алпатов тоже хорошо знает, что причина его одиночества—самолюбие, но как же быть иначе, если задался целью всем доказать самого себя. Ему очень трудно дается положение первого в классе, но еще труднее, достигнув, удерживаться—чуть отвлекся в сторону, и другой, тоже с большим самолюбием, настигает, и смотришь, четверть прошла, он не король, а принц, и платит дань королю. Так все и уходит на достижение первого, а вокруг самому заметно, как складывается среди других учеников интересная, таинственная и ему недоступная жизнь.

Из всей серой массы обыкновенных учеников мало-по-малу выделилась группа, как все ее называли—компания, и директор был ее тайный руководитель; они все собирались у него, будто бы для занятий по естественной истории. Николай Опалин, смуглый юноша и крепкий, как кремень, успевал все делать: и семью кормил уроками, и препарировал директору чучела сибирских птиц и зверей, и все книги перечитал, и вечера устраивал разные в пользу кого-то, и, чуть продремлет Алпатов, занимал в классе его первое место. Но только ему это давалось шутя, он все схватывал налету, с губ учителя, и дома никогда не сидел, как Алпатов, за уроками. Настоящий ученый вырабатывался из сына директора Левы, он даже в переменах в классе все разглядывал в лупу жучка или цветок, и от него, такого тихого, на весь класс было высшее влияние,—все любили и уважали его. Еще был попович Осип, переведенный за вольнодумство из семинарии, толстый, с квадратной головой, маленькими и страшно умными глазками. Осип читал даже философию и всякие ученые споры прекращал одной какой-нибудь коротенькой и по-своему сказанной фразой. Еще был Хохол, здоровенный малый, лентяй, но зато развитой, и политику знал так, что в этом, одним словом, каждому рот зажмет. Семен Лунин, бледный, с горящими черными и в то же время добрыми кроличьими глазами, был весь в заплатах, самый бедный в классе, и тоже, как и Опалин, уроками кормил свою семью. Он занимался статистикой по книге Николая—она, и в рассуждениях у него непременно были слова: безлошадные, бескоровные, однолошадные, двухлошадные. С компанией еще держался почему-то Соловей, вежливый, очень воспитанный юноша, никакого особенного в нем развития не было,

но прекрасно он пел и выступал всегда на вечерах, устраиваемых компанией в пользу чего-то. Еще хорошо пел Земляк, с узенькими татарскими глазками, всем приятель, всем земляк. Эта компания в классе вся рассаживается рядом и в переменах ходит вместе, а на улице часто еще пристает к гимназистам Жучка, черненькая, с книжкой журнала „Вестник Европы" в руке. Жучка всегда идет впереди, а за ней вся компания. Алпатов слышал, как однажды Осип сказал про Жучку: „это—женщина будущего".

Кому бы, как не Алпатову, казалось бы, занять в этой компании самое почетное место, но вот, как ни старался в начале он, а ничего не вышло. Он выбрал было себе Земляка, самого простого, рассказал ему, как выгнали его из гимназии, как он Бокля читал и понял законы исторические, а все, чему учили с детства, оказалось сказками. Земляк долго его слушал, и видно—ему было как-то не по себе. Когда же Алпатов кончил, он ему вдруг и говорит:

— Тебе, брат, надо высморкаться.

Алпатов схватился за нос.

Земляк засмеялся.

— Дурень, дурень, ты и вправду подумал...

После Земляка Алпатов обратился к самому ученому, к Осипу, и тот его долго, поощряя частыми репликами, выслушивал, а сам все смотрел своими маленькими глазками в одну точку и, наконец, осмелился спросить:

— У тебя, кажется, там колбаса? Дай мне немного.

Алпатов дал ему отломить от своего завтрака. Осип стал есть и рассказывать, что исторические законы имеют под собою более глубокие естественно-исторические, а чтобы приблизиться к их пониманию, нужно прочитать книгу Сеченова „Рефлексы головного мозга". Рассказывая, Осип уплетал колбасу и не оставил Алпатову ни крошечки. В другой раз было то же самое, и, наконец, поняв, что Осип расположен к нему только из-за еды, Алпатов попытался обратиться к Хохлу. Широкий этот хохол и на вид такой открытый, как большая дорога: приходи и уходи, когда хочешь, и ночью, и днем.

— Какие такие законы?—сказал он насмешливо.

Разговор был на улице, вся компания шла за Жучкой. Алпатов нарочно громко сказал, чтобы слышала Жучка:

— Ис-то-ри-чес-ки-е.

— Вздор!—ответил Хохол, тоже так громко, что Жучка обернулась и внимательно поглядела на Алпатова.

— Ну, естественные,—сказал Алпатов, наверняка пуская в ход мудрость Осипа.

— Вздор и это,—воскликнул Хохол,—никаких нет законов, все относительно.

— Ну, это вы чересчур,—обернулась Жучка,—есть же все-таки нечто.

— Нечто?—вскинулся Хохол,—я вам сейчас скажу, что это нечто.

— Что?

Хохол поднес палец к самому ее носу и, обрубая им каждый слог, отчеканил:

— Ав-то-ри-тет-с!

— А как же первая причина, первое движение?—рискнул спросить Алпатов.

Хохол опять отчеканил, рубя пальцем, перед самым носом Алпатова:

— Ме-та-фи-зи-ка!

Слово метафизика было сказано с таким презрением к ней, с таким авторитетом, что дальше спорить было невозможно. Алпатов отошел от компании и слышал, как женщина будущего спросила:

— Кто этот франт?

— Купчик,—ответил Хохол,—племянник Астахова.

Уничтоженный и подавленный, шел Алпатов, и казалось ему, какие-то шкуры стали слезать с него: конечно, у него было это чуть-чуть в уме, что он племянник самого богатого человека, но ведь это случайность. Он кончит гимназию, уедет, и опять он бедный, просто Алпатов. И потом ведь это отец его был Алпатов, и он отца своего не знал, значит, он же и не Алпатов. Кто же он сам? Как же Хохлу нет никакого дела до этого и до самого главного? Смутно, как бы веянием пролетающих над ним мыслей Алпатов чуял в этом „сам по себе“ самую ту первую причину и самое важное, но тут же и упирался в то, чем его все упрекали, в са-мо-лю-би-е.

Раз во время урока Алпатова осенило, что лучше всех из всей компании Семен Лунин, прекрасно бедный, каким бы и он хотел быть и когда-нибудь непременно и будет, вечно занятый своими любимыми вычислениями по статистике. На большой перемене Алпатов подходит к нему и заводит разговор, такой же, как с Осипом. Семен, не отводя карандаша от своих вычислений, обертывается к нему и спрашивает:

— Читал ли ты Чернышевского „Что делать?“?

— Нет, не читал,—ответил Алпатов.

— Прочти, а потом приходи разговаривать.

И принялся за своих безлошадных.

У дяди в библиотеке „Что делать?“ была на почетном месте. Алпатов ее читает и никак не может понять, чем же эта книга замечательная и почему запрещенная. Ему кажется, после социалистов и нигилистов, какими они изображены у Тургенева в „Накануне“, в жизни уже не может быть таких людей и зачем их повторять в жизни, если они уже кончились у Тургенева. Главное же понял Алпатов из чтения Сеченова, Дарвина, Чернышевского, Спенсера, что, должно быть, не развитие разделяет его с компанией. „Тут что-то в директоре“,—

решил он однажды, во время обедни в гимназической церкви. Это он не раз замечал, чтó когда о. Иоанн Лепехин говорит свою проповедь, директор вдруг подхрюкнет и начнет сматывать и разматывать свою бороду. Тогда непременно на лицах всей компании отражается та же самая насмешливая улыбка директора. Но Алпатов сначала никак не может понять, что же такого особенного в обыкновенной поповской проповеди, над чем можно такому, как директор, смеяться. Раз, во время Богоявленья о. Иоанн говорил, что вода, вода святая, крещенская никогда не портится; поставить две бутылки с болотной и святой водой, одна непременно скоро испортится, другая—никогда. Мгновенно, без всякого намерения смеяться, Алпатов подумал: „вот хорошо бы освящать воду в болотах, где разводятся комары и всякая нечисть, в них вода бы стала живой, как в реке". В то время как Алпатов подумал по-своему об осушении болот, директор хрюкнул, и на лицах всей компании появилась улыбка. Рядом стоял Николай Опалин, и Алпатов перешепнул ему свои мысли о святой воде. Очень понравилось Опалину средство от комаров, и, когда приложились к кресту, он сказал:

— Давай догоним директора и предложим ему твое средство от комаров,—он естественник, ему это нужно.

Со смехом они побежали по коридору и настигли директора у самой его квартиры.

Опалин сказал:

— Алпатов сейчас выдумал средство оздоровления болот, я не мог утерпеть...

— Где тебе утерпеть!

— Нет, правда, замечательно: в Крещенье нужно освящать не только реки, но и болота, а так как святая вода не портится, то комаров в болотах не будет.

— Комар—полезное насекомое,—ответил директор,—он жалит и спать не дает, вы бы что-нибудь от мух придумали,—те сладкое любят.

В это время Алпатов не принял замечание на себя, и, правда, директор, конечно, не намекал на Алпатова, что он, как муха на сладком, живет на всем готовом у богатого дяди.

— Тебе нравится директор?—спросил Алпатов при выходе из гимназии на улицу.

— Еще бы,—ответил Опалин,—наш директор—крупная политическая фигура, это у нас единственный человек с выработанным миросозерцанием.

Так и сказал, как обыкновенное слово: ми-ро-со-зер-ца-ни-е.

Конечно, и Алпатову слово это встречалось в книгах, но сам он еще ни разу не произносил его вслух. Краснея от волнения, чтобы как-нибудь не ошибиться в первый раз, Алпатов робко спросил:

— А какое его миросозерцание?

— Человеческое,—ответил Опалин.

Навстречу гимназистам по улице несли большую чудотворную икону, многие падали на землю и потом пролезали под нее.

— А разве может быть и нечеловеческое миросозерцание?—спросил Алпатов.

— Вот!—показал Опалин на икону и толпу,—это нечеловеческое.

— Как нечеловеческое?—удивился Алпатов,—это изображен Спас, он был человек.

— Надо сказать—„и человек", а главное—бог. Знаешь, тебе это не приходило в голову, что Христос, если бы не захотел страдать, то всегда бы, как бог, мог отлынуть, и у него выходит страдание по доброй воле, а настоящий обыкновенный человек не по доброй воле страдает?

— По злой воле?—сказал Алпатов:—да, мне это часто приходило в голову.

— Вот и директор нас так учил, что люди, берущие себе в образец бого-человека, совершают сделку с самими собою: когда им трудно быть, как бог, они говорят: „мы же не боги, мы слабые человеки", а когда им по человечеству трудно, они прячутся на небеса. Но в человеческом миросозерцании вся ответственность падает на себя, тут человек заперт в себе и не увильнет. Так нас учил директор.

Опалину, верно, очень нравился Алпатов, и по мере того, как он говорил, голос его становился все мягче, мягче, и вот какая-то большая тайна готова была сорваться с его губ, он даже и начал было:

— Тебе бы тоже надо примкнуть к...

Но Алпатов, раздумывая о своем, не слыхал Опалина и вдруг его перебил:

— Ты говоришь „человеческое миросозерцание", но почему же все такие мысли мне приходят в голову днем, если я, задумавшись, смотрю на птиц, летающих в небе, или отдыхающих в зеленых деревьях, а ночью на звезды, особенно звезды, и от них начинается по-моему миросозерцание. А ты любишь смотреть на звезды?

— У меня нет времени этим заниматься,—ответил Опалин сурово,— и птиц тоже не видно из моего окошка.

И уже больше не захотел продолжать свою начатую перед этим фразу.

— Так вот,—продолжал Алпатов,—ты сказал, у директора человеческое миросозерцание. Сколько времени прошло с тех пор, как я в первый раз его увидел, а вот только теперь я вполне понимаю, что он мне тогда сказал.

— Что он сказал?

— Он смотрел на меня долго, я рассердился и стал сам на него тоже смотреть, и после этого он сказал моему дяде: „человечек у него в глазу, кажется, цел".

— Он это сказал?—удивился Опалин.

— Что же тут особенного?

— Ничего особенного, я сам знаю, что у тебя цел человечек, о положение твое невыгодное: мы собрались вокруг него бедняки, ети ссыльных, а ты племянник самого богатого купца в Сибири.

Мигом вспомнил Алпатов, как Жучка сказала о нем франт, Хохол вслед за нею купчик, и что, может быть, директор воей мухой на сладком тоже намекнул на него. Вдруг ему стало онятно, почему он никак не может сойтись с компанией.

— Мне налево,—резко оборвал он разговор с Опалиным.

И пошел налево по набережной.

А не оборви разговор, он не пошел бы один. Опалин уже с друэго конца был опять близок к признанию.

Теперь же он шел совершенно один, возмущенный, погруженный себя. „Они бедные и дети ссыльных,—думал он,—а у меня такого тца не было, я сам себя сослал в Сибирь и сам поднял бунт гимназии, они получили от отцов своих это даром".

Вот когда свитком свертывается дорога вокруг себя: он идет э набережной и ничего не видит, он, как теленок, привязанный на олу, кол это—они, теленок, идущий кругом—я, и только всего сущегвует в мире—я и они.

— При чем тут Астахов,—говорит он кому-то,—это совершенная іучайность, что я с ним, я Алпатов... да нет, я и не Алпатов, это эже случайность, я, это я сам, как они этого понять не могут, сам и—больше нет ничего...

И ничего больше не было, ничего вокруг себя он в эту минуту е видел, над необъятной степью—пустыней у берега могучей бездушэй реки носилось какое-то его я сам, без Астахова, без Алпатова.

Послышались чьи-то шаги, такие гулкие на деревянных мостках ібережной, и такие страшные, как смерть.

Шел китаец.

Алпатов похолодел. Идет тот самый китаец, что видится ему істо во сне: китаец наводит на него пистолет, стреляет, Алпатов ідает и потом он, этот самый неназванный „я" с таким участием, такой болью смотрит в щелку на ноги убитого Алпатова.

Китаец идет, ближе и ближе шаги, сейчас все так и будет, как і сне. Предсмертный холодный пот выступает. Но китаец проходит імо, шаги удаляются и замирают. Предчувствие обмануло, и, может ыть, это даже и не китаец мимо прошел?

А было воскресенье, и солнце, проникнув в пустой сучок одного бора, лучом своим прямо ударило в глаз. Алпатов очнулся, и мимотное ощущение китайца-убийцы стало теми пустяками, какие бывают всех и что здоровые люди отгоняют от себя, как святые бесов. Так у Алпатова убийца-китаец сменился радостью широкой на весь ір, он увидел в пустой сучок, откуда на него вырвался солнечный ч: в саду с ножницами в руках бродит Алена и подрезает на

яблонях лишние побеги — волчки. Все птички, что гнездились в ее веснушках, теперь вывелись, все щебетало и пело.

Вот бы сказать теперь Алене, открыться, что он не Астахов и не Алпатов, а кто-то совершенно новый и еще неведомый, неназванный. Поймет Алена? Конечно же, Алена все поймет. Но зачем ее беспокоить, искушать, пугать! Все равно она и так с ним идет и наполняет радостью. И туда она с ним идет, в этот большой мрачный дядин дом и, конечно, это она дает ему смелость просто войти в кабинет дяди и звонко сказать:

— Будет вам, дядя, читать свою ужасную энциклопедию. Какую штуку я сейчас вам расскажу.

И рассказывает ему про святую и болотную воду.

— Вот чудно-то,—говорит дядя,—а ведь я тоже думал до сих пор, что святая вода не портится. Надо бы это попробовать.

— Зачем же пробовать, дядя,—смеется Алпатов,—вода портится от того, что в ней есть гниющие вещества и, если бы молитвой можно было остановить гниение, то незачем бы и человеческие трупы зарывать в землю.

— А ведь и правда,—удивился Астахов и даже чему-то очень обрадовался,—но почему же я всю жизнь считал, что святая вода не портится. Бывает же так, вобьют в детстве глупость, и потом всю жизнь ее колом не вышибешь. Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами.

Школа народных вождей.

По всем рекам Западной Сибири и даже Восточной, по Оби, Иртышу, Лене и Енисею, от парохода на пристань и с пристани на другой пароход, всем на удивление бежал слух, что могучий и непреклонный Иван Астахов, поднося хлеб-соль наследнику русского престола, струсил, не договорил свою речь и уронил к ногам его серебряное блюдо.

— Всей шпаной управлял, — удивлялись сибиряки, — а какого-то Николая струсил.

Удивлялись. Другие злорадно смеялись. Только один капитан Аукин сказал:

— Ничего нет удивительного: будь я на его месте, тоже бы уронил.

Директор сначала не поверил, а когда все заговорили, и даже очевидцы приехали, объяснил это странное явление исторически:

— Все наши бесстрашные покорители сибирских татар, купцы, с великим страхом потом припадали к стопам царя. Наш весь купец такой и шабаршит только, если царь далеко.

После всех этих сýдов и пересýдов явился, наконец, и сам Иван Астахов на пароходе своего имени. Никогда не видал Алпатов дядю таким. Казалось, он теперь с утра до вечера был сильно выпивши, и всех встречал одними и теми же своими рассказами о наследнике. На-

чиналось всегда с глаз: какие у него чудесные глаза, какие глаза, потом как хорошо он играет на заводной рояли.

— На заводной, — говорили гости, — что же тут трудного ручкой вертеть!

— Ты сначала поверти и потом говори, — отвечал недовольно Астахов.

И продолжал рассказывать, как ему раз случилось заглянуть в щелку царской каюты (камердинер устроил за хорошие деньги).

— И что же, — умиленно, как о собственном маленьком ребенке, говорил Астахов, — он протянул себе веревочку от дивана к дивану и прыгает себе и прыгает...

Но самый интересный рассказ был про пажика, что прехорошенький был с ним пажик.

— Конечно, это была девушка, — неожиданно и с тем же умилением, как о веревочке, объявлял он гостям.

Гости (были и дамы) этому очень дивились, и почему-то все непременно в этом месте рассказа спрашивали:

— Как же так?

— Очень просто, — отвечал Астахов, — это хоть кому доведись, необходимо для здоровья, мне так и камердинер сказал.

После пажика следовал самый животрепещущий рассказ, из-за чего больше и собирались любопытные: о том, как Астахов подносил наследнику хлеб-соль.

— Я сказал кратко, — начинал он этот всеми жданный рассказ: — „Ваше императорское высочество изволили посетить наш отдаленный Север"...

На этом месте рассказа Астахов делал большую паузу, и гости с волнением ожидали, что вот теперь-то и будет сцена падения блюда, но Астахов делал паузу только затем, чтобы с силой ударить на следующее затем слово „Мы".

— Мы, представители Западно-Сибирского пароходства, в ознаменование сего величайшего события, подносим вашему императорскому высочеству хлеб-соль".

— И все? — спрашивали разочарованные гости.

— Все, — отвечал Астахов, — я сказал кратко: „Ваше императорское высочество изволили посетить"...

И повторял свою речь еще раз сначала.

Одни уходили, другие приходили, как на выставку, и рассказ повторялся с утра и до вечера. За обедом, за чаем, за ужином ежедневно слушал все Алпатов и даже, когда забирался к себе наверх, то и туда долетала сильно ударяемая фраза: „Мы, представители Западно-Сибирского пароходства"...

Наконец явился сам директор к Астахову и сразу все прекратил. Увидев в окно директора, Алпатов спустился по лестнице послушать, как отнесется он ко всему.

— Стой! — крикнул директор во время паузы перед „Мы“: — стой! стой! сейчас же мне говори, что в это время случилось.

— Что случилось? — робким голосом переспросил Астахов.

— Ты уронил блюдо с хлебом и солью.

Молчание. Голос директора:

— Ты уронил?

— Ну, да уронил, — глухо ответил Иван Астахов.

У Алпатова сердце сжалось, до того ему стало больно за дядю, и, видно, директор тоже не смеялся и только вымолвил:

— Эх, ты...

Чтобы замять эту неловкость, директор сказал:

— А у нас для выпускного класса как раз на эту тему из Округа прислали сочинение: о значении проезда наследника по Сибири...

— Как же так? — спросил дядя, — выпускная тема присылается из Округа в запечатанном конверте и распечатывается только во время экзамена при всем Совете.

— В конверте, — ответил директор, — а умные люди и через конверт видят. Я мальчишек к экзамену вот как налажу.

— Но ведь это же нехорошо, — сказал Астахов.

Верно, директор на минуту смешался: было молчание.

— Я тебе не раз говорил, — начал директор небывалым голосом, без обычной насмешки, — школу в таком виде, как нам задают, я не признаю, внутри этой казенной школы я создаю школу народных вождей. Я делаю большое дело и держусь только тем, что моя гимназия первая.

Видно, и Астахову стало неловко или жалко директора и он сказал ему торопливо;

— Да я ничего. Разве я что̀, я это так, твое дело, конечно, большое и не все же в кон, можно и за кон. Давай-ка вот лучше...

Звякнули стаканы.

— Это что у тебя—шампанское? — спросил директор.

— Сек, — ответил Астахов, — самый высший.

Ошеломленный услышанным, Алпатов идет к себе наверх и бросается в кровать.

„Школа народных вождей!—бормочет он,—а я тут рядом у всех на виду достигаю первого ученика и золотой медали в казенной школе и этим всем хочу себя доказать. И вот доказал,—дурака доказал...“

Стало вдруг все понятно до мельчайших подробностей, почему все они презирали его достижения, почему смеялись, когда учитель словесности за его сочинения называл: „един-ствен-ный“. Он истратил всего себя в течение трех лет на эти достижения, а они чуть-чуть занимались, только бы переходить из класса в класс и потихоньку готовили себя к великому делу.

Странно, как долго лежат иногда в памяти большие слова без всякого понимания, будто дожидаются, когда спящий проснется и

возьмет их с собой: три года тому назад желтый капитан сказал ему, и только теперь он понимает его слова в полном значении: „не нужно много думать о первенстве, а если это еще доказывать, то будете первым только на поверхности“.

И опять он—второй Адам без земли.

Встает с кровати, садится к окну. Вон там, в степи, кочевники большими караванами покидают родную землю совсем, их место заняли русские, они уезжают куда-то на прежнюю свою родину „Хребет земли“, где люди еще вовсе не знают хлеба и, как Авель, только пасут стада, а тот, кто был вторым, теперь занял первое место и на их вольных пастбищах теперь сеет по-каински пшеницу. Но разве он стал от того первым, что занял чужое место? Вон видны их курные хутора и долетает ругань соседей, а тут же вольные проходят караваны и на-ходу играет молодежь: вон девушка в красном мчится на коне, как огненный пал по суходолу, и за нею джигиты. Едут, играя, куда-то за Голодную степь, где вовсе нет земледелия, может быть, они там и погибнут, но вот они настоящие первые.

— А он себе обдуманно устроил хутор с золотой медалью...

Что же делать?

Час и больше он ходит по комнате из конца в конец, открывает окно, в комнату врывается птичий щебет, и одна совсем в наперсток тикает возле самого окна, у нее пухлые щеки и на них смешные полоски, нос вострый, как шило. Алпатов долго и любовно ее разглядывает, и мало-по-малу начинает ему показываться след какой-то огромной мысли и тут же дела. Он успевает схватить из этого могучего радостного источника только самое начало: что эта птичка и зеленые сопки в степях и все в природе уже дано в душе человека и радость оттого, что узнается свое же родное. Больше он ничего не может развить, а знает, что если бы развить и записать, то и был бы в этом ключ ко всему. Опять он ходит, ходит, и вот вдруг мелькнуло все,— теперь бы только бумаги. Хватается за тетрадку, вырывает лист. Но это очень мало, тут не упишется. Там у дяди внизу для чертежей пароходов приготовлены огромные листы, вот какой нужен лист. Спускается вниз, тащит громадную бумагу, расстилает на полу и, окунув спичку в чернильницу, выводит ею заглавие:

Миросозерцание.

Берет чертежную линейку, проводит две диагонали, находит центр всего листа; отсчитав от центра вправо и влево по равному числу мест для букв, он опять тою же спичкой, но громадными буквами надписывает:

ЧЕЛОВЕК.

Теперь от центральной черты проводит множество лучей во все стороны. И когда все готово, и надо на каждом луче внизу что-то написать, вдруг все забылось. Он возвращается мыслью назад, от чего все началось, к той маленькой птичке. Догадывается, что эта птичка прилетела от Алены, думает про Алену и ее веснушки, берет фуражку, выходит, а чертеж человека так и остается на полу неоконченным.

Через две недели Алпатов приходит к дяде проститься: он окончил курс и уезжает в Россию.

— Достигать? — спрашивает Астахов, — а то, может быть, останешься у меня?

— Нет, я хочу достигать.

— Ну, с Богом.

На пристани много народу и все прибывает, весною полгорода сходится провожать пароход. Алпатов сидит на палубе, ищет глазами Алену и не находит. Второй свисток, третий—ее нет и нет.

Но что из этого? За годы сибирского одиночества он привык вызывать ее сам, когда только захочется, и она всегда приходит к нему, как весна. Теперь ему кажется, она села тут рядом с ним на лавочку и говорит с ним первый раз, как настоящая живая Алена.

Пароход отчаливает. Вдали показывается, спешит к пристани девушка, ее лица уже не узнать, но тем лучше, можно сказать себе, что это *она*.

Пристань скрывается из глаз; но она все ясней и ясней, она догоняет, она—здесь, рядом.

— Я вас знаю.

— Нет, Алена, вы меня не знаете. Меня никто не знает.

— Вы—Астахов.

— Астахов—мой дядя.

— Вспомнила, ваша фамилия Алпатов: вы родственник Астахову по матери.

— Да, для всех я Алпатов, но вы должны знать мою тайну: я и не Алпатов. Это моя большая тайна.

— Но матушка ваша была за Алпатовым в законном браке?

— Алпатов — моя законная фамилия, но это ничего не значит, все-таки я не Алпатов.

— Ах, наконец-то, я поняла...

В уголках ее синих глаз на белом мелькнуло желтенькое, то *набитое*, что непременно бывает у всех, кто вырос в маленьких мещанских домиках на краях городских слобод.

Алпатов сразу понял это желтенькое пятнышко в синем глазу...

И так он предал свою мать, свою драгоценную мать, кто всю жизнь работал только для детей, и, когда оставалось время, всех уверял, что любовь розовая. Но как же объяснить ей, этой мещанке

с желтеньким пятнышком в синем глазу, что он не Астахов и не Алпатов и не побочный сын.

— Да нет же, нет,— говорит он в отчаянии,— мать моя святая, она себе даже не позволяла думать об этом.

— Как же иначе?

Желтенькое пятнышко все растет и растет, еще момент и будет смеяться мещанка.

Во что бы ни стало, надо Алену спасать.

— Как иначе? — говорит он сурово, — что же вы думаете, и я вас за этим искал и стерег вас из года в год у пустого сучка?

— Нет, нет! Ах, чтó я сказала, чтó я сказала!

Желтое пятнышко вдруг смыла слеза.

— Я вас, совсем, совсем понимаю.

Какое великое счастье! Она единственная в мире теперь знает его тайну, и теперь он не один.

Она понимает, она не спрашивает, она знает, а для них пусть он будет Алпатов, племянник богатого купца Астахова. Это его теперь больше не будет задевать, рано или поздно он заставит их признать себя и без Астахова и без Алпатова, а потом, может быть, он и будет народным вождем.

Иван Астахов и виду не показал, что ему жалко расстаться с племянником,—раз тот решил достигать, надо достигать. Но почему же дымок давно скрылся в степи, а он все смотрит в подзорную трубу? Дрожит труба в старой руке, опускается. Глаза падают на огромный чертеж человека с заглавием миросозерцание и лучами во все стороны от человека. Астахов берет загадочный лист, уносит к себе, расчищает место на своем столе, расстилает. Астахов большой любитель всяких шарад и загадок, он догадается, непременно догадается. Вот только надо выпить только одну рюмочку. Идет к шкапчику, отпирает, выпивает рюмку, возвращается; нет! еще нужно рюмочку. Еще выпивает и больше не закрывает шкапчика. Что-то знакомое шевелится в памяти. Он роется в книжном шкапу, достает том энциклопедии; слюнявя пальцы, долго перелистывает, наконец, находит что-то, закладывает место, идет к шкапчику, захватывает с собой всю бутылку коньяку и, поставив ее на чертеж человека, принимается читать большую статью: „Миросозерцание“.

[*Конец третьего звена*].

Миниатюры.

Бабель.

I.

Линия и цвет.

(Истинное происшествие.)

Александра Федоровича Керенского я увидел впервые двадцатого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года в обеденной зале санатории Олила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацареный из Туркестана. О Зацареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа и осушил беспредельные равнины Аму-Дарьи. Зацареный был ему другом.

Итак—Олила. В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О, Гельсингфорс, любовь моего сердца. О, небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица.

Итак—Олила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров.

За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо—норвежец Никкельсен, владелец китобойного судна. Налево—графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария-Антуанетта.

Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти.

— Кто это?—спросил Александр Федорович.

— Это дочь Никкельсена, фрекен Кирсти,—сказал я,—как она хороша.

Потом мы увидели вейку старого Иоганеса.

— Кто это?—спросил Александр Федорович.

— Это старый Иоганес,—сказал я,—он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера Иоганеса?

— Я знаю здесь всех,—ответил Керенский,—но я никого не вижу.

— Вы близоруки, Александр Федорович?

— Да, я близорук.

— Нужны очки, Александр Федорович.

— Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом—вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву, и на поверхности, волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас.

— Дитя,—ответил он,—не тратьте пороху. Полтинник за очки, это—единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии—когда у меня есть цвета? Весь мир для меня—гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульете, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник...

Вечером я уехал в город. О, Гельсингфорс, пристанище моей мечты...

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном Доме. Александр Федорович произнес речь о России—матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах—он, единствен-

ный зритель без бинокля? Не знаю. Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

— Товарищи и братья...

II.

Пан Аполек.

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрученных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать величественному примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения—я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. Под ней была подпись „Смерть Крестителя". Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножья картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими и желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился великолепному искусству мастера и мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая Богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной и той же кисти. Мясистый лик Богоматери—это был портрет с пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровенском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого Готфрида.

В корчме, на подоконнике, пришельцы разложили краски и гармонии. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся до-нага и облил студеною водой свое розовое узкое и хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску благовонной зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на свои острые колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили прокопченные стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды перенесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщевые мешки гармонию и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна,—сказал он,—примите от бродячего художника, крещеного христианским именем Аполинария, этот ваш портрет, как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Исус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, и на груди мы припишем изумрудное ожерелье.

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом, красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обрамленное медными кудрями.

— Мои деньги, — вскричал Шмерель, когда увидел портрет своей жены. Но постояльцы были уже далеко. Шмерель схватил палку и пустился в погоню. Но по дороге он вспомнил вдруг розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце у него на дворике, и тихий звон гармонии. И Шмерель смутился духом и, отложив палку, вернулся к себе домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании Мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картинок на темы из Священного Писания. Картины были написаны маслом на тонких пластинках кипарисного дерева. И патер увидел на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на светящиеся равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот несравненный набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, плечистых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику:

— Санта Мария,—сказал он,—желанный пан Аполинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами, кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Исуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек,— сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил Тайную Вечерю и Побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине—еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом—с другой. Она длилась три десятилетия, война безжалостная, как страсть иезуита. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать злотых за Богоматерь, двадцать пять злотых за Святое Семейство и пятьдесят злотых за Тайную Вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изоб-

ражен в образе Иуды Искариота и за это добавляется лишних десять злотых,—так объявил Аполек окрестным крестьянам после того, как его выгнали из строющегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные, как цветение тропического сада. Иосифы с расчесанной на-двое сивой головой, напомаженные Исусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями—эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые,—воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский,—отвечая толпе, защищавшей Аполека;—он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей...

— Ваше священство,—сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож,—в чем видит правду всемилостивейший пан Бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева...

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник приглашенный на место Аполека, не решился замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела—Янека, апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек—о, превратности судьбы—водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы о чем? О романтических временах шляхетства, об ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель-Роббио и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю...—таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да,—отвечаю я,—да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану...—шепчет Аполек и уводит меня в сторону,—что Исус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

— О, тен члбвек,—кричит в отчаянии пан Робацкий,—тен члбвек не умрет на своей постели... Того чловека забиют людове...

— После ужина,—упавшим голосом шелестит Аполек,—после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, и ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное, бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и чистыми движениями, и тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла.

Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотанье Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк, и евангелист Матфей,—то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнущем елью, история о браке Исуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Невыносимая икотка раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать ее и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь и сзывая своих гостей. Тогда Исус, видя необыкновенное томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя и лукаво отводя взоры, как женщина, которая гордится своим падением. И только Исус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле и пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его непреклонный Иоанн. И родился у Деборы первенец...

— Где же он?—вскричал я, смеясь и ужасаясь.

— Его скрыли полы,—произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.

— Пан художник,—вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались,—цо вы мувите? То же есть немыслимо...

— Так, так,—съежился Аполек и схватил Готфрида,—так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

— Блаженный Франциск,—прошептал он, мигая глазами,—с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно...

И он исчез с слепым и вечным своим другом.

— О, дурацтво,—произнес тогда Робацкий, костельный служка,—тен члóвек не умрет на своей постеле...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с нею вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.

* * *

Мой отец простой водопроводчик.
Ну, а мне судьба судила петь.
Мой отец над сетью труб хлопочет,
Я стихов вызваниваю сеть.

Кровь отца, вскипавшая, потея,
Над сырой задачей чугуна,
Мне теперь для ямба иль хорея
Волноваться отдана.

Но, как видно, кровь стихов сильнее.
От отца не скроюсь никуда.
Даже в ямбе, даже и в хорее—
Родинка отцовского труда.

Даже и в кипеньи пред работой,
Знать, отцовский норов перенял.
Только то, что звал отец охотой,
Вдохновеньем кличут у меня.

Миг—и словно искоркой зацепит,
Миг—и я в виденьях трудовых,
И кипучий и певучий трепет
Сам стряхнет мой первый стих.

Вспыхнет ритма колыханье.
Полыхнет упругий звук—
Близких мускулов дыханье,
Труб чугунный перестук.

А потом, как мастерством взыграю,
Не удам и батьке старику--
То как будто без конца-без краю
Строки разгоняю... вдруг и на скаку,
Как трубу, бывает, обрубаю
Стихотворную строку.

Ну, а то—и сам дышу утайкой,
Повинуясь ритму строк своих—
Тихой тихой гайкой—
Паузой скрепляю стих.

Пауза... и снова, снова строчки
Заиграют песней чугуна:—
Что ни строчка –в трудовой сорочке
Вдохновеньем рождена.

Так вот и кладу я песни-сети...
Многим и не вздумать никогда,
Что живет в искуснике поэте
Сын водопроводного труда.

Василий Казин.

Земля Московская.

Тебя замучивали, примеряя
Как рукавицу на ладонь,
Земля Московская, земля сырая,
Тебя топтал татарский конь.

Князья, на княжество, как на телегу,
Присаживаясь набекрень,
Тебя ухватывали в час набега
За груди пышных деревень.

Цари блаженные твои напасти
Лечили Спасом на Бору,
Цари тишайшие тебя на части
Крошили, словно просфору.

Кадили ладаном митрополиты
На мощи, сгнившие до тла.
Кровавым жемчугом была повита
Твоих опричников метла.

Масоны рыхлили сухие грядки
Тупым ребром своих лопат.
Тебя буравили босые пятки
Наполеоновых солдат.

Кололи циркулем ржаные дали,
Когда, в средине февраля,
Освободители освобождали
Тебя, крестьянская земля.

Ходынкой праздновали год счастливый,
И на квадратных полверсты
Портреты царские и кружки пива
Твои продолжили кресты.

И все от Грозного до Николая,
И все—откуда стала есть
Земля Московская, земля сырая,
Откудова на мир, на весь,

Хоть и без голоса, Иван Великий
Вещал о царской лепоте,
Где в черном золоте Христовы лики
Изнемогали в высоте,

И все, что веяло, как ворон-птица,
Бедою на тебя, земля,—
Всему дано было огородиться
Стеной Московского Кремля.

Там хоронили и
Короновали,
Пока флотилии,
На горе нам,
И Севастополи
Атаковали,
И сталью цокали
По черепам.

Когда же грянули
Из туч бойницы,—
Не монопланами
Хотели там
Бороться с немцами,
А плащаницей,
Как полотенцами
По комарам.

Но фронт
Уже не тот, а новый,
Разоружение—
Пожар.
Уже не ринется
Ко Львову
Ни пехотинец,
Ни гусар.

Уж над Невой
Летят машины,
И час не твой ли
Настает.

У дома бывшей
Балерины
Заговоривший
Пулемет!

И сердце алое
Упрямо,
Твое, не вскоре ли,
Земля,
Зарокотало,
Как динамо,
На территории
Кремля.

Там все: и бомбы,
И гранаты,
Бои, нажимы,
(Путь не прям).
Там все: и ромбы,
И квадраты
Непогрешимых диаграмм;

И тот, кто с громом
На ладони
Летел в тумане
(Дни—года),
В запломбированном
Вагоне
Через Германию
Сюда,

И кто потряс,
Подобно кию,
Потряс грозово
Шар земной.
Кто и сейчас
Ведет Россию
Парализованной рукой.

В. Инбер.

Мертвая добыча.

(Октябрьская поэма.)

В „штабе спасенья“ и дни и ночи
Неустанно журчит телефон.
Старый полковник весь-правомочен,
С головы и до пят—„облечен“.

Выжечь крамолу и снять засады
Так же, как в пятый кровавый год:
Старый полковник с своим отрядом—
По депозиции А-500.

Старый полковник совсем не—баба,
Долга и чести полковник—раб.
Ждет директив полковник из „штаба“,
Но... не работает больше „штаб“.

Штаб окружен. Провода порвали...
Старый полковник в окошко влип:
— Эй, юнкера, по вся-ко-й швали—
Пли!..

Полыхнуло, брыкаясь в ухо,
Об-оконные стекла—„дзиннь“.
Спотыкнулась снопом старуха,
Полетела душенька в синь.

Долго ль, коротко ль станут шмякать—
Это другие будут знать,
Но старухе не ныть, не плакать,
Отболела у ней спина.

Окуксинился желтый лобик,
Застеклились зрачки в глазах.
Когда будет лежать во гробе—
Хватит сродничкам рассказать.

... „Будет буча... увидите—будет"...
Ветер—хлюст от ворот—до ворот.
Возле дома какие-то люди
Устанавливают пулемет.

Темь да булыжник жесткий, голый—
Хоть шаром покати мостовой,
Только вьюкают пули-пчелы,
Пролетая над головой.

„Будет буча... уви-и-те... ...удет!"...
Ветру, шалому хлюстику, что!
Гохнули где-то глотки орудий,
Где-то стены домов—решетом.

„Пресвятая владычица наша,
Ну и гроза же, ну и гроза!"...
Заварилась красная каша—
Хватит сродничкам рассказать:

Каша—кашей. Пусть себе варится!
Не уронить бы честь эполет.
Старый полковник шлет ординарца:
— Полным аллюром, юнкер!—пакет.

Старый полковник, хрен, сутулится—
От канонады совсем ослаб.
А по московским темным улицам
Мчится галопом безусый в „штаб".

Мечется, скачет в разгульном гуле
Добрый конь, заломив удила.
Эй, ординарец—догонит пуля!
Эй, не успеешь... цок!—Догнала.

Ремень стремя вцепился за гетру—
Мертвое тело вниз головой
Мчится навстречу шалому ветру,
Кровью марая земь мостовой...

Каша—кашей. Кипит и варится...
Старый полковник ждет ответ—
Старый полковник ждет ординарца,
Но ординарца с пакетом нет.

Старый полковник уже не в духе—
Лезет в душу слякоть-тоска.
Он это нынче всадил старухе
Пулю-дуру возле виска...

Старый полковник себя терзает,
Жмет руками свои виски:
Сын у полковника—сын, мерзавец,
Записался в большевики.

На сердце камень такой тяжелый—
Пластом корявым на сердце лег...
— Не потерплю никакой крамолы,—
Всех закручу в бараний рог!

Старый полковник взволнован, хмурится—
С мертвой добычей примчался конь...
— Слу-шай меня: по углам, по улицам—
Беглый... огонь!

Старый полковник хрипит... ругается...
— Залпами... залпом... крроши в куски!
...Грудью лезут, прут-надвигаются
Большевики...

Что же, полковник,—скорее, скорее...
С мертвой добычей носится конь...
— Гей! По домам, по дворцам, по музеям—
Беглый... огонь!..

Старый полковник себя не терзает.
Взором звериным ожег, кольнул:
— Вот он где, вот он... с ружьем, мерзавец!..
В сына—пальнул.

Нна же!.. Полковник последним хвалится...
— Промах, папаша!—Ты очень—стар...
...Мертвой добычей полковник валится
На тротуар.

Старый полковник окончил хмуриться.
Мертвый полковник без эполет.
Грязью затоптан на грязной улице
Желтый пакет.

Павел Дружинин.

Узловая.

Степь. Ночь. Муть. Снега.
Вьюжные в муть — стога.

В снегах отчаянием ожесточений
Огромным гробом элеватор глох.
В снегах голодной хваткой губерний
Пальцы рельс — в Узловую дорог.

Волчьим воем шныряли гудки;
Волчьи глаза — во все тупики.

Псом обегая сон станционный,
Вьюга поземкой змеиной прочь,
Вздрагивали эшелоны,
Поблескивая топкой в ночь.

И в черный оскал вагонов — порой
Бледность зарниц за Узловой.

Это ракеты в степных ночах—
Ржавый и обессиленный нож;
Кровью отхаркиваясь и рыча,
Нависало тупое „Даешь!..“.

Асфальт. Слякоть. Мешки. Узлы.
Лохмотья. В лохмотьях, из полумглы —

Птицы бескрылые — не взлететь в простор,
Угли тлеющие — глаза;
Копошились, вязли, бились в упор,
Задыхаясь, хрипя и грозя.

Оцепенелый и сонный бред:
Кто-то, привстав, шептал об Октябре;

Кто-то в бреду понукал коня;
Рвался, крича, из глухого огня;

Дрожью высохших втянутых скул
К незримому припадал куску.

Комендантская. Комендант. За окном —
Вьюга в сон станционный псом.

Вьюга — прочь, в бездорожьи взвыв...
Стол: телеграммы, письма, приказ.
И над корявым письмом Москвы
Лютая боль загнанных глаз.

Над приказами — комендант на посту.
Но письма — тоже в тифозном бреду;

Желтые, жутью жгут, крича;
И ртом цынготным коменданту вслед:
— Сыну на саван рубаху с плеча...
— Последний ломоть лебеды на обед...

Степная ночь — ни зги, ни зги...
Мертвые волчьи глаза — в тупики.

Отчаянием ожесточений
Огромным гробом элеватор глох.
Голодной хваткой губерний
Пальцы рельс — в Узловую дорог.

И сквозь вьюжную муть, на 5-й версте —
Оледенелая груда тел.

Руганью тусклой кому-то грозя,
Ломом и кайлом рубили трупы.
Обезумело и льдисто скользя,
Билось железо о трупы тупо.

А в черный оскал вагонов и лиц —
Бледность оробелых близких зарниц:

Пала ракета в степных ночах —
Ржавый и обессиленный нож.
Кровью отхаркиваясь и рыча,
Никло подрезанное — „Даешь!..“.

Полк отступал. Лохмотья, взор
И последний патрон — в упор.

Комендант на посту. Хрипом депеш
Изнемогал аппарат.

Был на гул депеш — метели мятеж,
Паровозов ржавый парад,

Чугунно-костлявый парад калек,
Бред и в бреду — смех.

Только не знали поля, звеня —
Что есть настойчивее кремня:
В погибель втоптать, скрутить, сжать
Голодом, мором, ордой мятежа —

Лишь взор острее насторожен
И новый в дорогах эшелон.

И вьюжную муть раскромсав-расхлестав
Наказом районов, заводов, застав —
Поутру к Узловой: как приговор — крик
И гордый шаг родных мостовых.

С. Обрадович.

Любовь хулигана.

Августе Миклашевской.

* * *

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой,
Уж сердце напилось иной
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу:
Там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна сестра и друг
Могла быть спутницей поэта,

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

* * *

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Это золото осенье,
Эта прядь волос белесых,
Все явилось как спасенье
Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало пруд и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.

Там теперь... такая ж осень.
Клен и липы, в окна комнат
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,

Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Сергей Есенин.

Сон.

(Из Сюлли-Прюдома.)

Крестьянин снился мне. Он говорил: „Ступай,
Паши и сей—я не кормлю тебя, как прежде".
И ткач сказал: «Заботься о своей одежде».
И каменщик: „Иди, жилище созидай".

И вот я был один навеки, без людей,
Влача повсюду груз их страшного проклятья.
Когда же к небесам дерзнул в мольбе воззвать я,
То на своем пути увидел лишь зверей.

Но я раскрыл глаза. Лучи зари белели;
Снаружи маляры и каменщики пели,
Жужжали все станки и колосилась рожь.

И я сказал себе: „Дорогу трудовую
Лишь об руку с людьми ты на земле пройдешь".
Я счастлив с той поры и всех людей люблю я.

Пер. Д. Усова.

Мораль и свобода.

А. Луначарский.

Обычно смешно бывает слушать, как мне на-днях это довелось, от более или менее откровенных и высоко-квалифицированных представителей старого мира суждение о моральных перспективах коммунизма. Одно такое весьма уважаемое лицо недавно говорило со мною, что называется, по-душам и выражало крайнее опасение относительно половой морали человечества.

— Все сдержки, — говорил мне достоуважаемый джентльмен, — падают, брак становится до крайности растяжимым, провозглашается смердяковский принцип «все дозволено». Что может произойти из этого при коренной половой порочности человека? Явное вырождение, ибо те мудрые установления, которыми человечество во все времена обставляло брак, представляли собою, так сказать, биологическую самозащиту, которой род охранял себя от беспорядочного полового сожития, грозящего самому его существованию.

И с видом настоящего оракула достопочтенный джентльмен прибавил следующий афоризм:

— Семейный уклад Востока, евреев, цивилизованных народов Европы и Америки суть первоначальнейшие зачатки разумной евгенетики.

Об этой разумной евгенетике говорят люди, которые считали и теперь считают возможным признать за нормальное общество тот ад, в котором мы жили и из которого еще не выкарабкались. Это они, создавшие море нищеты и болезней, колоссальную детскую смертность, они, семью превратившие сначала в разные формы мучительного рабства женщины от чадры до кухонно-пеленочного плена, они, в привилегированных классах превратившие семью в откровенную сделку, вплоть до брака по об'явлениям, по соображениям фирм (и династий), они, окружившие эту семейную твердыню целым морем проституции, они, проклинаемые миллионами матерей-девушек и часто матерей - девушек - детоубийц, разглагольствуют теперь об опасности коммунистического аморализма!

Но, конечно, при построении того, что часто называют коммунистической моралью, надо быть очень осторожным. Одним из «стражей», порою одной из опасностей, грозящей коммунизму на пути его, является государственная регламентация жизни.

Это не совсем то же, что бюрократизм. Под бюрократизмом мы разумеем обычно отрицательное понятие, а именно — канцелярскую волокиту, и если даже взять это слово в его точном смысле, в смысле «канцелиродержавия», то и тогда оно знаменует собою, что, так сказать, чернильные крысы, канцеляристы разного типа захватили власть даже над самим государством, т.-е. фактически над руководящим классом, над классом диктатором.

Но тов. Троцкий не напрасно говорил о победах здорового бюрократизма. Что он разумел под этим? В хаосе разлагающегося и никогда прочно не сложившегося феодализма, централизованное государство было прогрессом. *Просвещенный бюрократизм*, спаянный римским правом и камеральными науками вообще, окружавший королей или торговые республики (как Венецию, Геную, Голландию), являлся мощным, в самой сущности своей буржуазным, прогрессивно-буржуазным рычагом социального строительства.

Когда мы разбили (будем говорить о России) отвратительный, но какникак скреплявший Россию царско-бюрократический аппарат, мы очутились в бездне либо безусловного хаоса, так сказать, атомического распада страны, либо полухаоса так называемой власти на местах. Что можно было противопоставить исконному славянскому анархизму, конечно, не расово нам *принадлежащему, но нашими условиями нам продиктованному, с одной стороны*, и революционной самостоятельности товарищей, работавших на местах, с другой? Более или менее мощный центр,—и политическая коммунистическая партия создала такой мощный центр, прежде всего в лице Ц. К. самой партии. Сильный политически—административно этот центр был гораздо более слаб и рыхл, так сказать, с точки зрения бюрократической техники—неудовлетворителен, а хозяйственно-деловой центр—и того хуже. И когда тов. Троцкий говорил, что мы страдаем не столько от избытка бюрократизма, сколько от его недостатка, он был так же прав, как говорившие подобное о России восьмидесятых годов в отношении к капитализму. Тов. Троцкому рисовалось при этом нечто, что каждый коммунист, представляющий себе всю неизбежность железного государства - диктатора, аппарата диктатуры пролетариата, не может не найти желательным, — именно: усовершенствованный бюрократический аппарат, всероссийскую канцелярию по учету, по инструктированию, по рассылке приказов, который был бы послушным и вместе с тем властным орудием в руках правительства, выдвинутого пролетариатом. Но, конечно, такого рода государство, по необходимости принужденное регламентировать миллион вещей, легко может впасть в искушение и регламентировать и миллион первую вещь, которая регламентации не требует, а требует свободы и допускает свободу уже сейчас.

Прибавьте к этому, что мы окружены врагами, окружены не только извне, но и изнутри. Совместима ли, например, свобода слова с коммунизмом? Да как же нет? Ведь есть же такого рода люди, которые думают, что несовместима... Это, конечно, уродливая аберрация. Каково ее происхождение? Происхождение ее в том, что свобода слова несовместима с непобедившей еще революцией. В период гражданской войны, открытой или скрытой, дать свободу слова значило бы для правительства совершить идиотскую

измену по отношению к своему знамени. Но свобода слова естественна как воздух после того, как военная опасность прекратится, а прекратится она с окончательной победой над буржуазией во всем мире.

И вот, исходя из этого (я уже об этом писал прежде), у некоторых развивается своего рода цензурный зуд. Они уже считаются не только с недостатком бумаги или типографий, не только с необходимостью заглушить контр-революционные голоса; им кажется, что они вообще призваны судить о том, какому литературному ребенку жить, а какого бросить с Тарпейской скалы. Это, действительно, есть худший вид бюрократии. Пусть таким бюрократом явится писатель. Пусть высоко моральный писатель, — это не меняет дела. Если другой писатель знает, что о его произведении будут судить не с политической, а с художественной точки зрения, и дадут жить или не жить ему, исходя из личных вкусов (личных или групповых, это все равно), то это покажется ему рабством, и это рабство нисколько не нужно для революции даже в настоящий момент.

Вот в таком же положении находится то, что называется половой моралью, отчасти и то, что называется моралью вообще. И прежде несколько слов об этой морали вообще.

Что такое мораль? В это слово, как и в слово этика, вкладываются два понятия. С одной стороны, мораль — это совокупность нравов, как мы ее наблюдаем, совокупность правил, которые так или иначе данным обществом фактически для себя выработаны. Ученый, добросовестно выполнивший такую задачу, — сказать нам, какими правилами (кроме государственных законов) руководится данное общество и какими правилами оно желало бы руководиться, — тем самым дает уже исчерпывающий этюд о морали данного общества в данное время.

Но из вышеизложенного видно, что под моралью нельзя разуметь только мораль, так сказать, кинетическую, уже вошедшую в действие, но и в некоторой степени потенциальную, нормативную мораль. Нельзя, например, сказать о христианской морали, что она заключается в лицемерии и в ежеминутном нарушении своих собственных принципов и только. Это верно для христианской морали, как она себя проявляет, но если к этому не прибавить очерка того, чего эта христианская мораль требует, то мы, конечно, целостной картины не получим. Легко критиковать фактически существующую мораль с точки зрения отклонения ее от своей собственной нормы. Совершенно ясно, что монах, который ест мясо, или лакает молоко в пятницу, является моральным преступником перед христианской моралью, но совершенно не ясно из этого, действительно ли лакать молоко в пятницу об'ективно есть преступление. Таким образом, когда мы переходим к оценке самой нравственной морали, если мы не хотим ограничиться простым и пустым констатированием, мы должны сверить ее с какой-то об'ективной моралью, с какой-то бесспорной, общечеловеческой моралью. Отсюда потребность, извечная, можно сказать, потребность со стороны ученых этиков к построению такой морали. Известно, как Кант попытался дать незыблемые основы для нее.

Но незыблемой морали жаждут не только Канты, ее жаждут живые сердца и самые массы. Искание правды божией, что фактически означает правды безусловной, стоящей выше критики, искание это присуще человеку. Иначе и быть не может. Ведь эта мораль есть основа его бытового уклада. Создать какой-то удовлетворительный бытовой уклад — это стремление всех классов, только каждый класс данного народа, данной цивилизации понимает этот идеал иначе; каждый класс по образу и подобию своих интересов создает, возвеличивает, разукрашивает моральную систему, в которую входит мораль для господ и мораль для рабов и для всех промежуточных разновидностей. Она включает в себя обыкновенно критику, так сказать, варварской и чужой морали и апологию своей собственной. Она связывается неразрывно с религией и требует категорически подчиниться себе, пока не проснулось критическое разумение, а когда оно проснулось — пытается выдать себя за бесспорное логическое научное построение.

Пролетариат мучится, как на ложе пытки, на том социальном укладе, в котором живет, мечтает о другом, активно устремляется к другому, строит другой уклад. Но реформа уклада представляется пролетариату прежде всего как коренная реформа экономического базиса общества. В этом глубокое отличие научного социализма от разного рода утопий, не только от того, что утопии начали с морального конца (вплоть до утописта Толстого), но и от того, как они вообще подходили к этому моральному концу.

Много раз Маркс предупреждал не гоняться за этими предугадываемыми контурами второго и третьего этажа грядущей культуры, в особенности вносить их в программу, а тем менее, я думаю, в законодательство, в предписание, — в час, когда пролетариат приобретет власть в той или иной стране. Мы должны гранитные устои первого этажа сдвинуть с места и перестроить, создав вместо частной собственности коллективную собственность на орудия производства, мы изменяем самую почву и на ней естественно вырастет новая мораль, если уж угодно пользоваться этим словом. Я думаю, что между этой моралью и между всеми другими моралями пропасть так велика, что едва ли стоит ее называть моралью. Когда-то я предлагал, ввиду того, что миросозерцание марксизма всеохватывающее и дает удовлетворение всей той жажде, которая прежде утолялась религией, не нуждаться признавать и марксизм,—это и Дицген признавал—тоже религией высшего порядка, — но мне указывали, что разница слишком велика для того, чтобы допустить смешение наименований. То же относится и к морали. Мораль коммунистического общества будет заключаться в том, что в ней не будет никаких прецептов, это будет мораль абсолютно свободного человека.

По всей вероятности, еще долго мы будем иметь весьма старую регламентацию годов и часов человеческой работы. Пока человек отбывает свою повинность по отношению к обществу в рядах его трудовой армии, пока он, должен быть, прикован к вещам, которыми руководит экономический центр общества, он им также руководим, но смысл Энгельсовского положения, что новое государство будет руководить вещами, а не людьми, сводится именно

к тому, что человек сможет все более увеличивать ту часть своей жизни, в которой он не связан с машиной, не связан с коллективно-урегулированным производством, в котором он является свободным.

В коллективно-урегулированном производстве человек свободен, как коллективный человек; он более не находится в рабской зависимости от машины, он господствует над нею, как общество. Вне производства человек индивидуально свободен. Он совершенно индивидуально устраивает свою обстановку, свои философские убеждения, свою семью, свой бытовой уклад. Если при этом возникает великое разнообразие,—тем лучше. Это значит, что общество расцветает пышным цветом. Это великое разнообразие никогда не превратится в хаос, ибо интересы не будут противоположны, ибо в основном-то тогда люди являются братьями и сотрудниками. Из того производственного фундамента, из которого поднимаются сейчас стоны и ядовитые испарения, тогда будут восходить гармонизирующие и об'единяющие лучи сотрудничества.

Под этим благотворным влиянием экономической общественной гармонии легко будут сочетаться в подвижные, разнообразные гармонические же сочетания остальные культурные человеческие взаимоотношения: всевозможные научные и художественные союзы, всевозможные об'единения людей, в том числе и об'единения их для любви.

И не только государственная регламентация при этом недопустима, но недопустимо никакое тяготение общественного мнения, не должно быть никакого «ком иль фо». Целым рядом этого отвратительного «ком иль фо», этих отвратительных «долгов» опутывал себя фактически зверь-человек мещанин (человек человеку волк). В коммунистическом обществе этого не нужно.

Но, скажут мне, ведь это вы перескочили из царства необходимости в царство свободы, ведь вы уже начали говорить об обществе, над которым нет государства, а вы поговорите-ка о нынешнем дне, можно ли сейчас оставлять дело без регламентации, можно ли сейчас сказать, что среди других свобод, которые нарушает в силу необходимости пролетарское государство, исключением является свобода любви?

Да, я думаю, что все или почти все мною выше сказанное относится и к нашему времени. Да, я думаю, что в отношении так называемой половой морали может быть лишь один прецепт: надо защищать слабого в той своеобразной борьбе, которая закипает на почве любви. Надо защищать интересы ребенка, которые при этом могут быть попраны, надо защищать женщину от насилия, эксплоатации, от предательства. Надобны законы, которые ограждали бы слабого от насилия сильного, ребенка от взрослого, женщину от мужчины.

Но ведь это не моральная регламентация. Тут, действительно, должен иметь место своеобразный либерализм,—свободный договор между женщиной и мужчиной, имя которому любовь, и возможно менее вмешательства. Но если под маской любви мы имеем шантаж, насилие, если договор цинично нарушается — конечно, государство должно вмешаться, но, по-

ıторяю, разве это мораль? — Это право, это юридическое мероприятие, это кодекс. В остальном сколько угодно свободы.

И я слышу возражение моего джентльмена: но евгенетизм, но опасность вырождения, но свальный грех и т. д., и т. д.

Я вовсе не хочу отмахнуться от всех этих слов, как от сущих пустяков. Они, конечно, сущие пустяки, когда их произносят в смысле некоторых метафизических положений: «человек искони греховен, склонен к блуду и кровосмешению, и если его не одеть в моральные вериги, то он окажется отвратительным развратником». Все это чистейший вздор. В животной своей сущности человек отнюдь не развратен. Природа в этом отношении делает минимальное количество ошибок. Она создает свои роды наилучше организованными для евгенетики. Чем скорее человек в этом отношении вернется к природе, чем естественнее будут отношения между мужчиной и женщиной, самкой и самцом нашей превосходной животной разновидности, тем лучше, тем чище будут отношения. Здесь лозунг — назад к природе, назад к животному! — совершенно уместен.

Само собою разумеется, что человек далекого будущего, человек коммунистически воспитанный, человек, у которого животное это будет прямым, светлым, радостным, здоровым и в котором, к этому животному, плюсом прибавится общественный человек, наследник всех страданий и всех завоеваний прошлого, строитель своего собственного будущего — такой человек без всяких моральных пут сумеет построить — мужчина и женщина — свои прекрасные поэтические взаимоотношения.

Поэтические? Может быть, это слово «почти неприличное», сентиментальное. Толстой говорит, что поэтическим мы называем все то, что напоминает прошлое. Это совершенно неверное определение. Поэтическое—это значит творческое. Поэтому поэтические любовные взаимоотношения между парой людей—это значит творческие взаимоотношения, направленные к концентрации жизни, к под'ему ее, к ее просветлению.

Такова естественно- и без всякой морали будет любовь наших детей, если мы их правильно воспитаем.

Для переходного периода, для периода, в котором человек ушел от животной сущности и не пришел еще к настоящей человечности, вот для того периода характерен разврат, и разврат заключается не в кровосмешении, не в нарушениях семейного уклада — это деталь разврата, — он заключается в самом факте семьи, в самом факте разнородной запродажи человека человеку, во всем насквозь строе старого общества от примитивно-варварского до сверх-капиталистического. В этом разврате мы пока еще по уши. Освободите человека, носящего на себе уродливый горб воспитания и опыта, приобретенного в капиталистическом обществе, киньте его еще кроме того в кипящий котел страстей, каким является гражданская война, — конечно, он будет удовлетворять свою половую потребность наспех, часто цинично, не заботясь о других. Конечно, он может по-смердяковски понять лозунг «все позволено». Что же из этого? Создавать особую моральную полицию, армию спасения с квакерскими приемами пропаганды

чистоты? Пытаться регламентировать все тот же хаос путем своеобразного морального законодательства? Ничего подобного. Воспитывать — вот ответ.

Наиболее надежным при этом является воспитание детей. Здесь результаты будут самыми прочными. Мы должны поднять детей над своей головой, над тем болотом, в котором мы пока бредем по уши. Мы их должны держать на солнышке, под лаской вольного ветра подлинной человечности. Если мы сами не можем жить в этой атмосфере, то мы знаем, какова она, мы можем по крайней мере хоть некоторую часть детей вселить в эту атмосферу. А проповедь среди взрослых—ее прежде всего громовым голосом ведет революция, — ее мы ведем, эту моральную проповедь, при всякой другой проповеди, распространяя грамотность, поднимая интерес к вопросам естественной и общественной науки, поднимая квалификацию труда, заинтересовывая судьбами русской и мировой революции, — мы расширяем кругозор человека, облагораживаем его внутреннюю сущность, давая стержень содержания часто растерянной душе не только крестьянской, красноармейской, а еще в гораздо бо́льшей степени интеллигентской, которая гораздо более безграмотна в социальном отношении сплошь и рядом.

Поскольку мы привлекаем женщину к общественной деятельности, поскольку мы социально просвещаем ее, делаем ее благороднее, стойче и менее беспомощной, мы всем этим оздоравливаем не половую мораль, а человека. Здоровый человек будет здоровым в любви. Пока человек болен наследственными болезнями капитализма — мещанством, невежеством, эгоизмом, до тех пор моралью никак не поможешь. Вот почему я думаю, что мораль нам не нужна, вот почему я думаю, что в области пола мы должны говорить не о морали, а о свободе и в ответ на джентльменские заявления, что это смердяковщина, мы должны говорить, что свободе разнузданного человека мы противопоставляем коммунистическое просвещение.

Основные черты современного состояния народного просвещения в Р.С.Ф.С.Р.

И. Ходоровский.

«Новая эра» в области просвещения была у нас провозглашена на X С'езде Советов: С того времени прошел уже целый год—срок вполне достаточный для того, чтобы можно было подвести некоторые итоги.

Работа X С'езда Советов совпала как раз с таким моментом в развитии дела народного просвещения в Республике, который, без всякого преувеличения, может быть назван катастрофическим. Сеть просветительных учреждений, стихийно разросшаяся в течение первых 4-х лет советского строя, сократилась к этому моменту до последних пределов; местами и по отдельным разделам просветительной работы она упала ниже земской; работники просвещения дошли до крайней степени необеспеченности, чтобы не сказать — нищеты. Самая постановка наркомпросовского доклада на С'езде Советов свидетельствовала о том, что в сознании широких кругов советских и партийных работников назрел перелом; все почувствовали и поняли, что дальше так продолжаться не может. Вспомним еще раз самое главное из того, что было принято С'ездом. Внимание С'езда, естественно, было обращено прежде всего на массовую начальную школу и другие массовые учреждения, призванные обслуживать всю толщу трудового населения. С'езд провозгласил, что отступление на фронте просвещения (впервые официальное признание просвещения—ф р о н т о м) закончено и что центральные и местные органы Советской власти обязуются принять все действительные меры к тому, чтобы дальнейшее сокращение школьной сети и дошкольных учреждений было решительно приостановлено. В отношении материальной базы народного просвещения—этого, в конце концов, решающего фактора,— С'езд возложил ряд обязательств как на правительство, так и на местные исполкомы. Совету Народных Комиссаров поручалось изыскать все способы для увеличения доли Наркомпроса в общегосударственном бюджете (отводимая Наркомпросу до сих пор доля признана была С'ездом «ни в малейшей мере не достаточной»), а всем губернским и уездным исполнительным комитетам вменялось в обязанность отпускать на дело народного образования максимально возможный процент губернских и уездных бюджетов. Далее, С'езд наметил целый ряд дополнительных мероприятий, которые могли бы

содействовать укреплению материальной базы народного просвещения, как-то: допущение введения платы за обучение в школах I и II ступени в городах и поселениях городского типа, наделение учебных заведений и детских учреждений земельными участками, заключение договоров между органами народного образования и сельскими обществами на предмет поддержания школ и открытия новых и т. п. С'езд, далее, одобрил политику Наркомпроса, направленную к пролетаризации высшей школы и к обеспечению в максимальных размерах за рабочими и крестьянами фактической возможности пользования высшими учебными заведениями, и отдельно подчеркнул всю важность массового профтехнического образования и особенно школ фабрично-заводского ученичества; к поддержке (конечно, не только «моральной») этих школ С'езд решительно призывал все советские и, главным образом, хозяйственные органы. Затем С'езд отметил громадное значение массовой политпросветработы и—особенно—ликвидации неграмотности (такое напоминание было как нельзя более кстати, принимая во внимание «ликвидаторское» настроение советских органов и учреждений в отношении этой ликвидации неграмотности). И, наконец, С'езд подробно остановился на роли учителя как общественного работника, на всей важности его переподготовки (поднятия квалификации) и на абсолютной необходимости решительного улучшения его материального быта, с тем, «чтобы,—как сказано в постановлении С'езда,—по мере укрепления хозяйственной мощи Республики неизменно возрастала бы заработная плата работников просвещения и в конечном итоге достигла бы уровня заработной платы рабочих важнейших производств».

Почти одновременно с этими решениями X С'езда Советов, Владимир Ильич Ленин, оторванный недомоганием от руководства текущей работой, заносил на страницы своего дневника отдельные мысли и замечания, давшие в совокупности необычайно яркую, законченную и, как всегда у Вл. Ильича, политически бесспорную формулировку задач Советской власти и коммунистической партии в области народного просвещения. Из всей массы просвещенских вопросов В. И. Ленин выдвигает в своих «Страничках из дневника» («Правда» 2-го января 1923 г.) два основных и главных для данного момента: материальная база Наркомпроса вообще и массовой школы в особенности и положение школьного работника, учителя. Касаясь ужасающей неграмотности, царящей в нашей стране, Вл. Ильич говорит:

> Это показывает, какая уйма работы предстоит нам теперь для того, чтобы на почве наших пролетарских завоеваний достигнуть действительно сколько-нибудь культурного уровня. Надо, чтобы мы не ограничивались этим бесспорным, но слишком теоретическим положением. Надо, чтобы, при ближайшем пересмотре нашего квартального бюджета, мы взялись за дело и практически. Конечно, в первую голову должны быть сокращены расходы не Наркомпроса, а расходы других ведомств, с тем, чтобы освобожденные суммы были обращены на нужды Наркомпроса.

И далее:

> У нас делается еще слишком мало, безмерно мало, для того, чтобы передвинуть весь наш государственный бюджет в сторону удовлетворения в первую голову потребностей первоначального народного образования.

О наших задачах в отношении учительской массы Вл. Ильич говорит на протяжении всей своей статьи («Странички из дневника»):

> Мы не делаем главного. Мы не заботимся или далеко не достаточно заботимся о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой и речи быть не может ни о какой культуре, ни о пролетарской, ни о буржуазной.

И еще:

> Народный учитель должен быть у нас поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит, и не может стоять в буржуазном обществе. Это—истина, не требующая доказательств. К этому положению дел мы должны итти систематической, неуклонной, настойчивой работой и над его духовным под'емом, и над его всесторонней подготовкой к его действительному высокому званию и главное, главное и главное—над поднятием его материального положения.

Надо ли говорить, каким под'емом и энтузиазмом были охвачены работники просвещения, когда раздались такие слова из уст тов. Ленина!

Эти два величайшей важности факта — постановление X С'езда Советов и публичное выступление В. И. Ленина—об'ективно должны были вести к весьма заметному сдвигу в нашем просвещенском деле. И, действительно, этот сдвиг мы вначале чувствовали. Он выражался в более внимательном отношении к нашим нуждам со стороны правительственных органов при обсуждении бюджета или при рассмотрении отдельных вопросов народного просвещения. Еще больше он выражался в отношении местных исполкомов к нуждам отделов народного образования: стали отпускать больше средств, стали давать людей, стали вообще больше, чем до сих пор интересоваться вопросами просвещения. Для начала все это было недурно. Но, увы! Дальше начала дело не пошло. «Весенние увлечения» скоро прошли, и для нашей работы вновь настала тусклая и серая осень.

Разберемся с цифрами и фактами, в каком состоянии находится в данный момент дело народного образования в Р. С. Ф. С. Р. и как далеко мы ушли по пути осуществления заветов Владимира Ильича.

I. Материальная база народного просвещения.

а) Государственный бюджет.

Если сравнить расходы на народное образование по государственному бюджету в только что закончившемся бюджетном 1922 — 1923 г. (первый год «новой эры» в народном просвещении) с тем, что расходовалось по государственному бюджету в 1914 г., то получится такая картина: в 1914 г. на народное образование на каждую душу населения бывшей Российской империи расходовалось из государственных средств 1 р. 31 коп.; в 1922/23 г. из государственных средств израсходовано на каждую душу населения 51 товарн. коп. А так как наши так называемые «товарные» рубли и копейки в истекшем году отставали в среднем от действительной стоимости товарного (который только и может быть сравниваем с довоенным) рубля примерно на 25 — 30%, то, без большого риска впасть в ошибку, можно до-

пустить, что на каждую душу населения у нас в истекшем году фактически израсходовано не 51, а что-то вроде 35—40 коп. [1]). Итак, мы еще и теперь, после года работы в «новых условиях» стоим ниже довоенного в четыре раза! А, ведь, в отношении народного просвещения довоенное положение вовсе не является нашим идеалом!

Материальный фундамент Наркомпроса в истекшем году может быть довольно наглядно проиллюстрирован на положении наших высших учебных заведений. Стоимость обучения одного студента индустриально-технических ВУЗ'ов в 1914 г. равнялась 305 р. 9 коп.; в 1922—1923 г. на обучение одного студента израсходовано 41 р. 76 к. (товарных) [2]), а на каждого госстипендиата—156 руб. Но так как ¾, если не ⅘ этой суммы израсходованы не на непосредственное обслуживание учебных нужд, а на материальное обеспечение учащегося, то для сравнения мы должны брать только 41 р. 76 коп. По отделу сельско-хозяйственного образования сравнение за те же годы дает—298 р. и 29 р.; по отделу медицинского образования—201 р. и 38 р. 32 к., по отделу педагогического образования—477 р. 34 к. и 50 руб. и т. п. В общем на обучение (обучение—в непосредственном смысле слова) каждого студента *мы истратили в истекшем году в 8—10 раз меньше того, что тратилось в 1914 году*. Заработная плата так называемых госбюджетников продолжает оставаться ниже всякого мыслимого минимума: уже после всех потуг мы достигли того, что максимальная ставка профессора за его преподавательскую работу — 35 руб., а заработок работников, находящихся на бюджете Главсоцвоса,—преподавателей школ II ступени и работников учреждений социально-правовой охраны, колебался до конца только что закончившегося бюджетного года между 8 и 9 руб. в месяц. Вот тот фундамент, на котором мы стоим.

Наркомпросом приняты были все меры к тому, чтобы сократить до минимума или совсем исключить все расходы, не имеющие первостепенного значения. Так, расходы на поддержку государственных академических театров составили 1% всей исполнительной сметы Наркомпроса; расходы по содержанию центрального и местных управленческих аппаратов и все организационные расходы центра составили—3,9%. Между основными разделами работы Наркомпроса средства в 1922/23 г. распределились так: Главсоцвос получил 23,8%, Главпрофобр — 42,6%, Главполитпросвет — 15,5%. Главнаука (научные и музейные учреждения) — 14,2%. Здесь быть может еще возможны кой-какие перегруппировки, может быть можно кой-где урезать и кой-кому прибавить. Но в основе остается бесспорной весьма печальная для нас истина: на том уровне наших материальных рессурсов, которого мы достигли и на котором задержались, никакое движение вперед не мыслимо и мы, в лучшем случае, обречены на бег на месте.

---

[1]) Если сюда прибавить то, что израсходовано на народное образование в 1922/23 г. по смете Н.К.П.С., то общая сумма расходов по народному образованию, падающая по госбюджету на одну душу населения в 1922/23 году, будет равна 40—45 коп.

[2]) Надо всякий раз не забывать уже упомянутую выше разницу между нашим «товарным» рублем и старым, довоенным.

Кажется, теперь уже совсем нетрудно подсчитать, в каких пределах нам в истекшем бюджетном году удалось реализовать директивы X С'езда Советов и мысли Вл. Ильича Ленина.

Белогвардейцы, выброшенные за борт советского союза, «культурные люди» запада, почтенные мещане, на нашей земле обретающиеся—все они любят и будут скулить по поводу того, «до чего большевики довели школу, особенно высшую». Пусть бы они, немало потрудившиеся над углублением нашей разрухи, — пусть бы они дали своим мозгам задачу понять, как же все-таки могло случиться, что в стране, где на обучение каждого студента тратятся буквально гроши, высшие учебные заведения переполнены сверх всякой меры, и новая, на идеях пролетарской революции воспитавшаяся, молодежь, по меткому выражению Л. Д. Троцкого, буквально грызет зубами науку!! И если мы приводим данные, характеризующие тяжелое положение дела народного просвещения, то потому, что наша партия никогда не боялась смотреть правде в глаза, как бы черна эта правда ни была. Партия должна дать себе отчет: на фронте просвещения достигнуты большие идеологические успехи, десятки тысяч рабоче-крестьянской молодежи втянуты в ВУЗ'ы и рабфаки, растет новая советская трудовая (в подлинном, а не пошлом народническом смысле слова) интеллигенция; но эта работа совершается в невыразимо тяжелых условиях, в обстановке невероятного оскудения материальных рессурсов. Надо сделать что-то большое и решительное, чтобы затраченные усилия десятков и сотен тысяч людей не пропали даром; надо во что бы то ни стало *материальную базу народного просвещения укрепить.*

б) Местный бюджет.

Управление местных финансов Наркомфина проделало очень интересную работу по обследованию местных бюджетов. Монографическим методом разработаны ориентировочные годовые (на 1922—1923 г.) бюджеты шести губерний: Петроградской, Псковской, Томской, Тульской, Смоленской и Ярославской. По данным этого обследования расходы по народному образованию составляют в среднем 17,5% местных бюджетов и дают в общем итоге по Республике 61,2 миллиона золотых рублей. По упомянутым шести губерниям предположительные расходы на народное образование составляют 56% довоенных расходов по этим губерниям на ту же цель. Представляется совершенно необходимым сначала проследить, как исполнялись на местах ориентировочные бюджеты или, проще, что по ним отделы народного образования реально получили, а уж потом эти данные об исполнении бюджетов сравнить с расходами земств на народное образование в до-революционное время. Только в свете этих данных могут иметь значение материалы проведенного Наркомфином обследования шести губерний.

В 1914 г. по 40 земским губерниям расходы на народное образование составляли 31% общего земского бюджета этих губерний. Надо при этом иметь в виду, что помимо земств и другие учреждения и ведомства (мини-

стерство народного просвещения, синод, городские управы) тратили не мало средств на начальное образование. Для того, чтобы составить себе некоторое представление о соотношении расходов на народное образование земств и других ведомств и учреждений, достаточно взять группу губерний хотя бы Московского учебного округа (губернии Владимирская, Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская). В этих губерниях было училищ в 1911 г.: земских—9.422, приходских, по полож. 1828 г.,—357, министерских—579, церковно-приходских — 6.464 и прочих (фабрич.-завод., железно-дор., воспитательные дома, частные и т. п.) — 1.771 а всего — 18.593. Из 18.593 школ земских было только 9.422, примерно—50—52%. Чтобы провести сравнение расходов на народное образование по местным бюджетам прежде и теперь, возьмем 23 земских губерний в 1914 г. и ту же территорию, образующую теперь 25 губерний, 5 автономных областей и 1 автономную республику—на 1922 — 23 год[1]). В этих 23 губерниях (Владимирская, Вологодская, Воронежская, Вятская, Казанская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Петроградская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Симбирская. Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Астраханская, Ставропольская, Витебская, Могилевская, Тамбовская) в 1915 г. земствами израсходовано на народное образование 44.232.300 руб., а всего в этих губерниях на массовые учреждения по народному образованию (вместе с синодом и другими учреждениями—по расчету, который приведен выше) израсходовано от 70 — до 80 миллионов рублей. На той же территории в 25 губерниях, 5 автономных областях и 1 автономной республике (Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Брянская, Вологодская, Владимирская, Иваново-Вознесенская, Нижегородская, Рыбинская, Тверская, Петроградская, Псковская, Новогородская, Марийская автономная область, Самарская, Саратовская, Симбирская, Татреспублика, Чувашская автономная обл., обл. немцев Поволжья, Астраханская, Царицынская, Калмыцкая авт. область, Витебская, Гомельская, Смоленская, Вятская, Вотская авт. область, Ставропольская) по ориентировочным местным бюджетам[2]) на 1922/23 год предполагалось отпустить 31.264.900 товарных рублей (пресловутые наркомфиновские «индексные» «товарные» рубли, которые на самом деле значительно ниже действительного рубля 1915 г.), т.-е. значительно менее 50% того, что отпущено было в 1915 г. Но это только ориентировочный бюджет. Реализация же этого бюджета дает еще более вразумительную картину. Берем те губернии и по тем кварталам, относительно которых сведения отличаются наибольшей полнотой и достоверностью. По ориентировочному годовому бюджету Орловской губернии на народное образование должно было быть отпущено 900.300 золотых рублей. В течение 1-го, и 3-го кварталов отпущено

[1]) Губернии эти я выбрал просто потому, что по ним у меня имеются наиболее полные сведения. Нет никакого основания полагать, что в остальных губерниях картина может сколько-нибудь значительно измениться.

[2]) У нас все без исключения массовые учреждения народного образования входят в сеть отделов нар. образ. и проходят по местному бюджету.

319.463 р., что составляет 35,48%. Оставалось, следовательно, дополучить в одном только четвертом квартале 64,52%. Надо ли говорить, что такая сумма, да еще в последнем, самом тяжелом, квартале получена не была и Орловский бюджет был реализован в конечном итоге, вероятно, процентов на пятьдесят [1]). Но Орловская губерния считается одной из лучших. За те же три квартала Витебский губоно получил по местному бюджету 256.225 зол. руб., что составляет 28% годового назначения. Получил ли Витебский губоно остальные 72% в течение последнего квартала? Еще хуже обстоит дело в автономной области Мари—здесь за три квартала получено 26,78% годового назначения. Брянская губерния в течение 1-го и 2-го кварталов получила всего только 9,2% годового назначения. Это означает, что в лучшем случае губоно этой губернии получил в течение года 20% сметного назначения. Совсем плохо обстоит дело в Воронежской и Царицынской губерниях. В Воронежской г. в течение первых двух кварталов получено 12,9% сметного назначения и в Царицынской в те же кварталы—11,3%. Так же печально положение дела в Саратовской и в Челябинской губерниях, весьма неблагополучно—в Ново-Николаевской и Алтайской и т. д. В общем правильно было бы предполагать, что во всей Республике губоно получил в течение всего года в среднем 40—50% сметных назначений. А так как эти назначения, в свою очередь, составляли только около 40—50% того, что израсходовано было в 1915 году, то в действительности на дело народного образования в истекшем бюджетном году по местному бюджету израсходовано было около 25% расходов 1915 года.

Заработная плата школьных работников массовых учреждений соцвоса рисуется в таком виде: по 39 земским губерниям 1915 года первоначальный годовой оклад учителей начальных сельских школ равнялся 360 руб. (30 руб. в месяц) [2]). У нас же, если не считать Петроградской и Московской губерний (которым удалось довести зарплату школьных работников до 30—40% довоенной нормы), заработная плата сельских работников по данным 13 губотделов Рабпроса (материалы взяты мною в Цекпросе), равнялась: в январе—4 р. 32 к., в феврале—4 р. 68 коп., в марте—5 р. 81 к., в апреле—5 р. 15 к., в мае—5 р. 28 к. и в июне—5 р. 30 к. [3]). После июня, насколько

[1]) В нашем распоряжении нет еще сведений о том, как реализовался на местах бюджет в четвертом квартале, а по ряду губерний нет еще сведений и о третьем квартале.

[2]) Средние размеры жалованья в начальных школах в разных странах (в руб.).

Португалия	555 р.	Румыния	1.420 р.
Италия	629 „	Баден	1.480 „
Франция	814 „	Пруссия	1.526 „
Голландия	875 „	Испания	1.539 „
Болгария	888 „	Дания	1.554 „
Сербия	1.110 „	Англия	1.665 „
Швеция	1.191 „	Цюрих	1.712 „
Австрия	1.197 „	Гамбург	2.127 „
Бавария	1.295 „	Сев.-Амер. Шт. учителю	1.320 „
Саксония	1.387 „	„ „ „ учит-це	1.032 „
Венеция	1.398 „	Нов. Зеландия (около)	2.000 „

[3]) Речь идет, главным образом, о договорных школах.

известно, заработная плата на местах не повышалась. Итак: в 1915 году сельский школьный работник получал 30 руб. в месяц, теперь он получает 5 р. 30 к., т.-е. что-то вроде 17%.

Чтобы покончить с местным бюджетом, приведем еще одну очень характерную справку. По данным анкеты петроградского губернского земства [1]) — оказывается, что если (пользуясь методом обследования петроградского земства) все расходы земств на народное образование разделить на число школьных комплектов в этих земствах, то мы будем иметь на один комплект или на одного учителя в среднем: в 1913 г. — 1.142 р., в 1914 г.—1.196 р. По данным же Наркомфина, относящимся к 15 губерниям на 1922/23 бюджетный год на содержание одного школьного комплекта 1-ой ступени падает по ориентировочному бюджету 327 руб. в год. Но так как мы уже установили, что ориентировочные бюджеты отделов народного образования были реализованы только на 40 — 50%, то действительный расход на один школьный комплект в 1922/23 г. будет равен не 327, а, примерно, 150—160 руб. Это составляет уже не 25%, а около 8% земского бюджета. Не беру на себя смелость утверждать, что эти расчеты бесспорны. Но бесспорно то, что на народное образование по местным бюджетам в 1922/23 г. израсходовано в пределах от 8 до 25% довоенных расходов и ни в каком случае не больше. С таким местным бюджетом мы вступили в новый 1923 — 24 бюджетный год. А между тем, уже в этом новом году и особенно в последующие годы перед местным бюджетом встанут огромные задачи и не менее огромные трудности. Назовем хотя бы такие три задачи колоссального значения, как повышение заработной платы школьных работников, введение всеобщего обучения и ликвидация неграмотности. Можно ли откладывать хотя бы на год повышение заработной платы работников просвещения, которые оплачивались до октября в размере, едва достигающем 17% довоенной нормы (5 р. 30 к). Совершенно очевидно, что всякое промедление в этом деле означало бы не только уже совершенное обнищание, а, следовательно,— и разорение и школьного работника и самой школы, но и большую политическую ошибку. Уже в текущем году местные бюджеты должны быть так построены, чтобы в них учитывалось повышение зарплаты школьного работника в деревне и городе в среднем примерно на 5 — 7 руб. в месяц, что вызовет дополнительный расход на начальную школу в размере 6 — 8 мил. зол. рублей в год. Это будет в сущности лишь первый шаг в том направлении, которое указано X С'ездом Советов и тов. Лениным в отношении работников просвещения. В дальнейшем местные бюджеты должны строиться по такому расчету, чтобы уже в течение ближайших 3 — 4 лет зарплата школьного работника достигла довоенного уровня. Совершенно исключительной по размаху и по трудности является проблема введения всеобщего обучения в 10-летний срок, поставленная нам Советом Народных Комиссаров 20 августа 1923 г.

---

[1]) Данные разработаны Статистическим отделом Наркомпроса.

Если под всеобщим обучением понимать такую ситуацию, когда все дети, достигающие 8-летнего возраста, могут без отказа попасть в нашу школу, то такое всеобщее обучение мы осуществим сравнительно скоро и без большого напряжения: за годы войны рождаемость сильно понизилась и в течение ближайших 4—5 лет мы своей сетью можем охватить всех детей 8-летнего возраста, поступающих в первую группу первой ступени. Но такое казенное и формально-статистическое понимание принципа всеобщего обучения нисколько не устраняет того факта, что наша сеть охватывает только около 50% детей в возрасте от 8 до 12 лет и что у нас 3½—4 миллиона детей этого возраста находится за бортом школы. Это — так называемые переростки, которых тоже надо учить и для которых тоже надо строить школы.

Мы должны, следовательно, в 10-летний срок создать еще такую же сеть школ, какую мы имеем в настоящий момент или что-то вроде 50.000 школ. На постройку этих школ потребуется от 300 до 500 миллионов золотых рублей. Мы не можем сию секунду установить, в каком порядке будет итти расширение сети; эта сторона дела должна быть всесторонне и тщательно проработана сетевыми комиссиями, образованными на основании постановления С. Н. К. от 20 августа. Во всяком случае, местные бюджеты должны будут в течение ближайших 10 лет эту тяжесть нести и вынести. Если на минуту допустить, что эта новая сеть будет равномерно расти в течение 10 лет (на самом деле, конечно, будет иначе, но для грубого расчета из этого можно исходить), то на строительство потребуется в год от 30 до 50 миллионов рублей. Если, далее, предположить, что в течение каждого из ближайших 10 лет мы сможем тратить на каждую школу только половину того, что тратилось земством, или около 550 — 600 руб. (земство — около 1.200 р.), то это даст увеличение расходов по содержанию каждой школы (в том числе и оплата персонала) на 250% против того, что фактически израсходовано в 1922 — 23 году. А ведь количество школ будет расти и каждая новая школа — это новый дополнительный расход. И, наконец, мы приняли, что дальше 550 руб. (половина того, что тратило земство) на каждую школу мы не двинемся. А это — для периода, рассчитанного на 10 лет, как будто не особенно щедро. Итак, и без подсчета видно, что при тех средствах, какие в действительности отпускаются теперь на дело народного образования из местных бюджетов, задача введения всеобщего обучения должна считаться почти что неразрешимой.

И, наконец, ликвидация неграмотности. По постановлению В. Ц. И. К. и Совнаркома ликвидация неграмотности должна быть закончена к 10-летию Октябрьской революции, т.-е. через 4 года. В этот промежуток времени должно быть обучено грамоте 17 миллионов человек. По расчетам Главполитпросвета на эту громадную работу в течение четырех лет должно быть израсходовано из местных средств 56.392.000 руб.

Резюмирую сказанное:

а) в истекшем бюджетном году исполкомами уделялся народному просвещению недопустимо малый процент местного бюджета (по данным

Наркомфина — 17,5%), в то время как земства в последние годы до войны и в начале войны уделяли в среднем 30%;

б) ориентировочные бюджеты отделов народного образования, как общее правило, были реализованы, в лучшем случае, на 40—50% и на народное образование по местным бюджетам было, в конечном итоге, израсходовано не более 25% того, что тратили земства в 1914—1915 г.г.;

в) это показывает, что исполкомы недостаточно серьезно отнеслись к постановлениям X С'езда Советов и не проделали над своими бюджетами соответственной работы, а между тем, не только осуществление всеобщего обучения в 10-летний срок, но даже простая поддержка существующей сети и кой-какое повышение заработной платы школьных работников требывали бы от местных советов расходов по меньшей мере в два раза бо̀льших против того, что фактически было израсходовано в прошлом году;

г) местные советы недостаточно усвоили ту мысль, что *поскольку все важнейшие государственные нужды (оборона, промышленность, пути сообщения) обслуживаются государственным бюджетом, постольку перед местным бюджетом, призванным обслуживать бытовые нужды местного населения, народное просвещение должно стоять, как самое важное и первое дело; следовательно, в распределении средств местного бюджета должен быть произведен решительный сдвиг в сторону значительного увеличения доли, падающей на просвещение*;

д) но даже в том случае, если бы местные бюджеты вполне и достаточно быстро окрепли и если бы делу народного образования уделялось все то внимание (конечно, в деньгах, а не только в резолюциях), на какое оно вправе рассчитывать — *задачи введения всеобщего обучения, ликвидации неграмотности и создания человеческих условий существования для работников просвещения не могли бы быть разрешены силами местного бюджета; надо сознательно итти на то, что в течение длинного ряда лет массовая начальная общеобразовательная школа не сможет обойтись без крупной материальной поддержки со стороны государственного бюджета.*

II. Сеть просветительных учреждений.

а) *Учреждения социального воспитания.*

Таблица, которую мы приводим ниже, дает некоторое представление о состоянии сети школ социального воспитания в Р. С. Ф. С. Р. В таблице учтены только губернии и автономные области Европейской России — всего 41 губерния и 11 автономных областей. Сибирь, Дальний Восток и автономные

эеспублики сюда не входят. Надо заранее отказаться от попытки получить гочные сведения о развитии сети по каждой губернии: административная карта России за последние годы подвергалась стольким и таким изменениям, что вряд ли мы найдем хоть одну губернию, которая хоть сколько-нибудь совпадала бы теперь своими границами с границами дореволюционными. Поэтому единственно надежным способом исчисления и сравнения в таких 'словиях может быть признан только такой, при котором берутся террито- эиальные крупные районы, охватывающие ряд губерний в общем и целом, і примерно тех же, которые охватывались этими районами и в прежние времена. *(См. табл. на стр. 148 и 149).*

Таблица показывает необычайный рост количества учреждений к 1921 г. Это была полоса, когда школы всякого типа вырастали буквально, как грибы после дождя, не взирая на отсутствие какой бы то ни было ма- 'ериальной базы для их развития, — просто прорвались наружу стихийные илы, которые в течение многих десятилетий держались в оковах царизмом буржуазией. Этот стихийный поток находит себе (как показывает аблица) такое цифровое выражение: на январь 1914 г. насчитывалось 2.050 школ I ступени с 4.186.480 учащихся, а к 1 января 1921 г. эти ифры поднялись: количество школ—до 76.052 и количество учащихся—до .067.383. К 1 апреля 1922 г. картина существенно меняется: слабость ма- ериальной базы дает себя чувствовать, и многие учреждения отмирают так се быстро, как они возникли; этот процесс охватывает, однако, и такие учре- сдения, которые возникли в старое время: многие из них, вследствие отсут- твия средств к существованию, закрылись. К этому времени мы насчитываем 1.340 школ I ступени с 4.864.335 учащихся. Но напор нужды и бедности а этом не кончается, и 1 апреля 1923 г. количество школ и учащихся меньшается еще на 15 — 20% и составляет 50.357 школ с 3.613.844 уча- щихся. Такая же картина наблюдается в отношении школ II ступени (вклю- ая семилетки и девятилетки). Итак, на территории, которую к апрелю 923 года населяло 70.500.000 душ, мы имели в школах I ступени— .613.844 учащихся. Принимая в расчет, что дети школьного возраста — 11 лет) составляют 11,6% всего населения и дают массу населения в 178.000 душ — получаем, что учащиеся этого возраста составляют 46% бщего количества детей школьного возраста. При самом оптимистическом строении эта цифра может быть поднята до 48%. Остается бесспорной, едовательно, та истина, что 52% детей школьного возраста находится за ртом школы. Мы еще раз приходим к выводу, что от местных органов оветской власти потребуется колоссальное напряжение энергии и мате- иальных средств для того, чтобы в 10-летний срок охватить школьной тью всю эту массу детского населения. Лучше обстоит дело с детскими мами. На 1 января 1914 г. мы имели детдомов[1]) 659 с общим количеством тей 26.691. К 1 января 1921 г. количество детдомов резко повышается до

[1]) Тогда приюты, сиропитательные и воспитательные дома, дома трудолюбия и уі не подобного типа закрытые заведения.

Учреждения социального воспитания на 1914, 1921, 1922 и 1[…] ча[…]

(без Сиб[…]

На какой срок сведения.	Всего населения (в тысячах).	В том числе детей школьного возраста 8—11 л. (шк. I ст.) (в тысячах).	Школы I ст. (низшие начальн. училища). Всего школ.	В них: Учащихся.	% учащихся ко всему населению.	Числен. населения. На 1 школу.	Числен. населения. На 1 учащегося.	Учащихся на 1 учителя.	Детей в возрасте школы II ступени 12 — 16 л. (в тысячах).	Вı[…] нач[…] у[…] Всего школ.
На 1 января 1914 г.	81.500	7.335	62.050	4.186.480	5,1	1.313	19,5	41,1	—	Не […] ле[…]
На 1 января 1921 г.	70.380	8.164	76.052	6.067.383	8,6	925	11,6	33,7	9.572	
На 1 апреля 1922 г.	69.800	8.097	61.340	4.864.335	6,96	1.138	14,3	34,9	9.493	—
На 1 апреля 1923 г.	70.500	8.178	50.357	3.613.844	5,13	1.400	19,5	36,6	9.588	

3.086, а количество детей до 145.560. К 1 апреля 1922 г. на-ряду с тем, как количество школ и учащихся в них сильно сократилось, количество детдомов и детей в них возрастает в 2—2½ раза: 6.469 детдомов с 383.879 детей [1]). Рост этот был вызван обрушившимся на страну голодом и разросшейся до невиданных размеров детской беспризорностью. И даже к 1 апреля 1923 г. мы имеем еще достаточное количество (гораздо больше, чем в 1921 г.) детдомов: 4.377 с 251.141 детей. Что касается дошкольных учреждений, то этот вид учреждений социального воспитания в старое время был развит краïне слабо; можно сказать, что дошкольное дело поставлено сколько-нибудь нормально только при советском строе. Но дошкольные учреждения больше чем какие бы то ни было другие пострадали от превратностей наших дней: к 1 января 1921 г. детских садов и очагов насчитывается 4.069 с 213.071 детей; к 1-му апреля 1922 г. этот род просветительной работы резко снижается: 1.800 детсадов и очагов с 88.595 детей; к 1 апреля 1923 г. мы имеем уже 718 детских садов и очагов с 33.468 детей. Движение, как видим, полное опасности для дошкольной работы. На местах уже установился такой обычай: если надо сокращать, то начинают с дошкольных учреждений. Считая вполне естественным, что закрывается детский сад, когда ставится вопрос о закрытии школы или сада, — Наркомпрос, тем не менее, поставил перед собой задачу сохранить в каждой гу-

[1]) Сюда входят все без исключения детские дома и школьного и дошкольного типа.

я по губерниям центра и автономным областям Европейской Ф.С.Р.

спублик).

...лы II ст. (средн. общеобразовательные учреждения).					Школы-семилетки.				Школы-девятилетки.				Школы опытно-показательные (I и II ст. 7-и 9-летки).			
В них: Учащихся.	°/₀ учащихся ко всему населению.	Число населения. На 1 школу.	Число населения. На 1 учащегося.	Учащихся на 1 учителя.	Всего школ.	В них: Учащихся.	°/₀ учащихся ко всему населению.	Учащихся на 1 учителя.	Всего школ.	В них: Учащихся.	°/₀ учащихся ко всему населению.	Учащихся на 1 учителя.	Всего школ.	В них: Учащихся.	°/₀ учащихся ко всему населению.	Учащихся на 1 учителя.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
407.601	0,58	18.900	173	14,6	(Семилетки и об'ед. школы).				—	—	—	—	В общих итогах			
331.689	0,48	31.400	209	17,5	203	52.085	0,08	26,3	(См. семилетки).				158	22.043	0,03	15,8
290.718	0,41	45.000	243	17,9	498	119.552	0,17	25,2	145	68.522	0,10	22,3	105	16.280	0,02	12,7

бернии минимальное, хотя бы по два на уезд, количество детских садов и очагов. Однако и здесь, в дошкольном разделе, особое положение занимают детские дома: при общем кризисе дошкольных учреждений детские дома дошкольного типа (дома ребенка, дошкольные колонии постоянного типа) проявляют достаточную устойчивость: к 1 апреля 1923 г. таких дошкольных детдомов насчитывалось 1.181 с 34.936 детей.

Обратимся теперь к постановлению Совета Народных Комиссаров от 20 августа 1923 г. о сети учреждений Наркомпроса на 1923/24 год и посмотрим, что в отношении учреждений социального воспитания нам предстоит сделать. Что касается школ I ступени, то Совнарком не ставит в этом году Наркомпросу и местам задачу непременного расширения сети; в течение года все усилия должны быть обращены на укрепление существующей сети. Но уже с 1924—1925 учебного года мы неизбежно встанем перед вопросом о расширении сети этих школ. В отношении школ II ступени Совнарком устанавливает, что развитие сети этих школ должно строго и планомерно сообразоваться с ростом сети школ I ступени. Семилетние школы утверждены Совнаркомом на 1923/24 г. в количестве 866 с 121.700 учащихся; на 1 апреля 1923 г. мы имеем их 498 с 120.000 (с округлением) учащихся. Бросающаяся в глаза разница между количеством семилеток, имеющихся на 1 апреля, и количеством, устанавливаемым Совнаркомом, об'ясняется тем, что в сеть, утвержденную С.Н.К., включено много так называемых об'единенных школ и небольшое количество школ I ступени, тогда как на 1 апреля каждый из этих видов школ учитывался отдельно. Во всяком случае в этой области перед

нами стоят очень несложные задачи. Количество школ-коммун на 1923/24 г. определено С. Н. К. в 178 с 12.100 учащихся. На 1 апреля 1923 г. мы имеем их 189 с 14.000 учащихся—и здесь, следовательно, в текущем учебном году остается сделать немного. Детских домов и постоянных колоний мы должны, по постановлению Совнаркома, иметь 3.407 с 205.000 детей, имеем же мы их 2.936 с 180.515 детей. Местным отделам народного образования предстоит в текущем году развернуть свыше 500 детдомов школьного типа на 25.000 детей. Детских садов и очагов у нас, согласно постановления С.Н.К., должно быть в этом году не менее 882 с 39.700 детей; имеется их у нас на 1 апреля 718 с 33.468 детей; остается развернуть около 160 учреждений на 6—6½ тысяч детей. И, наконец, детских домов дошкольного типа у нас, как мы уже отмечали, имелось на 1 апреля 1.181 с 34.935 детей, а должно быть их 1.311 с 69.500 детей. Тут перед нами довольно большая и нелегкая работа: надо подготовить дома почти еще для такого же количества детей, какое имеется в наших детдомах дошкольного типа теперь.

б) Массовая профессионально-техническая школа.

Обратимся теперь к массовой профессионально-технической школе. Этот вид образования был очень мало развит в старое время; общее отсюда—большой недостаток у нас в хорошо подготовленных квалифицированных рабочих и не менее острый недостаток в опытном среднем техническом персонале. На эту сторону просветительной работы Наркомпросом было обращено самое серьезное внимание, и кой-какие результаты в этом отношении несомненно достигнуты. На 1-ое января 1914 г. в царской России числилось 1.588 массовых профессиональных школ всех типов и всех видов образования с 130.817 учащихся. По не совсем полным сведениям на 1919—20 год мы имели 1.203 учебных заведений с 106.095 учащихся. К 1921 г. мы наблюдаем здесь такой же под'ем, какой мы отметили уже в отношении учреждений социального воспитания: стихийный и фактически ничем не регулируемый рост количества школ и учащихся: в этом году количество массовых профессиональных школ поднялось до 4.283 с 304. 178 учащихся. Но так как эта сеть не могла быть материально закреплена, то к 1922 г. мы имеем уже резкое снижение: 2.058 школ с 212.917 учащихся. Однако в то время как по другим видам народного образования весь 1922 г. может быть отмечен как год наибольших трудностей и максимального сжатия сети—по массовой профтехнической школе мы замечаем к 1 апреля 1923 г. увеличение сети на 20% (с 2.058 до 2.441) и количества учащихся на 14% (с 212.917 до 240.895). С некоторой осторожностью можно, следовательно, отметить, что сеть массовых профтехнических учебных заведений в общем устойчива. Остается задача — постепенно, в меру роста материальных рессурсов государства и мест, эту сеть расширять и повышать ее качественный уровень. Интересно проследить, по каким видам массового профессионального образования достигнуты наиболее ощутительные успехи. Здесь прежде всего обращает на себя внимание сельско-хозяйственное образование: на 1 января

1914 г. числилось 139 сельско-хозяйственных школ с 8.767 учащихся. К 1921 г. сеть этих школ возрастает более чем в 4 раза (до 583), а количество учащихся до 33.472. Нигде, пожалуй, классовая природа политики в области просвещения не сказалась так ясно, как здесь. Царско-помещичий строй не заботился о росте культуры крестьянского хозяйства—наоборот, корни помещичьей власти вырастали из отсталости этого хозяйства; поэтому мы и наблюдаем такую картину, что огромная царская империя, которую населяли 100 миллионов крестьян, имела 139 учебных заведений с 8.767 учащихся для обслуживания нужд этих крестьян. Как только помещичий строй был окончательно низвергнут—крестьянская масса устремляется к сельско-хозяйственному образованию, а советское правительство открывает все возможные пути этому устремлению. Правда, и сельско-хозяйственные школы наши не избегли общей участи—и они пострадали от нашей бедности, и их количество сократилось, в конечном счете, к 1 апреля 1923 г. до 241 с 19.620 учащихся. Но и это дает количество учащихся в 2½ раза более того, что мы имели при царе. Вполне очевидно, что это ни в какой мере не покрывает насущнейших нужд сельского хозяйства, и Совет Народных Комиссаров в своем постановлении 20 августа признает необходимым расширение сети сельско-хозяйственных учебных заведений. По индустриально-техническим школам мы наблюдаем несколько иную картину. На 1 января 1914 г. насчитывалось 431 массовая индустриально-техническая школа с 34.108 учащихся, к 1919—1920 г. мы наблюдаем резкое сокращение сети и количества учащихся—109 школ с 15.678 учащихся; к 1921 г. есть индустриально-технических школ, как и сеть всяких других школ, стихийно развертывается и достигает цифры 982 с 73.457 учащихся; к 1922 г. она опять снижается до 340 с 36.440 учащихся и на 1 апреля 1923 года выражается в количестве 437 школ с 40.866 учащихся. Таким образом в отношении массовой индустриально-технической школы (преимущественно средней) мы стоим теперь почти на том же уровне, что и при царе. Особняком стоят школы по профессиональному образованию рабочих подростков и школы фабрично-заводского ученичества. Этот вид профессионально-технического образования был в особенном загоне при самодержавии: мы имели на 1 января 1914 г. 188 таких учреждений с 7.139 учащихся. К 1919—1920 г. сеть этих учреждений вырастает до 559 с 32.622 учащихся; к 1921 г. она поднимается до 1.467 с 92.017 учащихся; к 1922 г. она падает до 628 с 41.126 учащихся и к 1923 г. еще сокращается до 578 с 37.909 учащихся. Учитывая исключительную важность для восстановления квалифицированной рабочей силы страны этого типа школ, Совет Народных Комиссаров 20 августа признал необходимым в дальнейшем в первую очередь расширять сеть школ фабзавуча с тем, чтобы к 1 сентября 1925 г. эта сеть охватила всех подростков, занятых в производстве. Точно так же Совнарком признал необходимым расширение сети массовых педагогических учебных заведений, развитие сети которых рисуется в таком виде: на 1 января 1914 г. их имелось 288 с 10.919 учащихся; к 1919—20 г. сеть эта снижается до 116 с 8.737 учащихся; к 1921 г. она дает резкое повышение до 308 с 36.502 учащихся; к 1922 г. она сокращается

до 235 с 34.370 учащихся, и, наконец, к 1923 г. она еще снижается—до 226 с 31.011 учащихся. Относительно массовых педагогических учебных заведений можно определенно сказать, что если в ближайшие годы сеть их не будет расширена, то нашей начальной общеобразовательной школе просто не хватит учителей и тогда, помимо всяких других препятствий, задача осуществления всеобщего обучения встанет и перед этим препятствием. На остальных видах массового профтехнического образования можно не останавливаться, так как уже приведенные немногие данные позволяют сделать тот вывод, что в ближайшие годы мы стоим перед весьма важной проблемой непременного расширения сети массовых учебных заведений по всем наиболее существенным отраслям профессионально-технического образования.

в) Наши ВУЗ'ы.

Начнем с цифр. (См. прилагаемую сравнительную таблицу).

Эта таблица дает очень интересную картину развития высшего образования за годы советского строя. Наибольшего развития сеть ВУЗ'ов достигает к 1919—1920 учебному году: только за один год количество ВУЗ'ов возросло с 74 до 164 или на 171%, при чем по отдельным видам образования этот рост выражается так: по общеобразовательным ВУЗ'ам — на 40%, по сельско-хозяйственным—более чем на 200%, по индустриально-техническим—на 200%, по педагогическим—на 150%, по художественным—на 100%. Общее количество учащихся во всех ВУЗ'ах увеличилось за этот год почти на 60%, а против 1914 г. — на 125%. Такой необычайно быстрый рост и количества учебных заведений, и еще больше количества учащихся свидетельствовал не только о размахе просветительной деятельности Советской власти и порыве к знанию со стороны масс, но и о том, что этот рост шел стихийно, вне всякой связи с общим уровнем хозяйственных рессурсов Республики и без учета емкости и вообще подготовленности к такому размаху самих ВУЗ'ов. К 1921 г., хотя общее количество ВУЗ'ов сократилось на 5 (с 164 до 159),—количество учащихся возросло на огромную цифру—с 160.841 до 197.418. Это опять говорит о том, что и в 1921 году развитие сети наших ВУЗ'ов шло стихийно. Что это так, видно хотя бы из того, что в течение этого года количество художественных ВУЗ'ов возросло с 17 до 36 (более чем на 100%). К 1922 г. волна начинает спадать: количество ВУЗ'ов сокращается с 159 до 96, а количество учащихся с 197.418 до 129.730. На этом мы пока остановились. Во всяком случае на 1 апреля 1923 г. мы имели 95 ВУЗ'ов с 133.872 учащихся, и Советом Народных Комиссаров утверждена сеть ВУЗ'ов на 1923 — 1924 учебный год в количестве 96 с общим числом учащихся 136.700.

Наркомпросу и всем заинтересованным в этом деле учреждениям и организациям предстоит еще и еще раз проделать большую и тщательную работу над выяснением действительной минимальной потребности Р.С.Ф.С.Р. в высших учебных заведениях.

Как бы то ни было, ближайшей на ряд лет задачей Наркомпроса является не расширение сети ВУЗ'ов, а ее возможное сокращение с тем, чтобы

остающиеся ВУЗ'ы были лучше оборудованы и снабжены всем необходимым. В последние два приема Наркомпросом были достигнуты большие и важные результаты по пролетаризации высшей школы. К концу 1922—1923 учебного года мы имели в наших ВУЗ'ах такой состав учащихся: рабочих—12,1%, крестьян — 37%, прочих — 50,4%. На всю массу учащихся приходилось членов РКП и членов РКСМ—11,6%. Уже это означало большой сдвиг—если помнить, что в старое время рабочие и крестьяне никакого доступа в высшую школу не имели. Еще более ощутительны результаты последнего приема. Из общего количества студентов, принятых в 1923/24 учебном году в московские ВУЗ'ы, рабочие и их дети составляют 29,4%, крестьяне и их дети—21,9%, интеллигенты, служащие и др.—48,7%. На всю массу принятых в московские ВУЗ'ы студентов мы имеем членов РКП—23,5% и членов РКСМ—17%. По Петрограду этот прием дал: рабочих и их детей—29,7%, крестьян и их детей—28,2%, интеллигенты, служащие и др.—47,1%. Из общего количества принятых по Петрограду осенью в 1923 г. студентов члены и кандидаты РКП составляют 10,0% и члены и кандидаты РКСМ—15,5%. По провинциальным ВУЗ'ам у нас от последнего приема нет еще таких ощутительных результатов в отношении социального состава, но и здесь мы имеем рабочих и их детей—17,2%, крестьян и их детей—29,2% и интеллигентов, служащих и пр.—53,6%, членов РКП—6,9, членов РКСМ—11,9% и беспартийных—81,2%. В общем итоге по всем ВУЗ'ам последний прием дал рабочих и их детей—25%, крестьян и их детей—25% и интеллигентов, служащих и пр.—50% (в круглых цифрах); членов РКП—13,7%, членов РКСМ—14,7% и беспартийных—71,6%. Прием этого года, таким образом, еще более «орабочит» и «окрестьянит» нашу высшую школу. Особенно интересна картина по приему на рабфаки. Рабочие факультеты, эти подготовительные классы для подготовки рабочих в высшие учебные заведения, зародились у нас в 1918—1919 уч. году. Среди буржуазии и мещанства, да и в нашей собственной среде, эта идея встречена была с достаточной дозой скептицизма—до того нова и необычна она была. Опыт четырех-пяти лет блестяще оправдал себя: за идею рабфаков ухватились все местные советские и партийные организации, сеть рабфаков стала расти с невероятной быстротой, места брали на себя обязательства по обеспечению рабфаков в тех случаях, когда это оказывалось не по силам государству; в итоге мы имели к 1922—1923 учебному году 73 рабочих факультетов с 30.688 учащихся. На 1923/24 учебный год Совет Народных Комиссаров утвердил сеть рабфаков в количестве 70, из коих 60 должны содержаться на средства государства, а 10—на местный бюджет. К концу 1922/23 учебного года состав учащихся на рабочих факультетах был такой: рабочих—60%, крестьян—28%, лиц не физического труда — 12%; из всей массы рабфаковцев мы имели членов РКП и РКСМ—47% и беспартийных—53%. Последний прием 1923/24 учебного года дает еще больший процент коммунистов и комсомольцев. Члены РКП составляют по всем рабфакам Р.С.Ф.С.Р. 37% всего приема, члены РКСМ—30% и беспартийные—33%. Вряд ли в широких кругах достаточно отчетливо расценивается значение рабочих факультетов. А между тем, если бы их не было,—у нас не

было бы и пролетаризированной и продолжающей пролетаризироваться высшей школы. Пока что, только рабочие факультеты дают возможность рабочей молодежи готовиться в ВУЗ'ы и только через рабочие факультеты идет практическое завоевание ВУЗ'ов нашей партией. Мы, несомненно, идем к такому положению, когда огромное большинство студенческой массы (если не вся масса) будет рекрутироваться из рабфаковцев.

г) Политико-просветительные учреждения.

Мы сознательно опускаем сеть совпартшкол и коммунистических университетов, так как сеть этих учреждений в общем и целом мало подверглась влиянию переходных условий нэп'а. Точно также мы не касаемся таких учреждений художественной работы, как театры, кино, оркестры, хоры, музыкальные кружки и т. п. Остановимся только на тех политико-просветительных учреждениях, которые ведут массовую, по преимуществу—политическую и общеобразовательную, работу: пункты ликвидации неграмотности, избы-читальни, народные дома, клубы и библиотеки. Нет сомнения, что в ближайшие годы в системе нашей политико-просветительной работы ликвидация неграмотности выдвинется на первое место. По данным последней всероссийской переписи населения, произведенной Центральным Статистическим Управлением 28 августа 1920 года, мы имели на 1.000 душ населения всего 319 грамотных, при чем в отдельности на каждую тысячу душ мужского пола насчитывалось 409 грамотных, а на каждую 1.000 душ женского пола—244 грамотных. По сравнению с 1897 г. (между 1897 и 1920 г.г. всероссийской переписи не было) мы очень мало продвинулись вперед: в 1897 г. насчитывалось 223 грамотных на каждую 1.000 душ населения, а в 1920 — 319. Итак, в наследство от царя мы имели в 1920 г. на каждую 1.000 душ населения 681 неграмотных. По подсчетам Главполитпросвета выходит, что по всему С.С.С.Р. мы насчитываем теперь 27 миллионов неграмотного населения в возрасте от 18 до 35 лет, из коих на долю Р.С.Ф.С.Р. (район деятельности Наркомпроса Р.С.Ф.С.Р.) приходится 17 миллионов. Ликвидация неграмотности — это особый, созданный Советской властью, вид просветительной деятельности, какого не знала старая Россия.

В 1920 году через пункты по ликвидации неграмотности было пропущено 530.318 учащихся, в 1921—780.370 учащихся; в 1922 году мы имели здесь такое же, а пожалуй еще более резкое сужение сети пунктов и количества учащихся, какое мы имели по всем другим видам просветительной работы—количество пунктов по ликвидации неграмотности сокращается до 845, а количество учащихся—до 18.936. Однако решительными и настойчивыми мерами как Наркомпроса, так и губисполкомов, это, если можно так выразиться, паническое отступление на фронте только что развернувшейся войны с неграмотностью удалось скоро приостановить: ликвидация неграмотности вновь поставлена была в порядок дня нашей деятельности не как мимолетное увлечение, а как важнейшая и первостепенная задача, и уже к маю 1923 г. только по 41 губернии насчитывалось 3.330 пунктов и обучено

было в 1923 г., по примерным расчетам Главполитпросвета, около 100.000 учащихся.

Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 14 августа 1923 г. предельным сроком ликвидации неграмотности среди городского и сельского населения определена десятилетняя годовщина Октябрьской революции (7 ноября 1927 г.), при чем ликвидация неграмотности среди организованных в профессиональные союзы рабочих должна быть закончена к 1 мая 1925 г. К 10-летию Октябрьской революции нам предстоит обучить грамоте 17 миллионов населения. Коллегией Наркомпроса утвержден следующий примерный схематический план проведения этой большой кампании. В 1923/24 г. пропускаются через пункты по ликвидации неграмотности 500.000 членов профсоюзов, 900.000 сельского населения и 600.000 допризывников, а всего 2.000.000. В 1924/25 г. кампания охватывает уже 4 миллиона неграмотного населения, из коих на профсоюзы приходится 500.000 и на сельское население 3.500.000. На 1925/26 г. среди организованного пролетариата не остается неграмотных и вся тяжесть работы переносится на сельское население и, кроме того, отчасти охватывается неорганизованное в профсоюзы городское население; в течение этого учебного года через пункты пропускается 7.000.000 сельского населения и 1.000.000 городского и, наконец, в 1926/27 г. пропускается 2.000.000 сельского населении и 1.000.000 городского. В общем итоге нам предстоит обучить грамоте 1.000.000 членов профсоюзов, 2.000.000 неорганизованного в профсоюзы городского населения и 13.400.000 сельского населения. На 1923/24 учебный год мы должны иметь 17.000 пунктов по ликвидации неграмотности. Следовательно, в текущем учебном году нам предстоит развернуть около 11.000 ликпунктов. Посмотрим теперь, в какой мере сеть наших других политпросветучреждений соответствует требованиям постановления Совета Народных Комиссаров от 20 августа 1923 г. На 1 апреля 1923 г. у нас насчитывалось (по неполным сведениям) 672 школы для малограмотных, а должно быть их 5.800; таким образом, как видим, предстоит выдержать большое напряжение. Школ для взрослых было на 1 апреля 1923 г. 255, а должно их быть 400; народных домов и клубов должно быть 3.100, — это вполне покрывается наличной сетью этих учреждений. В отношении библиотек Совнарком постановил довести сеть их к 1 сентября 1925 г. до 11.000; на 1 апреля 1923 г. мы имели: постоянных библиотек 7.606 и передвижных 3.690. Если признать, что здесь допущено некоторое преувеличение против действительности, то и тогда поставленное нам Совнаркомом требование может быть выполнено силами мест в двухгодичный срок без особого напряжения. Что касается изб-читален, то, по несколько преувеличенным данным, их у нас к 1 апреля 1923 г. было 7.010; к 1 сентября 1925 г. их должно быть 9.000. И здесь больших трудностей как будто не предвидится. Все сказанное приводит нас к выводу, что центр нашего внимания, средств и сил должен быть, таким образом, перенесен на кампанию по ликвидации неграмотности.

III. Какова наша начальная школа и каков народный учитель.

В широких кругах не только наших врагов, но часто и наших друзей, установился примерно такой взгляд на состояние народного образования в Советской республике: в школе нет порядка—ни внутреннего, ни внешнего; учащиеся и школьные работники крайне неаккуратно посещают школы и никогда нельзя сказать, в какой день какие будут вестись в данной школе занятия и будут ли они вообще вестись; школьные помещения не отапливаются и не отремонтированы, учебников нет; учитель, если и ведет занятия, то по старым шаблонам, вне всякого соответствия с требованиями, какие пред'являет новая обстановка; учитель—по-прежнему враг пролетарской диктатуры и никогда не примирится с нею и т. д.

Как же в самом деле живет наша школа?

В течение истекшего учебного года мы заслушали в Наркомпросе доклады 45 заведующих губернскими отделами народного образования. Инспектора и инструктора Наркомпроса по одному-два, а иногда и три раза посетили губернии и автономные области. Мы уже и в новом учебном году заслушали некоторых заведующих губернскими отделами народного образования и посетили некоторые губернии и области. И общий вывод от всех этих докладов, посещений, обследований и т. п. один—жизнь нашей школы вошла в более или менее нормальное русло. В значительной части губерний ремонтная кампания прошла довольно сносно и школы отремонтированы, по крайней мере—в главном и основном,—где за счет местного бюджета, где помощью самого населения. Топливом школы были обеспечены в истекшем году и уже обеспечены в новом году почти во всех губерниях, при чем в селах это достигнуто своего рода «добровольной повинностью» самого крестьянства, в городах—средствами бюджета и отчасти самообложением родителей учащихся и на промышленных предприятиях—за счет предприятий. Посещаемость учащихся в истекшем году уже достигла уровня обычной, дореволюционной нормы; школьный работник, при всей своей нужде и необеспеченности, вновь целиком вошел в школьную работу. Такова внешняя оболочка жизни наших просветительных учреждений. И если бы нас интересовала только эта внешняя, казенная сторона дела, то мы могли бы сказать, что все обстоит благополучно и на этом почить. Но не это или, точнее, не только это мы спрашиваем от нашей с о в е т с к о й ш к о л ы. Основной вопрос, на который требуется дать ответ, это—к а к живет наша школа и стоит ли она на высоте требований эпохи, переживаемой нашей страной. Не будем закрывать глаз на то, что есть: до последнего времени наша школа была, по крайней мере, наполовину—школой учебы. В отношении программ преподавания у нас царствовал самый подлинный первозданный хаос. В одних губерниях за основу брались программы Наркомпроса 1918—1919 и 1920 г. г. В других—отделы народного образования составляли свои собственные, от начала до конца, программы. Все эти программы, в том числе и наркомпросов-

ские, были крайне несовершенны, а пестрота их приводила к тому, что фактически никакого сколько-нибудь одинакового для всех районов республики обязательного минимума знаний введено не было и в этом отношении мы переживали самый доподлинный удельно-вечевой период. А так как школьный работник обычно оказывался мало подготовленным к усвоению хотя бы этих программ, все же рассчитанные на новые условия и требовавших новых методов преподавания, — то он обычно двигался по линии наименьшего сопротивления, — он сочинял свою собственную программу или, еще лучше, обращался к столь привычной старине — к программе достопочтенной памяти министерства народного просвещения. То же — в отношении учета педагогической работы и проверки знаний учащихся. Выставки работ учащихся, конференции, экскурсии, рефераты, кружки, собеседования — все это оказалось для старого, забитого и заброшенного в деревенские уголки учителя таким тяжелым и непривычным делом, что он и здесь обратился к привычной старине—к балльной системе, к отметкам, к экзаменам. Очень интересные данные по этому предмету сообщают некоторые губернии. Из Пермской губернии сообщают: «В школах II ступени были заметны уклоны в сторону восстановления методов проверки, аналогичных экзаменам и близких к ним». Из Псковской губ.: «Циркуляр Наркомпроса о формах учета знаний учащихся остался большей частью неприемлемым; педагоги употребляют более знакомые и обычные формы». Из Царицынской губ.: «Часто встречаются табели с обозначением «неуспешно» и «успешно». Из Иваново-Вознесенской губ.: «Ежедневное опрашивание учащихся и оценка ответов: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Из Екатеринбургской губ.: «В школах существуют обычное выспрашивание уроков, письменные поверочные работы, а в школах II ступени — зачеты». Из Саратовской губ.: «В школах II ступени привита зачетная система: введены зачетные книжки с отметками: «сдал» и «не сдал» и т. п. Это старое проникло не только в сельскую школу, но и в городскую и даже кой-где в школы Москвы. Вся эта совокупность фактов и элементов и дала то, что мы в истекшем году называли школьной реакцией.

Сильна ли была эта реакция, сознательно ли она поддерживалась нашим учительством и какие действительные причины ее? Уже из приведенных выше выдержек из отчетов только некоторых губерний видно, что поворот в сторону старого был довольно силен и охватил значительную периферию школьных работников. Нет сомнения, что и в текущем учебном году нам придется иметь дело с этим явлением, хотя после так успешно проведенной летней кампании по переподготовке оно вряд ли получит такое распространение. На основании того же опыта кампании по переподготовке можно без всяких колебаний утверждать, что со стороны массового учителя не было никакого, сознательного, заранее осмысленного и из принципиальной вражды исходящего сопротивления нашей работе по радикальной перестройке школы. Учитель не саботировал, он просто оказался не подготовленным к той огромной и ответственной работе, какая сразу на него была взвалена, он оказался неспособным воспринять и переварить

массу новых идей, что называется, обрушившихся на него. Это была не вина учителя; а его беда и его несчастье.

Было бы недостойно нашего дела скрывать, что и мы сами за истекшие годы очень мало сделали для действительной, сверху до низу, перестройки внутренней жизни нашей школы. Сначала мы были охвачены стихийным ростом просветительных учреждений, постановкой новых задач лишь в самых общих чертах, по сути дела — это было только бросание новых лозунгов в просветительном деле. Все это делалось в обстановке крайней бедности, отсутствия соответствующих учебных пособий и совершенной необеспеченности школьного работника. Затем выдвигается на первое место борьба за материальную базу, за копейку. Это отнимает 1½ — 2 последних года. И только теперь, хотя материальная наша основа продолжает оставаться еще крайне шаткой, мы все больше и больше переносим центр нашей работы в сторону методического руководства жизнью и деятельностью десятков тысяч наших учреждений и тщательной и углубленной проработки целого ряда отсюда вытекающих проблем. В ряду этих проблем заслуживают быть выдвинутыми и особо отмеченными две: составление новых программ для единой трудовой школы (I и II ступ.) и переподготовка учительства. Разработка новых программ сопряжена была с целым рядом трудностей, проистекающих от того, что слишком мало у нас квалифицированных и теоретически высоко стоящих педагогов-коммунистов, а без педагогов-коммунистов построить новые программы, которые отвечали бы духу нашего советского строя,—дело почти невозможное. Отсюда—крайняя медленность этой работы, вызывавшая столь справедливые нарекания со стороны наших работников на местах. Теперь можно сказать, что с места мы сдвинулись. Мы имеем уже утверждение Коллегией Наркомпроса схемы программ для всех групп I и II ступ. и уже вышедшие из печати самые программы для первого и второго г.г. школы I ступени и первого года школы II ступени. Чтобы составить себе представление о характере новых программ, приведем хотя бы коротенькую схему программы школ I ступени (первые четыре года обучения). (См. таблицу на стр. 159).

Уже эта схема показывает с достаточной наглядностью, что новые наши програмы принципиально в корне отличаются от того, что до сих пор, по старой привычке от времен министерства народного просвещения, понималось под программами. Все мертвое, нудное и отвлеченное беспощадно из этих программ изгнано; программы построены на принципе изучения и познания природы, труда и общества, при чем за исходное берется конкретный материал знакомого и понятного и учащим и учащимся данного района, его природа, его экономика, его быт. В программах учтены психические особенности различных возрастных групп учащихся. Программы начинают от близкого, окружающего ребенка непосредственно (от семьи, от школы, от своей деревни, квартала) и переходят к далекому — к миру; начинают от простого и постепенно переходят к сложному. С начала до конца они проникнуты единством идеи и пронизаны материалистическим мировоззрением. В то же время программы не оставляют без внимания и

	Природа и человек.	Труд.	Общество.
1	Времена года.	Непосредственно окружающая трудовая жизнь семьи деревенской и городской.	Семья и школа.
2	Воздух, вода, почва. Окружающие человека культурные растения и животные и уход за ними.	Трудовая жизнь деревни или городского квартала, где живет ребенок.	Общественные учреждения деревни и города.
3	Элементарные наблюдения (сведения) по физике и химии. Природа местного края. Жизнь человеческого тела.	Хозяйство местного края.	Губернские (областные) общественные учреждения. Картины прошлого своей страны.
4	География России и других стран. Жизнь человеческого тела.	Государственное хозяйство Р.С.Ф.С.Р. и других стран.	Государственный строй России и других стран. Картинки прошлого человечества.

формальных знаний и навыков, которые должны быть получены в школе учащимися (письмо, счет, развитие языка и т. п.).

Новые программы являются большим достижением педагогической мысли и педагогического дела в нашей стране. И если бы нам удалось в кратчайший срок внедрить их в нашу школьную жизнь — мы могли бы тогда порадоваться большой победой на фронте просвещения. Однако это сделать не так легко и тут надо запастись большим терпением — нет у нас еще достаточно подготовленного для этих программ школьного работника. Наркомпрос учитывает эти затруднения и представляет себе примерно такой порядок применения новых программ: в течение 1923/24 учебного года губернские методические советы (бюро, комиссии и т. п.) ведут проработку новых програм на основе местного материала, наполняют их более точным местным содержанием, разрабатывают методы их осуществления; при этом во всей этой работе обязательно учитывается мнение широких кругов учительства, программы предварительно обсуждаются на конференциях волостных и уездных, прорабатываются в кружках и т. п.; возможна постановка опыта их осуществления в 1923/24 году в отдельных школах губернии. С 1924/25 учебного года новые программы вводятся как обязательные в первых группах всех школ I ступени и школ II ступени. Введение полностью новых программ во всех группах школ I ступени можно ожидать лишь через пять учебных лет и во всех группах школ II ступени через шесть учебных лет.

В то же самое время принимаются все необходимые меры для подготовки учителя к новым программам. Эта работа по подготовке идет в двух направлениях: с одной стороны, наши педагогические ВУЗ'ы и педагогические техникумы выпускают новые кадры учительства, прошедшего уже совет-

скую школу, получившего педагогическую подготовку в н а ш е м духе, одним словом—н а ш е г о у ч и т е л ь с т в а. Но одного этого учительства пока что недостаточно не только для того, чтобы заменить собою все старое учительство, но и для того, чтобы заполнять новые места, и его будет уже совсем недостаточно, когда расширение сети пред'явит требования на массы школьных работников. Так совершенно естественно и во весь рост встает вопрос о работе над тем 100 — 125-тысячным учительским материалом, который мы получили в наследство от старого строя.

Что представляет из себя этот учитель или, точнее, чем он был до сих пор и что он есть теперь, в осень и зиму 1923 г.? Прежде всего, в отношении педагогической и общегосударственной квалификации старый массовый учитель, как общее правило, стоял очень невысоко. Без большого риска впасть в ошибку можно считать, что из всей массы школьных работников I ступени не менее 50% получили низшее образование. Что касается политической подготовки массового школьного работника, то она рисуется примерно в таком виде. Учитель, особенно сельский, был забит и придавлен своими «соседями» и начальством: помещиком, земским начальником, приставом, урядником, попом, инспектором народных училищ. Такое окружение давало свои результаты: оторванный от какой бы то ни было общественной жизни, учитель превращался в маленького чиновника, умеренного и аккуратного, всего боящегося, перед всем дрожащего, одним словом, в «человека в футляре». И, как редкое исключение, можно было встретиться с таким местом, где школа и школьный работник являлись центром общественной жизни села или района. Вообще же идеологически над деревней господствовал поп. Он был тем самым передаточным механизмом, через который самодержавный строй пытался осуществить «смычку» с крестьянством. Итак, в революцию мы вошли с учителем слабо подготовленным в общеобразовательном и педагогическом отношении и забитым и придавленным политически. Что странного в том, что, как только самодержавие было низвергнуто, этот учитель потоком хлынул туда, куда шли многие другие, придавленные полицейщиной и азиатчиной, куда хлынули массы мещанства, крестьянства, городской интеллигенции и мелкого чиновничества. Все эти социальные слои пошли за партией эс-эров, которая обещала им «равенство всех перед законом», «свободу, равную для всех» и т. п. хорошие вещи. Социалистическая революция и диктатура пролетариата казались тогда массовому учителю книгой за семью печатями, чем-то далеким, отвлеченным, непонятным, посторонним. С него было пока достаточно и того, что он освободился от диктатуры пристава и урядника и стал, по крайней мере, рядом с попом (ведь при Керенском идеологическое господство попа ни в малейшей мере не было поколеблено). И вдруг на него, не успевшего еще насладиться режимом «свободы, равенства и братства», обрушивается Октябрь 1917 года. Так массовый просвещенский работник, правильно понятые интересы которого должны были бы толкнуть его на сторону пролетарской революции, — обращается против этой революции. Однако такое настроение учительской массы не могло не быть только временным. Советская власть, сломившая

сопротивление противников на фронтах и в области государственного управления, победила и на фронте просвещения. Постепенно и понемногу учительская масса стала приходить к сознанию, что диктатура пролетариата вовсе не означает диктатуру невежества, что рабочее государство не только не гонит культуру, но самым настоящим образом, так, как до сих пор не было, ее строит, что в культурное движение втянуты миллионы рабочих и крестьян, что на его, учителя, глазах растет и создается новая интеллигенция, подлинно народная, из рабочих и крестьян. И он понял, что, либо ему, до сих пор всегда забитому и униженному, надо окончательно перейти на сторону врагов рабоче-крестьянской страны, либо также окончательно слиться с властью рабочего класса. Выбор определился сам собою. Но учитель понял также и то, что при старых запасах идей и знаний, какие он накопил при царе, ему не справиться с запросами, пред'являемыми теперь к учителю и учащимися детьми, и подрастающей молодежью, и крестьянским населением. Отсюда—такая тяга массового просвещенца к так называемой переподготовке, к повышению своей педагогической и политической квалификации. По настоящему к этому делу переподготовки мы подошли только в текущем году и, главным образом, летом. Но уже истекшей зимой (1922—1923 г.г.) в Республике работало свыше 1.000 кружков (по сведениям Ц. К. Союза работников просвещения — до 2.000) по самообразованию учителей с количеством до 20.000 работников социального воспитания. Однако эта форма работы по повышению знаний учительской массы доступна была только городским работникам по причинам прежде всего физического характера; в деревне осуществить такую систему просто невозможно за разбросанностью школ по большому радиусу. Единственно мыслимой системой работы по переподготовке для деревни должны были оказаться не кружки самообразования, а курсы и конференции губернские, уездные и волостные. С некоторым удовлетворением можно констатировать, что первый опыт летней кампании по переподготовке прошел в общем удачно. Учительская масса охвачена была таким под'емом и энтузиазмом, какого мы еще никогда у нее не наблюдали. Интерес к курсам и конференциям был настолько велик, что в некоторых местах (Владимирская губерния) сельские учителя, не надеясь на то, что на курсах их будут кормить, являлись с котомками сухарей за плечами. В Донской области мы знаем случаи, когда школьные работники, не имея никаких средств на передвижение, приходили в Ростов н/Д пешком за 120 — 150 верст. Были, наконец, случаи, когда сами школьные работники за счет своих грошевых рессурсов организовывали курсы и конференции, когда это оказывалось не по силам отделам народного образования. В итоге не менее 30% всех работников социального воспитания, главным образом — из деревни, втянуты были в эту кампанию. Занятия курсов и конференций, конечно, не всюду проходили в одинаковой степени продуктивно, не везде держались одних и тех же планов и програм. Но все эти дефекты и пробелы не так трудно преодолеть. Главное — в том, что школьный работник сдвинулся с места. Как сообщают отовсюду, с особен-

ным успехом проходили занятия по дисциплинам общественно-политического характера. Учителя буквально глотали каждое слово о коммунизме, о религии, о советском строе, о рабочем движении, о революции и т. п.

«Курсы нас зарядили, дали толчок, который будет передан всему массовому учительству», — говорит один курсант тверских губернских курсов («Тверская Правда» № 155 от 17/VII — 1923 г.).

«Курсы дали нам ключ, который поможет открыть двери будущей трудовой коммунистической школы»,—говорит другой курсант в той же газете.

«Курсы дали мощный толчок к выработке марксистского направления, заинтересовали общественно-политическими вопросами, заставили на многое смотреть другими глазами», — отвечает анкета псковских губернских курсов.

Из Перми сообщают, что при организации там весной курсов по переподготовке, работники просвещения требовали в первую очередь занятий по истории развития хозяйственных форм и историческому материализму.

Инструктор Наркомпроса, посетивший Витебскую губернию, констатирует ряд достижений в смысле заинтересованности учителей вопросами политики и современности. Учителя буквально зачитывались газетами и на последние гроши приобретали брошюры и книги социально-политического содержания. На губернских и четырех уездных педагогических курсах учителями был прочитан и самостоятельно разработан ряд докладов и рефератов на общественно-политические темы.

В Ростове н/Д на собрании учителей, с'ехавшихся на курсы по переподготовке, один из учителей говорил: «Политико-методические курсы открыли учительству глаза на все стороны государственной и общественной жизни. Учителю удалось осознать свою роль как педагога-общественника. Учитель стал теперь смелым, он уже не прежнее забитое существо, он теперь проникает и в партком и в союз молодежи и рука об руку будет с ними работать. Учитель в деревне теперь должен быть учителем не только детей, но и взрослых, всего общества».

Буквально отовсюду приходят вести о политическом сдвиге учительства, о его определенном сочувствии нашей партии и даже о тяге в партию. В том же Ростове н/Д в помещении Донского Комитета Р.К.П. хранится знамя, поднесенное Донскому Комитету от имени 969 учителей. Секретари новочеркасского и морозовского окружных парткомов Донской области в своих отзывах о настроениях учительства говорят, что учительство стало советским. На витебских губернских курсах группа учителей до 20 человек возбудили ходатайство о приеме их в партию. На коломенских (Москов. губ.) курсах учителя организовали ячейки сочувствующих в 30 человек. В Баумановском районе (Москва) учителя также выразили желание организовать ячейку сочувствующих. Им было указано, что такого института в Р.К.П. не существует. Пришлось ограничиться несколькими беседами об обязанностях членов партии, о задачах партии и т. п. Из 270 учителей, работавших при губсовпартшколе, 175 человек из'явили желание вступить в ряды коммуни-

стической партии[1]). Такая же картина наблюдалась в Речице Гомельской губ. Здесь значительная группа учителей, собравшихся на курсы, обратилась в уездный комитет партии с коллективным заявлением, в котором между прочим писали: «Видя беспримерные усилия, прилагаемые Советской властью и ее руководящим органом Р.К.П. в деле просвещения народных масс, видя горячее стремление Советской власти пробудить к жизни деревню, усыпленную долгими годами самодержавия и вековым помещичьим гнетом, мы, школьные работники, не можем остаться безразличными в этой титанической борьбе. Мы, работники деревни, прекрасно знаем, в какой темноте, в каком невежестве пребывает крестьянство, сердце каждого из нас сжимается при виде пахаря, коснеющего в самом ужасном невежестве. Расшевелить, поднять его самосознание, научить его отрешиться от домостроевского уклада семейного быта, научить его пользоваться последними научными данными при ведении сельского хозяйства, — вот великая задача и правительства и всех культурных сил Республики». В заключение учителя просят открыть им доступ в ряды партии. «У нас, — пишут они, — нет никаких рекомендаций, кроме бескорыстности и честности наших побуждений вступить в ряды Р.К.П.». Следует 25 подписей[2]).

Таковы факты. Не будем, однако, увлекаться. Все, что мы сделали истекшим летом, это только маленькая частичка огромной работы, которую нам предстоит проделать. Надо использовать наступающие зимние вакации, а главное, надо готовиться к будущей летней кампании. Мы должны стремиться к такому положению, когда ни один нуждающийся в переподготовке учитель не останется за бортом наших курсов и конференций. И эта наша работа должна быть не случайной, не временной и мимолетной кампанией, а важнейшим составным и постоянным элементом нашей просвещенской деятельности. И тогда мы действительно поднимем учителя на ту высоту, о которой писал в своих «Страничках из дневника» Вл. Ильич Ленин. И тогда учитель естественно по праву займет место центральной общественной фигуры в деревне, он станет ближайшим помощником и советчиком крестьянина и надежнейшим проводником наших идей в толщу деревенской массы. И тогда он окончательно победит попа. Но это будет уже не только победой учителя над попом, но и победой коммунизма над косностью, отсталостью и предрассудками деревни.

К шестой годовщине Октябрьской революции мы, следовательно, имеем на своей стороне массового народного учителя. Это одно — уже такая победа на фронте просвещения, что если бы во всем остальном мы имели одни только неудачи и поражения, то и тогда у нас были бы все основания достаточно бодро смотреть на будущее. А ведь у нас не только поражения и неудачи. Стоит только поближе и внимательнее присмотреться к лицу нашей массовой школы, чтобы видеть, что и здесь нами достигнуты кой-

[1]) „Правда“ от 21 сент. 1923 г. „Переподготовка учителей в Московской губернии“.
[2]) „Правда“ от 11 сент. 1923 г. „На переломе“.

какие успехи. Внутренняя жизнь массовой школы перестроилась сверху донизу, дети и подрастающая молодежь втянуты в водоворот советской и коммунистической общественности, они наши если не целиком, то на три четверти; мы, незаметно для себя, уже завоевали этот детский мер. А ведь завоевание такого мира стоит, пожалуй, любой военной победы. Здесь, в массовой начальной школе, вырабатываются будущие работники и защитники социализма, здесь советский режим обретает такую идеологическую базу и такие человеческие рессурсы, что, право же, можно не впадать в уныние. Но и тут, однако, не надо *переоценивать достигнутых результатов*. Не надо забывать, что эти успехи мы имеем пока что почти исключительно в городской школе, на фабрике, на руднике и на железной дороге. В деревню мы, собственно, еще и не заглядывали. Двинуться в деревню на помощь сельскому учителю, закрепить несомненно советское настроение школьного работника реальной помощью сельской школе, продвинуть в деревенскую школу новый советский учебник и время от времени направлять туда более или менее подготовленных и понимающих деревню политических и педагогических работников, поддерживать в учителе пробудившийся в нем интерес к н а ш и м идеям, к н а ш е й постановке школьных проблем — вот какие задачи стоят перед нами. И когда мы эти задачи, если не разрешим, то. по крайней мере, н а ч н е м по-настоящему разрешать, тогда только мы сможем сказать, что наше дело абсолютно прочно.

Необходимо еще остановиться в нескольких словах на состоянии просвещения среди народностей нерусского языка, населяющих территорию Р.С.Ф.С.Р. (исключая автономные республики). На этой территории живет до 25 миллионов такого населения. Многие из этих народов только Октябрьской революцией и Советской властью призваны к жизни, и только теперь создаются условия для постановки среди них дела народного просвещения. Но строить эту работу приходится буквально на пустом месте: нет у этих народов педагогического персонала, нет учебников, нет помещений. Вот несколько фактов. В автономной Калмыцкой области грамотность среди калмыцкого населения ниже одного процента. До минувшего лета не было выпущено ни одного учебника на калмыцком языке, нет даже калмыцкого букваря. Из 240 учителей области только 63 калмыка (при чем почти все— с низшим образованием), остальные—русские. Понятно, почему и преподавание в школах здесь ведется на русском языке, хотя этот язык мало понятен для детей калмыков. В автономной Марийской области грамотных марийцев-мужчин 10%, женщин — 2%; среди педагогического персонала марийцы составляют меньшинство. И здесь преподавание ведется зачастую на русском языке, хотя этот язык многим детям мари совершенно непонятен. В Зырянской автономной области не менее безотрадная картина: национальной литературы и учебников нет, большинство работников просвещения не имеет никакого образовательного стажа, до 40% школьных работников—русские, не знающие зырянского языка. Так же плохо обстояло дело до последнего времени и в таких областях, где, казалось бы, можно было ожидать другого, например, в Немкоммуне.

В самое последнее время наметился некоторый сдвиг в отношении снабжения маломощных и культурно-отсталых областей и районов учебниками и литературой. Наркомпросом, после долгой борьбы, изысканы небольшие средства на это дело и сданы в печать учебники на тюркском, мордовском, немецком и даже калмыцком языках. Но все это только первый шаг и притом пока что только со стороны Наркомпроса. Со стороны же руководящих органов областей и губерний продолжает проявляться к делу просвещения национальных меньшинств недопустимо халатное отношение.

А затем—развитие сети школ нерусского языка, постройка этих школ, подготовка учителя—все это такие огромные и в то же время неотложные задачи, что только самым решительным натиском на этом участке нашего просвещенского фронта мы сможем добиться каких-нибудь результатов в более или менее непродолжительном времени.

* *
*

Подведем итоги всему сказанному.

Общая линия развития просветительной работы в нашей Республике за истекшие шесть лет может быть в общем выражена в таком виде.

Первый этап. Октябрьское восстание раскрепостило широкие массы трудящихся и открыло им путь к образованию. Рабочие и крестьяне сплошным потоком устремились к знанию, и сеть просветительных учреждений в первые годы советского строя развертывалась с невероятной быстротой, стихийно, вне всякого соответствия с материальными рессурсами хозяйственно разоренной страны. Советское государство и коммунистическая партия бросали *в массы трудящихся новые лозунги, намечались только в общих чертах* новые программы, ставились только первые вехи, некогда было заниматься тщательной методической проработкой целого ряда проблем. Эта была черновая работа по разрушению старого и по постройке нового, которая больше выражалась в количестве, чем в качестве.

Второй этап. Переход от военного коммунизма к новым формам хозяйствования вскрывает всю шаткость материального фундамента народного просвещения и всю непрочность успехов, которые были достигнуты только энтузиазмом масс, но не могли быть закреплены. Начинается резкое, моментами паническое сокращение *сети, с одной стороны, и в то же время начинается наша борьба за материальную базу*—с другой. Этот этап длится уже около двух лет и едва ли закончится в ближайший год.

Третий этап. Однако уже и теперь, несмотря на все материальные трудности, представляется совершенно необходимым передвинуть центр тяжести нашей работы в сторону м е т о д и ч е с к о г о руководства деятельностью наших отделов народного образования и всей массы наших просветительных учреждений. Такой сдвиг в работе Наркомпроса наметился уже много месяцев тому назад, но с каждым месяцем он получает все более определенное и более актуальное выражение. *Наша задача сводится к тому, чтобы мы своими ру-*

ководящими коммунистическими идеями действительно пронизали весь сложный и крайне разветвленный организм народного просвещения страны.

Какие же очередные, наиболее важные и притом наиболее реальные задачи стоят перед советским государством в ближайшие годы в области народного образования?

Осуществить заветы Владимира Ильича Ленина — покончить с безграмотностью. В переводе на конкретный язык это означает, что вся работа Наркомпроса и его местных органов должна быть поставлена на службу двум проблемам: осуществлению всеобщего обучения в десятилетний срок и ликвидации неграмотности среди подростков и взрослого населения к десятилетию Октябрьской революции. Вот—главное и основное, что должно отнять все наши силы. Но это главное и основное тесно и неразрывно связано с учителем, с поднятием его жизненного уровня, с расширением его политического и педагогического кругозора. Это—тоже один из заветов Владимира Ильича.

Рядом с этим идет наша работа среди рабочей и крестьянской молодежи. В отношении рабочей молодежи формы и линия работы ясны—укреплять и расширять сеть школ фабрично-заводского ученичества с таким расчетом, чтобы в самый короткий срок эта сеть охватила всю рабочую молодежь поголовно. В отношении крестьянской молодежи намечается новая, уже признанная Коллегией Наркомпроса, школа крестьянской молодежи, приближающаяся по об'ему даваемых ею знаний к школе 2-ой ступени (без последних двух лет), но с совершенно определенным уклоном в сторону сельского хозяйства. Из этой школы должен выходить крестьянский юноша с запасом как общих, так и специально сельско-хозяйственных знаний. Этой школы крестьянской молодежи еще нет. Но уже заранее можно предсказать ее исключительное значение для деревни, которая пока что дальше 1-ой ступени почти нигде не двинулась и для которой школа крестьянской молодежи может стать важнейшим культурным фактором.

Далее, перед нами стоит сериозная проблема развития в ближайшие годы массового профтехнического образования и в первую голову—сельскохозяйственных и педагогических учебных заведений.

Что касается нашей высшей школы, то нам предстоит еще раз тщательно просмотреть сеть высших учебных заведений, с тем, чтобы каждое из остающихся в сети учебных заведений было материально усилено и подкреплено. Линия на пролетаризацию ВУЗ'ов должна продолжаться с прежней энергией. А это, в свою очередь, связано с усилением и укреплением наших рабфаков, все значение которых настолько очевидно, что вряд ли требуется доказывать, почему этот, только советской стране свойственный, тип учебного заведения должен быть предметом нашего постоянного внимания.

И, наконец, самая напряженная работа среди народностей нерусского языка.

Вот в общих чертах простейшие задачи, стоящие перед нами в области народного образования. Не будем вымучивать другие задачи. Их, конечно, имеется много, а при желании их можно найти еще больше. Но если бы мы

стали распылять свое внимание, свои силы и свои средства на тысячи и тысячи всяких других вопросов и задач—мы прозевали бы самое главное и основное и притом самое ясное и простое.

А это ясное и простое сводится к тому, что у нас все еще 17 миллионов безграмотного взрослого населения и что 50% детей школьного возраста у нас находятся за бортом школы.

Что можно прибавить к этим двум цифрам?

Курс лекций по историческому материализму.

Аналогический метод в социологии.

Л. Аксельрод (Ортодокс).

Итак, общество сходствует с организмом. Восстановим теперь для целостности общего представления главные моменты этого сходства и различия. Пунктов сходства, которые утверждаются Спенсером, четыре. Во-первых, как живые организмы, так и общества, возникая посредством соединения незначительного числа частей, постепенно так увеличиваются в об'еме, что некоторые из них достигают размера в десять тысяч раз более первоначального. Во-вторых, и те и другие развиваются по одному типу, переходя от простого к сложному. В-третьих, и в тех, и в других постепенно развивается, растет и крепнет взаимная зависимость частей, достигая такой степени, что жизнь и деятельность каждой части обусловливается жизнью и деятельностью остальных частей. В-четвертых, элементы организма, а также элементы общества рождаются, совершают свое развитие, действуют и умирают каждый сам по себе, между тем, как целое продолжает жить и переживать одно поколение элементов за другим. Эти пункты сходства представляются Спенсеру чрезвычайно важными, тогда как, наоборот, пункты различия не имеют, на его взгляд, серьезного решающего значения. Пунктов различия также четыре. Во-первых, организмы имеют определенные внешние конкретные формы, тогда как общества их лишены. Но это различие сглаживается, с точки зрения Спенсера, как неопределенностью некоторых низших животных, так и тем фактом, более общего характера, что внешние формы как организмов, так и обществ «зависят от окружающих условий». (Не лишнее будет заметить, что этот факт уж слишком общий, выходящий за пределы данного сравнения, так как внешняя форма и неорганических тел точно так же зависит от окружающих условий.) Во-вторых, живые элементы общества не образуют такой сплошной массы, какой является живая ткань организма. Но это различие стирается и собственно не существует, потому что как организмы развиваются из неорганизованного вещества, в котором рассеяны организованные точки, так члены общественно-политического тела физически отделены друг от друга промежутками не пустого мертвого пространства, а занимаемого фауной и флорой, т.-е. живыми элементами низ-

шего разряда, а это низшая форма жизни должна быть включена в понятие социального организма, так как от нее зависит существование человечества. Далее, живые элементы организма большей частью неподвижны, в то время как элементы социального организма способны к передвижению. И это различие лишь поверхностное, — утверждает Спенсер. Ибо, как социологические единицы, выполняющие определенную функцию, люди, собственно говоря, также неподвижны. Сельский хозяин, мануфактурист и т. д. прикреплены, по существу, к тому определенному месту, где они функционируют, а если отлучаются временно или навсегда, то находится заместитель. Так что, с точки зрения социальной, указанное различие совершенно исчезает. Ведь ясно, что все равно Петр или Иван выполняет данную определенную функцию, прикрепленную к данному определенному месту. Наиболее значительным является, как мы это видели в предыдущем очерке, четвертый пункт различия, гласящий, что «в теле животного только известный род тканей одарен чувствительностью, в обществе же все члены одарены ею». Но и этот пункт различия Спенсер старается сгладить, с одной стороны, тем, что в некоторых низших животных, не имеющих нервной системы, обладаемая ими чувствительность распределяется одинаково на все части, а с другой стороны, указанием на парламент, как на высшее чувствилище общественно-политического тела. Несмотря, однако, на стремление смягчить и это различие, Спенсер считает его важным и значительным и, в конце концов, сам строит на нем свой буржуазный индивидуализм.

Означенные четыре пункта сходства общества с живым телом делают возможным для Спенсера установление законов общественно-исторического развития.

Подобно тому, как в области органической жизни, в жизни социально-политической, или, как Спенсер ее называет, надорганической, действуют законы дифференциации и интеграции. Общественно-историческое развитие совершало свой путь, переходя от простого и однородного к все более и более сложному и разнородному. Как первый, так и второй закон Спенсер устанавливает на основании огромного количества фактов, тщательно собранных из жизни всех эпох, народов и различных областей. Большой этнологический материал свидетельствует о простоте, несложности и однородности жизни первобытных человеческих групп. Дифференциация и разветвление первоначального однородного состояния обусловливается преимущественно процессом разделения труда.

Рядом и в теснейшей зависимости от процесса дифференциации совершается противоположный процесс интеграции. В дифференцированном обществе мы видим постоянное суммирование определенных функций общественных групп, социальных и государственных функций, создание и развитие научных областей , имеющих своей основой объединение и группировку однородных предметов, развитие языка, которое сопровождается сокращением слов и т. д., и т. д. «История науки, — заявляет Спенсер, в «Основных началах», — представляет на каждом шагу факты, имеющие подобное же значение. Действительно, можно сказать, что интеграция групп одинаковых

существ и одинаковых отношений составляет самую выдающуюся часть научного прогресса. Самый беглый взгляд на классифицирующие науки показывает нам, что смутные, бессвязные агрегации, которые возникают у необразованных людей относительно предметов природы, постепенно становятся все более и более полными и связанными, а в пределах групп соединяются в подгруппы». То же самое явление мы замечаем и в определении сходства и различий взаимоотношений предметов между собой. Одним словом, процесс и совпадающий с ним, по мнению Спенсера, прогресс науки во всех областях совершался путем дифференциации и интеграции, при чем обе эти формы представляют собою, повидимому, две стороны одного и того же процесса движения вперед. Приведем еще одну весьма интересную выдержку, характеризующую процесс интеграции в области промышленности и искусства: «Промышленные и эстетические искусства, — гласит § 114 «Основных начал», — дают нам столь же доказательные примеры интеграции. Прогресс, проявившийся в замене грубых, незначительных по размеру и простых по конструкции орудий совершенными, весьма сложными и большими машинами, является прогрессом интеграции. В отделе так называемых механических двигателей переход от рычага к вороту является прогрессом в смысле перехода от простой действующей силы к сложной действующей силе, представляющей из себя совокупность нескольких простых сил. Сравнивая ворот или какую-нибудь иную из машин, употреблявшихся в древние времена, с современными машинами, мы видим, что в состав каждой из наших машин входят несколько первобытных машин. Современный прядильный или ткацкий станок, чулочная или кружевовязальная машина состоит не только из рычага, наклонной плоскости, винта и ворота, соединенных вместе, но из нескольких подобных машин, составляющих в совокупности одно целое. Вместе с тем, в древние времена, когда пользовались исключительно лишь лошадиной и человеческой силами, двигатель не был нераздельно соединен с инструментом, который он приводил в движение; в настоящее же время во многих случаях двигатель и машина слиты вместе. Топка и котел в локомотиве соединены с тем механизмом, который приводится в действие паром. Еще более экстенсивную интеграцию мы видим на любой фабрике. Здесь мы встречаем большое число сложных машин, все они соединены движущимися валами одной и той же паровой машины, так что все это вместе образует один огромный механизм».

Эти выдержки очень характерны в двояком отношении. В первой из них весьма интересным является строгий эмпиризм, согласно которому весь прогресс науки происходит на почве обобщения данных эмпирических фактов, их классификации и суммирования их взаимоотношений, образующих впоследствии то, что является законом. Во второй выдержке заслуживает особого внимания справедливый взгляд на прогресс техники, как на совершенствование и усложнение орудий производства: важно отметить так же и то значение, которое Спенсером придается развитию этого прогресса.

Итак, на основании обследования почти всех главных областей науки, искусства и социально-экономической жизни, Спенсер устанавливает вышеназванные законы дифференциации и интеграции.

Эти законы сводятся в последнем счете к принципам механики — устойчивого и неустойчивого равновесия. Однородное,— рассуждает Спенсер, — на основании всех собранных и указанных данных отличается своей неустойчивостью. Наоборот, разнородное в аггрегате обладает максимальной устойчивостью. В общественной жизни наивысшая степень дифференциации и интеграции достигается в общественном классном делении. Чем обширнее данные классы внутри общества, тем крепче их внутренняя связь и тем сильнее социальная устойчивость всего аггрегата.

«Общий закон,—говорит Спенсер,—обнаруживается не только в этих внешних соединениях одних групп с другими (под внешними соединениями Спенсер понимает об'единение групп и областей, как следствие завоевания. *А.)*. Он обнаруживается также и в тех об'единениях, которые происходят внутри групп, по мере того, как эти группы приобретают более высокую организацию. Таких об'единений существует два разряда, которые можно ясно различить один от другого, а именно разряд правящих классов и разряд рабочих классов».

Развитие капиталистического общества, которое, по мнению Спенсера, делится в общем и целом на правящие и рабочие классы, должно отличаться наибольшей степенью устойчивости, по той причине, что каждый из этих разрядов представляет собою сплоченный, крепко спаянный аггрегат, об'единенный широкими, насущными общими интересами.

Вот в общем все главные принципы и вся основная аргументация органической теории Спенсера.

Перейдем теперь к их критическому рассмотрению.

В предыдущем очерке были отмечены обычные ходячие возражения, встречающиеся в буржуазной социологической литературе. Сейчас остановимся на критике наиболее для нас интересной, так как она ведется с точки зрения критики буржуазной идеологии. Я имею в виду работу Михайловского, специально посвященную критическому анализу социологических воззрений нашего мыслителя.

В блестящем этюде «Что такое прогресс?» Михайловский ведет бурную войну против органической теории Спенсера. Михайловский ясно видит, что Спенсер является ярким выразителем и горячим защитником капиталистического буржуазного порядка, но, в качестве утопического социалиста - народника, он не в состоянии вскрыть, в чем сущность заблуждения и буржуазной односторонности автора органической социологии.

Несостоятельность социологических воззрений Спенсера заключается, с точки зрения Михайловского, в стремлении к научному об'ективизму. Спенсер рассматривает социально-историческое развитие под углом причины и следствия, не принимая в расчет нравственных оценок. По Спенсеру, историческая эволюция, совершая свой путь от однородного к разнородному, является в то же время и прогрессом. Об'ективный ход вещей совпадает

с суб'ективными стремлениями человечества, или, выражаясь философским языком, историческое бытие не составляет противоречия нравственному долженствованию. С точки зрения же Михайловского такого совпадения нет и утверждать такое совпадение может только защитник существующего порядка. В однородном, недифференцированном обществе личность, по мнению Михайловского, полнее, гармоничнее и, благодаря выполнению ею разнородных функций, она, в известном смысле, богаче и содержательнее. В дифференцированном обществе, т.-е. в обществе, основанном на принципе разделения труда, личность урезывается, беднеет, становится односторонней. Для подтверждения и образного пояснения своей основной мысли Михайловский цитирует знаменитые строки Шиллера: «Вечно работая над каким-нибудь ничтожным отрывком из целого, человек и сам делается чем-то вроде отрывка; вечно слыша однозвучный шум только того колеса, которое вертит он сам, человек никогда не в состоянии развить гармонию в своем существе, и вместо того, чтобы запечатлевать человечество в своей натуре, он делается только отпечатком занятий своей наукой». Процесс дифференциации, отождествляемый Спенсером с прогрессом, способствовал выработке нецелостных личностей, явился неисчерпаемым источником патологических явлений в области индивидуальной и в сфере социальной.

Рядом и в зависимости от сужения личности разделение труда было причиной искажения истинно-научной мысли. Наука, по своему существенному содержанию, возникла под влиянием материальных причин и преследовала чисто утилитарные цели. Но по мере того, как совершалась общественная дифференциация, научная мысль отрывалась от своего базиса, от практической жизни, становилась самоцелью и, развиваясь в качестве самоцели все дальше и дальше, породила противоположную ей метафизику. Пресловутая спенсеровская дифференциация, — рассуждает дальше Михайловский,— породила философский психологический дуализм. «Мы видим, — читаем мы в названном трактате, — что так или иначе практическое распадение труда на физический и умственный всегда и везде сопровождается и теоретическим распадением души и тела, т.-е. дуализмом». Продолжая эту мысль далее, Михайловский высказывает целый ряд дельных, тонко подмеченных моментов в историческом развитии, интересных и с точки зрения исторического материализма. Тем не менее дело критики аналогического метода Спенсера ни на йоту не подвигается вперед. Ибо указания на отрицательные стороны исторического процесса на основании нравственной оценки, исходящей из социалистического идеала XIX ст., бьют мимо цели. Сам Михайловский часто чувствует и, как мыслящий философски писатель, не может не сознавать шаткости своей позиции. Сознавая ее, он спрашивает: «Но не значит ли это обругать вековую историю? Не дал ли нам именно этот процесс истории науку, искусство, промышленность? Конечно, дал. Но некоторая часть всего этого добыта простым сотрудничеством, а остальное куплено и покупается, может быть, слишком дорогою ценою. Будущий историк напишет приходно-расходную книгу цивилизации и сведет эти счеты». Каким же методом должен будет руководствоваться будущий историк для того, чтобы осуществить означенную задачу?

Ответ на этот вопрос гласит ясно и отчетливо. Историк, в отличие от естествоиспытателя, должен руководствоваться не законом причинности, но брать за исходную методологическую точку идею целесообразности. Другими словами, когда речь идет об установлении критерия прогресса, необходимо сделать пунктом отправления нравственный идеал, т.-е. общественную цель. Но, спрашивается дальше, какого содержания должен быть этот идеал и какая цель может послужить истинным критерием прогресса? Цель ли немецких юнкеров, французских роялистов, английской палаты лордов, или цели социалистов? Михайловский отвечает, конечно, в последнем смысле. И отвечая в этом именно смысле, знаменитый русский писатель, властитель дум своего поколения, определяет свой метод, как метод с у б ' е к т и в н ы й. Спрашивается далее, есть ли возможность с точки зрения суб'ективного метода подвергнуть критике какие бы то ни было общественные стремления или идеалы? При беспристрастном отношении к вопросу должно быть ясно для всякого, что такой логической возможности нет. Перед лицом суб'ективного метода все социальные воззрения одинаково обоснованы, или, точнее, в одинаковой степени необоснованы. Спенсер мог с полным логическим правом, став на точку зрения Михайловского, заявить, что и он сделал своей исходной точкой идею цели или нравственную оценку современного капиталистического порядка и что, руководствуясь этой именно оценкой, он пришел к заключению, что ход развития от однородного к разнородному знаменует собою прогресс в мировой истории. Короче, суб'ективный метод не может быть признан, как метод исследования. Следуя положениям так называемого суб'ективного метода, Михайловский оказался совершенно бессильным перед Спенсером. Трактат «Что такое прогресс?», являясь во многих отношениях блестящим произведением и содержа отдельно взятые интересные мысли, представляет в общем сплошное и странное недоразумение. Спенсеру ставится, главным образом, в упрек его об'ективизм, его стремление рассматривать социально-исторические явления под углом причины и следствия, т. - е. строго научно, а с другой стороны, тому же Спенсеру вменяется в тяжкую вину его суб'ективизм, т.-е. его желание всеми силами и средствами доказать прогрессивный характер и устойчивость буржуазно-капиталистического порядка. В результате всех рассуждений Михайловского выходит, что Спенсер с у б ' е к т и в е н и м е н н о п о т о м у, ч т о о б ' е к т и в е н, ч т о, б л а г о д а р я е г о б у р ж у а з н о м у с у б ' е к т и в и з м у, о н с т р о и т н е в о з м о ж н у ю п о с у щ е с т в у о б ' е к т и в н у ю т е о р и ю п р о г р е с с а. Словом, в результате всей критики получается чистокровный nonsens, выражаясь по-русски—полная бессмыслица. Михайловский, повторяем, часто сам чувствует безысходную беспомощность, но, с другой стороны, он смутно сознает ошибочность построения органической теории.

Тем не менее критика Михайловского представляет, как уже упомянуто выше, значительный интерес. Она интересна в том отношении, что четко обнаруживает полное бессилие утопического или суб'ективного социализма вести борьбу с буржуазной идеологией. В самом деле, Михайловский сделал своей исходной точкой критики социалистический идеал. Сущность социа-

листической общественной организации, — справедливо думает знаменитый критик Спенсера,—заключается в социальном равенстве его членов. С этой точки зрения, общественной аггрегат должен явить собой нечто однородное. С другой стороны, в однородном социалистическом обществе личность, наоборот, станет разнороднее, богаче по своему внутреннему содержанию. Отсюда следовала формулировка прогресса, гласящая: «Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми». Из этой формулы прогресса вытекало для Михайловского, что однородный, хотя бы даже примитивный аггрегат общественных групп на низшей ступени исторической лестницы стоял в известном смысле выше, нежели капиталистическое общество с присущим ему разделением труда, дифференциацией, признаваемые Спенсером как явления исторического прогресса.

А отсюда же вытекало почти что сплошное осуждение исторического хода развития, сопровождавшегося разделением труда. Рассматривая русскую поземельную общину, как ячейку будущего социалистического общественного порядка, Михайловский и, прежде, его учитель П. Л. Лавров нашли философское, методологическое обоснование своим общественным стремлениям в философско-исторической телеологии Канта в нормативно-нравственных оценках. Со свойственным Михайловскому под'емом и гражданским красноречием он пишет: «Нас гонят нужды настоящего, нас душит страх за будущее, и мы все тщательнее и внимательнее ищем такого пункта, с которого было бы всего удобнее осмотреть всю расстилающуюся за нами историю, чтобы по ней определить наше будущее». Этим искомым пунктом явилось не об'ективное научное исследование, а формула прогресса, служившая критерием исторического развития. С ней, с этой формулой, фактически сравнивал Михайловский стадии исторического развития. Все то, что в какой бы ни было форме и степени соответствовало ей, то признавалось прогрессивным, все то, что, наоборот, не равнялось этой формуле, то подвергалось строгому осуждению. Поэтому Михайловский по существу дела руководствовался в критике Спенсера тем же аналогическим методом, что и Спенсер. Разница в том, что Спенсер, на основании аналогии общества с животным телом, стал апологетом капиталистического общества,—Михайловский же, исходя из аналогии идеала будущего социалистического общества со всеми стадиями исторического развития и в частности с волновавшим его капиталистическим порядком, вынес последнему обвинительный вердикт. Но как вооруженный всеми областями познания тяжеловесный адвокат дьявола Спенсер, так и его блестящий обвинитель, — оба в одинаковой степени остались в стороне от существа дела, ибо обоим недоставало диалектического рассмотрения хода исторического развития.

Далее Михайловским, также и другими критиками, в том числе Гексли, ставилось Спенсеру на вид: во-первых, аморализм, якобы неизбежно присущий эволюционной теории, во-вторых, ее безнадежный фатализм. Как первый, так и второй упрек Спенсер отразил с полной основательностью. В своем сочинении: «Основания этики» Спенсер, подобно Дарвину, рассматривает

альтруизм, как необходимый продукт эволюции. В этом своем сочинении он приходит к такому результату: вместе с развитием высшей жизни наступит такое состояние, при котором между эгоизмом и альтруизмом настанет примирение, так что один сольется с другим». Это—вывод отнюдь не случайного характера, напротив, Спенсер старательно обосновывает его не только в «Основаниях этики», но и в «Социальной статике», вышедшей в свет в 1850 г., т.-е. еще тогда, когда по собственному признанию самого нашего автора его эволюционная теория еще не была выработана в ее универсальной, законченной форме. Об аморализме теории Спенсера в том виде, как она выявляется в его произведениях, а не в крайне индивидуалистических теориях его последователей, не может быть и речи. Наоборот, альтруизм утверждается и признается как совершенно естественное следствие эволюции и как необходимый фактор в общественной жизни.

Перейдем теперь ко второму возражению. Критики учения об об'ективно - исторической закономерности утверждают, что признать об'ективную закономерность в социальной жизни значит притти к пассивному фатализму. Это возражение делалось не только Спенсеру, но оно служило, и до сих пор служит, главным критическим оружием и против материалистического понимания истории. Этим оружием сражался Михайловский не только против Спенсера, но направил его впоследствии, главным образом, против русского марксизма. Это самое оружие было пущено в ход нашими легальными марксистами в период их критики и отступления.

Это пресловутое возражение было сформулировано в известной книге Штаммлера: «Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung» (эта книга, кстати будь сказано, оказала огромное влияние как на немецкий ревизионизм, так и на наших легальных марксистов П. Струве, Бердяева, Булгакова), в которой Штаммлер утверждал, что главная отличительная черта исторического материализма заключается в том, что он отказывается от «неумолимой альтернативы остановиться исключительно или на каузально - понимающем познании, или на воле, ставящей себе цели». Постулируя естественно-необходимый ход социального развития, материалистическое понимание истории считает в то же время возможным его поощрять, ускорять, ему содействовать и т. д. Штаммлер усматривал в этом непреоборимое противоречие: «Раз,—говорит он,—научно познано, что известное событие необходимо произойдет совершенно определенным способом, бессмысленно еще желать содействовать именно этому о п р е д е л е н н о м у с п о с о б у его наступления. Нельзя основать партию, которая хотела сознательно содействовать точно вычисленному лунному затмению». Это же самое мнимое противоречие ставилось на вид Спенсеру. Это возражение Спенсер отразил с полной основательностью и большим остроумием. А так как спенсеровское опровержение этого ходячего и часто повторяющегося софизма совпадает с нашими взглядами, то разрешите привести довольно обширную, но весьма содержательную выдержку из краткой заметки, посланной нашим мыслителем в 1893 году на происходивший в Чикаго конгресс эволюционистов. Эта заметка посвящена исключительно ответу противникам, утверждавшим,

что учение о социальной эволюции исключает активную деятельность человека.

«Предполагается, — рассуждает там Спенсер, — что общество также развивается стихийно, независимо от всякой сознательной деятельности: из этого заключают, что соответственно эволюционной теории, индивидам нечего заботиться о прогрессе, так как он совершается сам по себе. Отсюда следует утверждение, что «эволюция, возведенная в высший закон человеческой морали и общественной жизни, превращается в парализующий и общественный фатализм. Но в этом-то и ошибка. Всякий может убедиться в том, что в низших стадиях эволюции процесс совершается только благодаря тому, что различные участвующие в нем неделимые — в одних случаях молекулы материи, в других—отдельные особи видов—соответственным образом проявляют свою природу. Было бы нелепо думать, что неорганическая эволюция могла бы совершаться, если бы молекулы перестали притягивать друг друга и вступать в соединение, но также нелепо было бы предполагать, что органическая эволюция могла бы продолжаться, если бы инстинкты и аппетиты индивидов исчезли окончательно, или хотя бы отчасти». Сравнение блестящее. Исключить из общественного хода развития активную деятельность людей—это все равно, что устранить из физических или органических процессов те или другие основные двигательные силы. И Спенсер продолжает: «Не менее нелепо думать, что социальная эволюция может совершаться независимо от нормальной физической и духовной деятельности индивидов, составляющих общество, независимо от их потребностей, чувств и вызванных ими действий. Конечно, верно, что в значительной степени социальная эволюция достигается помимо всякого намерения граждан достигать, и они даже не сознают, что они достигают ее. Вся промышленная организация, во всей ее удивительной многосложности, возникла благодаря тому, что каждый индивид преследовал свои собственные интересы, подлежащие известным ограничениям, налагаемым организованным государством». С содержанием этой как и предыдущей выдержки согласится последователь исторического материализма. Более того, рассуждения Спенсера до такой степени напоминают своим содержанием мысли Маркса и Энгельса о согласовании об'ективного и суб'ективного момента в истории, что легко предположить влияние последних на первого. И, конечно, такая возможность не исключается, так как автор органической теории внимательно следил за социальным движением своей эпохи. В связи с затронутым вопросом не могу дальше отказать себе в удовольствии привести еще одно великолепное сравнение, как будто нарочно приготовленное для отражения знаменитой аналогии Штаммлера между партией марксистов с партией, ставящей себе целью ускорение срока затмения луны. Все в той же вышеозначенной заметке Спенсер пишет: «Для пояснения предмета приведем еще одну аналогию. Все признают, что нам присущи известные потребности, обеспечивающие сохранение рода, что инстинкты, побуждающие к брачным, а впоследствии и родительским отношениям, служат гарантией того, что без всякого насилия или принуждения каждое поколение породит следующее новое поколение. Теперь допустим, что кто-нибудь стал бы доказывать, что

если продолжение рода обеспечено законом природы, то нет никакой нужды содействовать этому процессу путем вступления в брак. Что бы вы подумали о его логике, как бы вы отнеслись к его предположению, что следствие может наступить и при исчезновении причин?» Поистине замечательная отповедь. Все, которые указывали Спенсеру, как и представителям исторического материализма, на противоречивый характер об'ективной социологии, руководствовались как раз той логикой, о которой говорит Спенсер в приведенной остроумной выдержке.

Преобладающая часть критики теории Спенсера нападала преимущественно на последовательный социологический об'ективизм. Но как раз эта сторона органической теории—самая сильная сторона, а потому Спенсеру не составляло особенного труда справиться со своими противниками. Указание далее на то или иное несоответствие между животным телом и общественным целым также не имеет существенного значения. Во-первых, общество действительно представляет собой нечто крепко спаянное и неразрывное целое, связанное видимыми и невидимыми нитями, во-вторых, указание на то или иное несходство общества с животным телом не может служить серьезным возражением против широкого обобщения, охватывающего большое количество фактов. Короче, критика органической теории должна вестись в совершенно другой плоскости. Этой плоскостью является аналогический метод как таковой. Раскрытием шаткости и несостоятельности метода мы и займемся.

В предыдущей лекции было указано, что Спенсер, приступая к предмету социологии, ставит прежде всего вопрос: что такое общество? Вопрос естественный, законный, требующий ответа. Необходимо определить предмет исследования. Общество, справедливо полагает Спенсер, не есть простое механическое собрание индивидов. Поясняя эту свою верную мысль, Спенсер пользуется метким примером. «Всякая цельная масса, — читаем мы в «Основаниях социологии», — разбившись на куски, перестает быть особым индивидуальным предметом; и наоборот, — камни, кирпичи, куски дерева и т. п., не имевшие вначале ничего общего между собой, будучи связаны друг с другом известным образом, становятся особым индивидуальным предметом, называемым домом». Совершенно справедливо. Общество может, следовательно, стать предметом и предметом научного исследования лишь при том необходимом условии, когда «куски», из которых оно состоит, т.-е. личности, входящие в его состав, связаны подобно дому каким-то общим началом. Ясно, стало быть, с самой постановки проблемы социологии, что прежде всего должно быть найдено и определено это именно связующее начало. Но Спенсер, правильно поставив вопрос, затушевывает его и поворачивает на другой путь.

Общество, не являясь конкретным воспринимаемым предметом, не может, по мнению нашего автора, стать само по себе, как таковое, предметом исследования. Но, с другой стороны, в общественно-исторической жизни наблюдается постоянство взаимоотношений, делающее возможным научный анализ общественных явлений. Отсюда выводится заключение, что необходимо найти такой конкретный предмет, взаимоотношения частей которого

сходствовали бы с взаимоотношениями частей в общественном коллективе. Ибо, «единственное мыслимое сходство между обществом и чем-либо другим может заключаться в параллелизме принципа, управляющего расположением составных частей» (подчеркнуто Спенсером). Это «что-либо другое» оказалось животное тело. Принципами же, «управляющими расположениями частей» как в животном теле, так и в общественном коллективе, являются принципы дифференциации и интеграции, то-есть процесс развития от простого к сложному и затем интеграция, суммирование дифференцированных областей свойственны как животному телу, так и общественному коллективу. Эти два принципа в свою очередь сводятся далее к «управляющим принципам»: к устойчивому и неустойчивому равновесию. Однородное отличается неустойчивым равновесием, наоборот, интегрированные части в дифференцированном агрегате отличаются наибольшей степенью устойчивости.

Так, все это построение и проведенная параллель «принципов, управляющих расположением составных частей», кажется и убедительным, и вполне логичным до тех пор, пока забываешь вместе со Спенсером, что общество, как предмет исследования, все же отсутствует. В социальном агрегате происходит дифференциация и интеграция точь-в-точь, как в животном организме. Спрашивается, под каким влиянием происходят эти процессы, чем они обусловливаются в общественном развитии? Для того, чтобы в первобытной группе человеческих индивидуумов начался процесс дифференциации, должна существовать какая-то связь между этими индивидуальностями, другими словами, должен быть элемент, которым определяются взаимоотношения индивидуумов, но о таком связующем начале и помину нет. Когда Спенсер развертывает процесс эволюции в неорганическом и органическом мире, он, подобно всем позитивистам, оставляет в стороне свою позитивистскую гносеологию и становится на материалистическую почву. Материя и движение являются в конечном итоге основными началами всего доступного нашему пониманию мирового процесса, т.-е. всей эволюции, поскольку мы в состоянии ее познать. Материей и движением обусловливается конкретный характер как предметов восприятий, так и их взаимоотношений. Общее мировоззрение Спенсера, его учение о непознаваемом, составляющем предмет метафизики и религии, его утверждение относительно абсолютных границ нашего познания остается совершенно в стороне, когда дело идет о научном исследовании в области естествознания. Рассматривая учение Спенсера с чисто философской точки зрения, его нельзя ни в коем случае причислить к материалистическим учениям. Наоборот, в общем Спенсер дуалист и стоит на точке зрения двойственной истины в духе философии Канта и преобладающего большинства кантианцев.

Непознаваемое, подобно кантовой вещи в себе, может быть лишь об'ектом веры. Оно является бесконечной таинственной силой, лежащей в основе всего мирового целого, составляя главное начало как материальных, так и духовных явлений. Не будучи познаваемо нашим разумом, оно, это начало, дается или раскрывается нашему чувству. Мы непосредственно ощу-

щаем, что за пределами познаваемого мира явлений существует мир сущего, являющийся причиной всей мировой действительности. С этой общей философской точки зрения, материя и движение вовсе не является коренными основами космической эволюции.

Но как всегда и во всех дуалистических философских учениях, так в философии Спенсера между религией и его главным предметом непознаваемым и наукой устанавливается благополучный компромисс. Религия должна отказаться от претензии сделать понятным разуму высшее начало, так как все определения, доступные нашему пониманию, заимствованы из нашего мира явлений и, следовательно, бессильны уяснить общее начало. Наука же в свою очередь, понимая непознаваемость абсолютного, должна тем не менее признавать факт его существования, как абсолютную первопричину всего сущего. А далее,—далее наука идет своим путем. Хотя в высшем метафизическом смысле, т.-е., согласно требованиям религии, понятие о материи исполнено противоречий, но с точки зрения требований науки она представляет собой необходимую предпосылку. И идя путем своих предшественников и учителей, английских эмпириков, главным образом Юма и Милля, Спенсер мирно, без всяких драматических потрясений расстается с непознаваемым абсолютом, забывая об антиномическом характере понятия материи и становится со спокойной и чистой совестью на твердую почву материализма; так обстоит дело, когда он занимается об'яснением и описанием эволюции в области природы. Но философская мысль и метод исследования принимают совершенно другой оборот, когда вопрос идет о социальном коллективе. Тут, в социологии, мыслитель остается на почве позитивизма. И оставаясь на этой почве, он совершенно лишен возможности найти какой-либо общий, единый фундамент общественно-исторической действительности. С другой же стороны, Спенсер—крупный мыслитель и сериозный ученый, а потому ясно понимает и отчетливо сознает, что социология только может стать наукой, когда будут открыты вновь принципы, «управляющие» социальными явлениями. Из этого по существу дела безвыходного положения опять выручил компромисс. Таким компромиссом оказался аналогический метод. Законы эволюции были перенесены из области биологии на социологию самым произвольным образом. Так называемые Спенсером законы дифференциации и интеграции представляют собой не что иное, как простое описание процессов без всякой попытки об'яснения их причин. На основании самого по себе взятого факта распадения и усложнения первобытных общественных групп, делается совершенно произвольный, ничем не обоснованный вывод, что вообще всякое социально однородное общество лишено устойчивости и должно обязательно вступить на путь дифференциации. Несостоятельность этого вывода очевидна. Ибо, для того, чтобы факт дифференциации всех или большинства первобытных обществ был возведен в закон, необходимо было обнаружить общественные причины, вызвавшие дифференциацию, а затем, на основании этих причин, показать неустойчивость всякого однородного общественного агре-

гата, какого содержания он бы ни был; иными словами, необходимо было об ружить, что о д н о р о д н о с т ь, при всех мыслимых условиях или, одно и то же в учении Спенсера, с о ц и а л ь н о е р а в е н с т в о вооб скрывает в себе такое основное начало, которое ведет с неумолимой необ димостью к распадению и дифференциации. Но от такого научного обос вания так называемого закона дифференциации нет и следа. То же са относится к утверждению другого так называемого закона об устойчи состоянии дифференцированного общества, в котором другой процесс, проц интеграции, достигает высокой степени своего развития, короче,—к зак об устойчивом состоянии капиталистического общества. Как в первом, и во втором случае мы видим простое описание фактов, где н а м е с з а к о н а в ы с т у п а е т а н а л о г и я общественного коллектива с жив ным телом.

Повидимому, совершенно бессознательно вводятся Спенсером опреде ния из механики устойчивого и неустойчивого равновесия, которые в п менении к общественным явлениям лишены всякого смысла и не имеют малейшего положительного значения.

В области механики законы устойчивого и неустойчивого равнове вытекают, как это и подобает истинному закону, и з с а м о й с у щ н о с в е щ е й, которой и определяется данный закон. Всякий знает, кто бессоз тельно, из прямого непосредственного опыта, а кто на основании оп обобщенного, т.-е. из элементарной механики, что под устойчивым рав весием следует понимать стремление тела, слегка выведенного из равнове снова вернуться в прежнее состояние. Наоборот, неустойчивым равновес мы называем положение тела, выведенного из состояния равновесия и удал щегося все более от прежнего своего положения. Знание положений устой вого и неустойчивого равновесия, вытекающее, повторяем, из сущности те их взаимоотношений, делает возможным обратное действие на тела, согла нашей определенной цели, т.-е. дает возможность в зависимости от наш желания привести тела в устойчивое и неустойчивое равновесие. Но как спрашивается, значение имеют и могут иметь эти принципы механики в п менении к общественным явлениям, отличающимся по существу от физичес тел, и их взаимоотношения? Кроме образной иллюстрации решительно какого. Наоборот, когда эти принципы механики провозглашаются в качес законов общественных явлений, они теряют характер поясняющей иллюст ции, а лишь затемняют сложную и своеобразную совершенно отличную от ханики природы сущность общественно-исторического движения. Если к нибудь из вас станет на каком-нибудь собрании совершенно справедливо утв ждать, что современная Европа вышла из состояния устойчивого равнове и к этой общей, абстрактной характеристике больше ничего не прибавит, это утверждение останется образным выражением и не больше. Интерес щийся, внимательный слушатель пришлет вам записку с вопросом, поче Европа находится в положении неустойчивого равновесия, какими сил определялось ее прежнее состояние, и какие силы, какие факты и ка явления вывели ее из прежнего, более устойчивого состояния? А если слу

ль захочет быть едким—а это бывает,—то он к тому же заметит, что падная Европа не конус, который сохраняет устойчивое равновесие, когда оит на своем основании, и приходит в состояние неустойчивого равновесия, гда поставлен на острие. Это значит, что законы из области естествозна-я, в частности законы механики, перенесенные на область общественных лений, совершенно бессильны что бы то ни было об'яснить. А раз нельзя и помощи этих законов об'яснить общественные явления, то этим самым ключается всякая возможность обратного, сознательного воздействия на щественно-исторический ход вещей. Социология же, как совершенно спра-ливо рассуждает Спенсер, ставит определенные практические задачи. Ее дача, как и всякой отрасли науки,—это возможность руководствоваться социальной практической жизни определенными законами. А для осуще-вления этой цели законы должны быть выведены на новании тех явлений, на которые данные законы лжны оказать свое обратное действие.

Понятия — дифференциация, интеграция и сведение этих понятий к тойчивому и неустойчивому равновесию есть не более как результат чи-ого описания определенных групп общественных явлений, названных тер-нами из математики и механики. Сказать, что общество первобытных пп перешло от однородного состояния к разнородному, это решительно равно, что сказать, что оно дифференцировалась или что оно оказалось устойчивым. Все три понятия однозначны и ни одно из них не об'ясняет ичины распадения однородного. То же самое относится и к другому утвер-ению Спенсера, будто капиталистическое общество, где восторжествовали коны дифференциации и интеграции, отличается наибольшей степенью тойчивости. И в данном случае Спенсер остается все на той же почве чи-ого описания, ибо аналогия с животным телом, конечно, и в этом обороте есть закон развития капиталистического общества.

Итак, в своей органической теории общества Спенсер никаких щественных законов не открывает и он не может их открыть при общей становке проблемы. Для того, чтобы открыть законы, управляющие обще-енной жизнью, должен быть дан ответ на поставленный Спенсером вопрос: то такое общество?». Что об'единяет и связывает человеческие индивиды оллективное целое и что, какими элементами обусловливаются различные щественные группировки, другими словами, что служит материей общества? ответа на эти вопросы вообще не мыслима социология как предмет ки, ее просто не существует. На эти вопросы у Спенсера ответа нет, а ому нельзя считать органическую теорию общества циологией.

Когда силой логического развития темы Спенсеру навязывается необхо-ость определить цемент общества, тогда он оставляет свою анало-с животным телом и становится на эклектическую точку зрения. Чело-еское общество оказывается тогда связанным и спаянным языком, рели-й, обычаями, нравами, искусством, политическими учреждениями и т. д. данном обороте мысли, Спенсер, ясное дело, оставляет в стороне свой

аналогический метод, ибо при всей тщательности исследования животног тела нельзя утверждать, что животное тело связывает язык, религия, искус ство, экономика и т. д. Спенсер чувствует неудовлетворительность эклекти ческой точки зрения и, чувствуя это, переходит обратно к своей аналогии воображая подчас, что сравнение общества с организмом ведет к монизм т.-е. к общему, об'единяющему началу как природы, так и истории.

Заканчивая критику основ аналогического метода, считаю необхс димым, во-первых, отметить и указать еще на некоторые положительны элементы в социологических взглядах нашего мыслителя, во-вторых, подвест некоторый общий итог.

Одним из главных положительных основ в учении Спенсера являетс его стремление к об'ективному методу в области социо логии.

В своем очень интересном на мой взгляд сочинении «Социология ка предмет изучения», которому, кстати сказать, дается совершенно неправилі ная оценка проф. Кареевым, наш мыслитель старается доказать и с больши успехом доказывает, что социология должна и может стать положительно наукой.

Поистине убедительными и блестящими являются те страницы этог сочинения, на которых автор об'ясняет причины культа деяний отдельны личностей, заслонивших действительные причины социально-историческог процесса. Господствовавшее и до сих пор далеко не умершее убеждение, чт история человечества есть в сущности история великих людей, действовавши в ней, Спенсер об'ясняет всем ходом нашего уродливого развития.

Начало этого ошибочного понятия мыслитель видит в воззрениях ди карей. Вот как рисует Спенсер начало этого заблуждения. «Собравшис вокруг своего лагеря, дикари пересказывают друг другу свои охот ничьи приключения последнего дня, и тот из них, кто выказал особенну ловкость или искусство, получает заслуженные похвалы. По окончании войнь проницательность вождя и сила или храбрость того или другого из воино составляют самые интересные темы разговора. Когда окончившийся день ил близкое прошлое не представляют никаких замечательных происшестви то предметом рассказов становятся подвиги какого-нибудь знаменитого во ждя, недавно умершего, или известного по преданиям родоначальника пле мени; иногда эти рассказы сопровождаются пляской, драматически изобра жающей те победы, о которых поется в песне. Подобные рассказы, касаяс благосостоянии племени и самого существования его, возбуждают живейши интерес, и в них-то мы находим общий корень музыки, драмы, поэзии, био графии, истории и вообще литературы». Идя дальше от культа личности Спенсер касается рассказов библии, греческой мифологии, воспиты вающих и внушающих ложный индивидуалистический взгляд на истори человечества, и заключает: «Самое достоинство знания оценивается таки образом,—что ошибка в перечислении любовных похождений Зевса считаетс постыдной, незнание имен предводителей в Марафонской битве непохвальны а не знать социальных условий времени до Ликурга или происхождение

обязанности ареопага считается извинительным». Взгляд на всеобщую историю, как результат деятельности выдающихся личностей, свидетельствует о наивности и примитивности обладателя такого взгляда на этот важный предмет.

*Далее чрезвычайно интересна аргументация Спенсера в защиту необхо*димости социологии как утилитарной практической отрасли науки, в существовании которой должна быть заинтересована каждая социальная единица, каждый член общества. Отвергать возможность социальных законов, значит, по справедливому мнению Спенсера, закрывать глаза на действительность. Ибо в действительной жизни всякий фактически руководствуется теми или другими правилами, полученными на основании социального опыта. «Всякий,— говорит Спенсер в упомянутом сочинении,—кто выражает политические мнения, кто говорит, что та или другая общественная мера будет благодетельна или вредна, тот невольно признает этим самым социальную науку, потому что из его слов следует, что между социальными действиями существует естественная последовательность, и так как эта последовательность естественна, то результаты возможно предвидеть». Читатель-марксист поймет без всяких пояснений, почему мы остановились с особенным вниманием на этих взглядах Спенсера и почему сочли полезным привести здесь соответствующие выдержки. Читателю же не-марксисту скажем, что цитированные строки совершенно совпадают с теми взглядами представителей марксизма, против которых с наибольшей свирепостью обрушивалась критика, исходившая из лагеря мелко-буржуазной и вообще буржуазной идеологии.

В общем и целом Спенсер является ярким представителем и упорным защитником английской национальной буржуазии. Его органическая теория продиктована ходом социально-исторического развития английского капитализма.

В странах раннего капиталистического развития социальное движение совершалось путем наибольших компромиссов. Англия представляет собою классический пример такого именно типа развития как в социальном, так и соответственно в политическом отношении. А потому с изумительной яркостью отразился этот компромисс в идеологии всех, почти без всякого исключения, английских мыслителей, которые, кстати сказать, в противоположность мыслителям других стран, всегда стояли близко к практической жизни. Спенсер же, как мыслитель консервативного периода буржуазии, возвел капиталистический порядок на степень устойчивого равновесия, что в сущности также является продолжением идеи естественного права, которая признавалась предшественниками автора органической теории.

Весьма замечательна в изложении учения об эволюции характеристика момента перехода количества в качество. Везде, там, где речь идет о таком переходе, т.-е. скачке, Спенсер определяет этот последний словами «чуть, чуть», «едва заметно» и тому подобными робкими выражениями, характеризующими *ползучий эмпиризм*.

Если на учение о диалектике Фихте и Гегеля оказала несомненное влияние Великая Французская революция, бурные и грандиозные события которой их увлекали, то учение об эволюции Спенсера является отчетливым

отражением исторического развития Англии, не знавшей таких потрясающих драматических катастроф (это, конечно, не значит, что история Англии совершала путь своего развития не по законам диалектики).

В заключение еще два слова: читатель-марксист, без сомнения, поставит нам в упрек, почему мы не подвергли критике понятие эволюции в теории Спенсера с точки зрения диалектики. Изложение принципов диалектического метода впереди, и тогда же будет подвергнуто критическому разбору понятие эволюции. На все свое время и свое место.

Роза Люксембург.

Н. Семковская (Ирена).

> Вы ведь знаете, что я... надеюсь умереть на посту: в уличной битве или в смирительном доме...
>
> 2. V. 1917. Вронке. Тюрьма.
>
> И я бы не хотела ничего вычеркнуть из своей жизни...
>
> 19. IV. 1917. Вронке. Тюрьма.

Пятнадцать лет тому назад пришлось мне впервые увидеть Розу Люксембург.

Фриденау, Кранах-Штрассе 58... И по сей час ясно помню этот дом, где жила она в то время. Приехав прямо из Варшавской тюрьмы в Берлин, я узнала, что меня просит зайти на квартиру Розы тов. Тышка (Иогихес).

За период пребывания Розы Люксембург в Варшаве во время революции мне не удалось ее увидеть, хотя я довольно часто заходила по разным партийным делам в конспиративную редакцию центрального органа польской социал-демократии «Червоный Штандар», душой которого был покойный т. Тышка, затем Варский, Мархлевский, а из молодых — Радек.

Мысль о том, что мне придется воочию увидеть Розу, сильно волновала меня. Для нас, молодых, проходивших школу массовой борьбы в Польше за идеи международного социализма рука об руку с русским революционным пролетариатом, имя Розы Люксембург было окружено обаяньем, могущим разве сравниться с тем ореолом, которым окружено имя Карла Маркса среди мирового пролетариата.

Каждая статья ее, блиставшая убийственным для противника остроумием, поражавшая его неотразимой логикой и глубиной марксистской аргументации, была для нас, польских социал-демократов, ведших борьбу поистине не на жизнь, а на смерть с польским социал-патриотизмом, большим событием.

И вот довелось увидеть ее. Помню, как билось сердце, когда я переступала порог комнаты, куда доложили обо мне. Но на меня взглянула пара удивительно умных, мягких глаз, и взгляд этот как-то сразу меня успокоил. Сообщив, что т. Тышка скоро вернется, Роза сразу же, просто и ласково стала расспрашивать меня о Варшаве, о том, как сиделось и т. д.

Между прочим поинтересовалась узнать, какое впечатление произвел на нас побег т. Тышки из тюрьмы. Этот последний бежал незадолго до этого из Мокотовской каторжной тюрьмы в Варшаве, будучи приговорен к 8 годам каторги. Побег этот был так мастерски задуман и проведен обладавшим какой-то необычайной, железной волей и смелостью т. Тышкой, что произвел, особенно на нас, заключенных, впечатление какого-то волшебства. Я рассказала Розе, как т. Юзеф (Ф. Дзержинский) крикнул нам из мужского корпуса «Павияка»: «Parasol uciekł» («зонтик бежал»). Т.-е. как «parasol»?—недоуменно спросила Роза, смутив меня, догадавшуюся, что ей неизвестно это комичное прозвище, данное т. Тышке кругом варшавских товарищей за его забавную привычку носить при себе неотлучно, и в солнечную погоду, и в лунный вечер, некий таинственный зонтик, с которым он будто бы не расставался и в камере. В ответ на это сообщение, раздался взрыв веселого, прямо рассыпавшегося искрами по комнате смеха, поразившего меня своею молодостью.

Для выполнения одной небольшой партийной работы, мне пришлось в течение некоторого времени бывать в доме Розы Люксембург, и я имела возможность ближе присмотреться к ней.

На стене комнаты Розы висел портрет (карандашем), помнится, Константина Цеткина, сына Клары Цеткин, которого я застала у Розы во время первого моего посещения. На мой вопрос, чья это работа, она мне весело ответила:—«Моя, хотите и вас нарисую»,—и тут же показала несколько других портретов.

Помню: был летний вечер, в комнате было полутемно от абажура, я сидела за гостеприимным столом Розы, за ужином. Откуда-то доносились аккорды сонаты. Прислушиваясь к ним, Роза спросила, люблю ли я музыку. Я поинтересовалась узнать, играет ли она.—«Училась, да бросила,—ответила Роза, улыбаясь,—тогда считала это буржуазным занятием, а затем рано стала заниматься рабочим движением, не хватало времени». И так мило и мягко было при этом ее лицо.

Лицо Розы Люксембург было из тех, о которых снимки дают, так сказать, лишь формальное представление. Его надо было видеть в движении, во время беседы, в речи, наблюдать, как она с л у ш а л а. Все в нем получало тогда какое-то особенное выражение, и ее открытый лоб, с окаймлявшими его мягкими волосами, и красиво очерченный рот, такой же выразительный, как и глаза, живые, наблюдательные, умные и мягкие.

Но мягкость этих глаз иногда исчезала, они становились презрительно холодными, полными гнева и сарказма. Вспоминаю одну лекцию по политической экономии из цикла, который она читала перед тысячной рабочей аудиторией в Берлине. Ясно, четко, понятно излагала она рабочим теорию ценности Маркса. В зале стояла напряженная тишина, все взоры были устремлены на эту маленькую, так выраставшую на эстраде, женскую фигуру. С каким-то сосредоточенным умилением не отрывал от нее глаз совсем белый старик с головой, сильно напоминавшей Маркса. Глаза Розы были спокойны. в них отражалась твердая уверенность в научной незыблемости того, что она

излагала рабочим. Слова ее были, как резцы, четко вычеканивавшие в сознании слушателей представление о сущности Марксовой политической экономии. Вдруг, какое-то вскользь брошенное замечание лекторши обеспокоило ухо, присутствовавшего по прусскому обычаю на лекции, представителя власти, и он сделал Розе внушение. И надо было видеть, какой едкой иронией блеснули ее глаза, какую язвительную реплику бросила она оторопевшему блюстителю государственных устоев.

Все они: упитанные немецкие буржуа, славные прусские юнкера, кичащаяся доблестью военщина,—все они безумно боялись этой маленькой, хрупкой женщины и смертельно ее ненавидели.

На одном столике в комнате Розы виднелась порядочная горка юмористических, сатирических и иных буржуазных журналов с карикатурами на нее. Все эти поклонники «вечно-женственного», т.-е. девиза: «место женщины в кухне», изливали в самых грубых, площадных эпитетах, стишках и рисунках эту свою ненависть и свою бесконечную пошлость. А Роза... заботливо собирала все эти оказательства ненависти к ней враждебных классов, как победные трофеи.

Непримиримая, как политик, она была удивительно отзывчива, добра, прямо самоотверженна по отношению к товарищам. Приезжавшие из Польши товарищи особенно испытывали на себе это ее прямо нежное отношение.

Были еще встречи с Розой Люксембург на двух Международных конгрессах, где пришлось видеть ее, как одного из величайших вождей мирового пролетариата. Но здесь хотелось запечатлеть то личное, что вспомнилось о Розе в связи с вышедшей недавно книгой ее писем к Карлу и Луизе Каутским, дающих вместе с изданными ранее письмами к Софье Либкнехт, жене Карла Либкнехта, яркое отображение этой неисчерпаемо богатой личности. Все характерные особенности этой большой индивидуальности, так чаровавшей тех, кто имел счастье несколько ближе столкнуться с ней, выявляются во всей красоте в ее переписке с близкими друзьями.

Мы не будем останавливаться здесь на чисто художественном значении этих писем. Многие из них могут по своей красоте итти в сравнение с первоклассными произведениями художественной литературы (таково, напр., письмо из Вронковской тюрьмы к С. Либкнехт от 15. I. 1917, или от 1. VI. 1917 к ней же, в котором Роза сравнивает послезакатное небо с «большой палитрой, о которую художник вытер, после прилежной дневной работы, широким жестом кисть перед тем, как итти на покой»; или письмо из Бреславльской тюрьмы в том же году к С. Л.; письмо к Луизе К. из тюрьмы в Цвикау 1904 г.; письма к ней же из Италии).

Эти письма характерны прежде всего одним: в них Роза Люксембург выступает при всем многообразии оттенков, настроений, чуткого, временами до болезненности чуткого человека, при всей сложности и многогранности своей психики, как удивительно цельная натура, точно переливающийся бесконечными оттенками слиток. Она остается одинаково молодой, с пенящейся, как шампанское, по выражению Каутской, и пьянящей других Lebensfreude. Она умеет любить так, что ей нипочем сорвать звезды с неба, чтобы

«подарить их как запонки»; она порывает навсегда с другом, с которым ее связывали узы многолетней, глубокой дружбы, когда обнаруживается, что в чисто политической области их пути разошлись, как это было с Каутским. Она, проводя целые годы в заключении, не перестает жить интенсивной внутренней жизнью, и все переживаемое — от любованья набухающей почкой ранней весной или пением соловья средь грозы в летние сумерки, от детской радости по поводу спасения жучка и пронизывающего душу сострадания к «брату буйволу», от страстного наслаждения красотой испанской песни Гуго Вольфа или Бетховенской сонаты до интеллектуального наслаждения наукой во всем ее многообразии, от общественных дисциплин до ботаники и геологии включительно, — все это претворялось в ней в одно цельное творческое миросозерцание борьбы.

В одном из своих тюремных писем к Софье Либкнехт на третьем году мировой войны Роза, говоря о своей близости к птицам, природе, пишет, что не хотела бы быть ложно понятой, будто она находит «в природе успокоение, как многие обанкротившиеся политики»... «вы ведь знаете, что, несмотря на все, я все же надеюсь умереть на посту: в уличной битве или в смирительном доме».

В борьбе была для нее высшая радость. «Carissima Luigina,—пишет она, обращаясь весело по-итальянски к Луизе Каутской, — давайте поздравим прежде всего друг друга с Кенигсбергским процессом (1904 г.). Это поистине праздник радости и победы, я по крайней мере так это чувствую, надеюсь, что и вы испытываете то же, несмотря на жару и все красоты природы... Чорт возьми, ведь этакая кровавая расправа над Россией и Пруссией попрекрасней всех зубчатых гор и смеющихся долин!»

Выражая в другом письме (в том же 1904 г.) свое удовольствие по поводу того, что Каутский собирается «ударить по так наз. головам» оппортунистов, она внушает своему другу по борьбе: «Но ты должен сделать это охотно и радостно, а не так, между прочим, ибо публика чувствует настроение борющихся, а радостность в борьбе придает ей ясный резонанс и нравственное превосходство». «Как можно,—пишет она в том же письме,— быть «элегически» настроенным после такого конгресса (в Амстердаме) между двумя битвами, когда радуешься, что живешь на свете...». «Я пишу это не за тем, чтобы тебя «подстрекать»—мне чужда такая безвкусица, — кончает Роза это письмо, — а чтобы вызвать в тебе радость в твоей же полемике, или, по крайней мере, сообщить тебе мою радость, ибо куда девать мне ее в камере № 7» [1]).

Бывали моменты, когда эта «камера № 7» вызывала складки нетерпения на ясном лбу Розы. «Бендель, наверно, удивится,—пишет она, обращаясь к младшему сыну Каутских и извиняясь, что потеряла в своей камере хранившееся для него перышко птички, — как можно в камере — а в моей — семь шагов в длину и четыре в ширину—вообще что-либо потерять. Ах, Бендельхен, в такой камере можно потерять даже нечто большее, как

---

[1]) Все цитаты из переписки с Каутскими взяты из немецкого оригинала.

это, например, случилось с моим терпением. Был мрачный дождливый день, и я напрасно искала его под столом...».

Но такое состояние не длительно. «Ты удивляешься, — пишет она Каутской,—что я думаю в моей келье о музыке. Я думаю вообще обо всем, особенно обо всем радостном».

Тринадцать лет спустя, в 1917 году, на третий год мировой бойни, она пишет Софье Либкнехт:

«Итак, вчера я думала, как странно, что я постоянно живу в радостном опьянении — безо всякой особенной причины. Так, например, я лежу здесь, в темной камере, на твердом, как камень, матраце, вокруг меня царит в доме обычная кладбищенская тишина, кажется, что находишься в могиле, из окна на одеяло падает свет фонаря, который всю ночь горит перед тюрьмой. Изредка глухо слышится отдаленный шум проходящего поезда или совсем близко под окном откашливание часового... И я лежу тихо одна, окутанная этими черными покровами темноты, скуки, неволи, зимы — и при этом сердце мое бьется от непонятной, неведомой внутренней радости, как если б я шла по цветущему лугу при сияющем, солнечном свете. И я в темноте улыбаюсь жизни, как-будто бы я знала какую-то волшебную тайну, изобличающую во лжи все злое и печальное... И при этом я сама ищу причину этой радости, и ничего не нахожу и снова смеюсь сама над собой. Я думаю, что тайна эта—не что иное, как сама жизнь: глубокая ночная темнота прекрасна и мягка как бархат, если только правильно взглянуть в нее, а в скрипе сырого песка, под медленными тяжелыми шагами часового, тоже слышится маленькая прекрасная песня жизни, если только уметь правильно слышать».

«Жизнь издревле приносила с собой страданье, разлуку и тоску... — пишет она в том же году из тюрьмы во Вронке в письме к С. Либкнехт,—но нужно всегда принимать ее со всем и находить в с е красивым и хорошим. Я, по крайней мере, так делаю. И я бы не хотела ничего вычеркнуть из своей жизни и пережить что-либо иначе, чем оно было и есть...» В другом письме из той же тюрьмы она пишет Луизе Каутской: «Помнишь ли, как мы возвращались втроем с вечеринки у Бебелей, и затеяли в полночный час на улице настоящий лягушачий концерт; ты тогда заметила, что когда мы вместе, то у тебя всегда такое чувство, точно ты пьяна, словно мы пили шампанское». И вспоминая дальше песни любимого композитора Гуго Вольфа в исполнении своего приятеля, талантливого исполнителя Файста, она замечает Каутской «А ты, наверно, потеряла теперь всю охоту к музыке надолго, твоя голова полна забот о пошатнувшейся мировой истории, а твое сердце полно стенаний по поводу Шейдеманов и К°. И кто только мне ни пишет, все так же стонут и воздыхают. А я не нахожу ничего более смехотворного, чем это. Разве ты не понимаешь, что всеобщая катастрофа слишком в е л и к а, чтобы изливать по поводу нее стоны. Я могу, скажем, огорчаться, если заболеет Мими (ее любимица—кошка) или если тебе не по себе. Но когда весь мир трещит по швам, то я пытаюсь п о с т и ч ь, чтó и почему произошло, и, поняв, в чем моя обязанность, я опять спокойна... И у меня остается еще в с е, что меня

всегда радовало: музыка и живопись, облака и ботаника, весна и хорошие книги, и Мими, и ты,—добавляет она шутливо,—и еще многое, словом, я архибогата и думаю остаться такой до конца. Это саморастворение в жалкой будничности мне вообще непонятно и несносно». Напоминая своему другу о Гёте, который в период Великой Французской революции, когда «весь мир казался каким-то сумасшедшим домом», не переставал творить в области естествознания и в тысяче других областей, она говорит: «Ты, может быть, возразишь мне, что Гёте не был ведь политическим борцом, но я скажу, что борец-то уж должен подняться повыше, чтобы не застрять носом во всякой тине».

«Постичь, что происходит, и вывести отсюда свои обязанности». Во время революции 1905—1906 гoда, будучи арестованной в Варшаве, она писала в тюрьме статью за статьей, брошюру за брошюрой, высылая из «камеры № 7», в которую ее заключило царское самодержавие, одну творческую идею за другой в помощь революционному рабочему движению; в «камере № 7» прусского милитаризма она выковывала «письма Спартака», и хрупкая, слабая здоровьем, она почти никогда не проронит слова жалобы о себе, поддерживая дух в своих друзьях, и живя всем, что есть в мире прекрасного — о музыке ей снятся сны — и кует оружие для своих товарищей на воле.

«Надо быть, как горящая с обоих концов свеча», любила говорить Роза, как упоминает в своем предисловии Луиза Каутская. Такой и была она как в художественном творчестве, так и в строго научной теоретической работе. Свою капитальную книгу о «Накоплении капитала» писала она в таком же опьянении художника, как могла, не отвлекаясь ничем другим, рисовать до опьянения картины. Трудно сказать, где в Розе Люксембург начинается художник, и где революционный теоретик и боец. Личность ее была так гармонично цельна, что с нею могут сравниться разве крупнейшие личности из эпохи Возрождения. Она — предвестница нового Возрождения, более высокого, Возрождения, освобожденного от классов человечества.

ЗА РУБЕЖОМ

Англо-французская борьба[1]).

М. Танин.

Франция, Англия и „восстановление" по-версальски.

(Окончание).

Одним из средств для осуществления своих грабительских целей франузский империализм избрал репарацию.

Репарационный вопрос принадлежит к числу тех проклятых, до смерти адоевших вопросов, о которых рядовой читатель знает тем меньше, чем ольше о нем пишут. Он знает, что репарация, это — какие-то астрономиеские цифры, какие-то бесконечные миллиарды, которые Франция настойиво требует, а Германия не платит, и что из-за репараций заварилась каша Руре. Этими и подобными туманными представлениями и ограничиваются о «знания». «Стоит мне взять в руки газету и увидеть там заголовок «Реарации», как мне прямо дурно делается, и я бросаю газету», — приходится эредко слышать даже от более квалифицированного коммуниста и советкого читателя, вообще. Такой подход к вопросу, пожалуй, гигиеничен, но не собенно серьезен. Репарационный вопрос нужно знать. Компартия всех стран зависимости от внешнего и внутреннего положения каждой страны прихоится и еще придется давать на него не только в его целом, но и в его частногях тот или иной конкретный ответ. И даже после лобеды Германской ревооции, германскому пролетариату, вероятно, еще придется чувствовать тяесть этого проклятия, наследия проклятой империалистичесйо бойни.

Чем дольше тянется канитель репарационной проблемы, тем меньше ней остается общего с «репарасион» в прямом смысле слова, т.-е. с восгановлением разрушенных департаментов северной Франции. И, действиэльно, вокруг дела восстановления, о котором Национальный Блок и его завительство вечно говорят с пеной у рта и с горячим патриотическим фосом, во Франции, как уже указывалось, разыгралась вакханалия бессостной демагогии с целью отвлечь внимание масс от зияющих дыр бюдета и огромных долгов, вакханалия бешеной спекуляции в политическом

---

[1]) Статья была написана в начале октября, ход событий после этой даты не няет основных моментов англо-французской борьбы, обрисованной в статье. За это емя англо-французский антагонизм еще более обострился.

и в простом смысле этого слова и грызня различных клик капитала. Когда союзы бедных и средних слоев, пострадавших от военных разрушений, пытались вступить в переговоры с Германией о привлечении германского капитала и живой силы для строительных работ, репарационные спекулянты и их правительство всячески саботировало эти переговоры.

Против этой вакханалии вокруг дела восстановления протестуют даже некоторые представители французской буржуазной общественности. Так, напр., Роберт Шевенье в органе левого блока «Ле Прогре Сивик» (от 13 сент. сего года) пишет:

> Экономические параграфы Версальского мира используются известными магнатами французской индустрии до бесстыдства, до скандала. Эти же промышленники сделали все возможное, чтобы помешать восстановлению того, на что пострадавшие имели право... Поставки натурой, которые могли бы принести такую пользу делу восстановления, саботировались крупной индустрией... Подумать только о Висбаденском договоре Жилле-Рупеля... Крупные промышленники уже позаботились о том, чтобы эти договоры, предусматривавшие непосредственные поставки материалов из Германии, не принесли никакой пользы пострадавшим из бедных и средних слоев. Ведь выполнение этих договоров составило бы конкуренцию отечественной промышленности и ограничило бы привилегию тех, которые рассматривают разрушенные области, как свою „колонию".

В самом деле, договор Жилле-Рупеля дал возможность пострадавшим получать поставки натурой на весьма выгодных и удобных условиях. Привилегии этого договора были потом распространены и на другие страны, ставшие во-время на сторону Антанты. И вот оказалось, что до марта 1922 г. Франция сделала заказов только на сумму в 6,8 миллионов марок золотом, в то время как маленькая Португалия, в войне не пострадавшая, сделала этих заказов на 21,6 миллионов марок золотом.

Нужны ли более красноречивые доказательства этого саботажа действительного восстановления хозяйства мелкого люда, разрушенного в войне?

С другой стороны, когда речь заходила о восстановлении предприятий и имущества крупных капиталистов, тогда «работа» протекала с таким поразительным успехом, что восстанавливалось даже то, что не было разрушено. Так, например, компания Анзен, чей капитал до войны не превышал 12 милл. фр., получила из государственных репарационных кредитов, отпускающихся в счет будущих платежей Германии, 343 миллиона франков!

Такова изнанка репарационной проблемы. Когда в парламенте «прекрасной французской демократической республики», насчитывающей ни больше ни меньше, как 140 миллионеров, обсуждался вопрос о способах восстановления, депутат севера Греспе воскликнул: «Лучше оставить развалины нетронутыми в их страшном опустошении, чем опозорить их прикосновением рук убийц и поджигателей» (немцев). И палата миллионеров бешено аплодировала Греспе, который в сущности разболтал секрет репарационной политики французского капитала — не особенно торопиться с лечением ран северной Франции, вы-

пячивать их, назойливо выставлять их напоказ в целях «высокой политики» нео-наполеоновского империализма.

А так как пути последнего неизбежно перекрещиваются с путями великобританского империализма, то репарационный спор из франко-германского естественно должен был превратиться в франко-английский. Раз репарации стали для Франции рычагом давления, расчленения и окончательного порабощения Германии, предлогом к захвату Рура, подготовляемой аннексии Рейнской и Саарской областей — этих главных центров германской индустрии, то Англия естественно оказалась заинтересованной в разрешении этого вопроса не менее Германии.

Сильная в сельско-хозяйственном отношении Франция до известной степени — самодовлеющее экономическое целое, в то время, как торгово-промышленная Англия, главным образом, зависит от связи с внешним миром. Разрушение германской промышленности и торговли репарационным нажимом Франции, захват Рура, это, по выражению Болдуина, перочинный ножик в часовой механизм Европы, и в то же время, прибавим, острие штыка в сердце Англии. Ибо расстройство этого механизма вызывает тяжелое расстройство всей экономической жизни Англии, которая тысячами зубчатых колес соединена с ним. «Внешняя торговля Англии, — жалуется Ллойд-Джордж в «Дейли Хроникл» (25 авг.), — сократилась до 75%; долг увеличился в 10 раз, а налоги — в 4 раза». Вопрос о безработице 1 — 2 милл. производителей, выбитых из орбиты производства вот уже четвертый год и поглощающих даже и при ничтожном государственном вспомоществовании огромные суммы,—этот вопрос стал одним из наиболее наболевших центральных вопросов английской жизни. И английская дипломатия совершенно права, когда она в постоянной перепалке с Пуанкаре твердит: безработица— вот наша область военных разрушений, не менее ужасных, чем разрушения северной Франции.

Один из наиболее талантливых английских публицистов, редактор весьма влиятельного «Обсервер», Гарвин, дал как нельзя более меткую выразительную формулу, поистине, трагического экономического положения Англии. «Продавать — или умирать!» (We must sell or starve!). А Ллойд-Джордж в одной из своих последних речей об экономическом кризисе Англии в связи с разрушительной политикой Пуанкаре заявил: «Наполеон бросил нам, что мы—нация лавочников. Да, это так. Мы величайшая нация лавочников в мире».

И вот Франция ограбила заграничных клиентов этой лавки, выбросила своей безумной политикой на улицу миллионы клиентов—и пусто и угрюмо стало в лавке, и один из ее хозяев, Ллойд-Джордж, бьет тревогу: «О хлебе насущном — вот о чем думает народ. Из груди ее вырывается старый вопль: дай нам, боже, и в этот день наш хлеб каждодневный. И народ не обратит никакого внимания на программу, которая не отвечает на эту молитву».

Но эту программу ни Ллойд-Джордж, ни Болдуин не в состоянии дать действительно находящемуся в отчаянном положении народу. В основном во-

просе европейской политики — в германском вопросе, в частности в отношении репараций, британская дипломатия либо ничего не делала, облегчая таким образом работу французской дипломатии, либо пыталась кое-что делать, когда уже было слишком поздно, либо же просто делала глупости. Вообще у Англии никакой политики в репарационном вопросе не было, и по сей день — нет. Разве английские дипломаты, теперь доказывающие Пуанкарэ, требующему 132 миллиарда марок золотом, что и 50 миллиардов вряд ли удастся получить, — разве они не выдвигали во время мирных переговоров бешеную цифру 480 миллиардов?.. Разве «сам» Ллойд-Джордж не проводил так называемых «выборов под знаком хаки» (khaki election) в декабре 1918 г. под логунгом «заставить Германию платить»? Разве он не требовал похода на Берлин, когда Германия отказывалась подписать Версальский договор [1]). Разве он не санкционировал в 1920 г. оккупации Дюссельдорфа, Дуинсбурга и др. рейнских городов, чтобы заставить Германию платить? Между тем тогда уже было ясно, что единственной правильной политикой для Англии, с точки зрения ее капиталистических интересов, было бы активно поддерживать Германию против Франции, во всеуслышание отказаться от репарационной астрономии, выдвинуть реальную конкретную репарационную программу сотрудничества с Германией, как того теперь требует вся трезвая английская общественность.

Вместо этого Англия занималась тем, что после долгих внутренних колебаний она, наконец, решалась скинуть один-другой гипотетический миллиард с фантастических цифр Парижа; вместо этого Англия иногда косвенно, иногда прямо, подбивала Германию на противодействие Франции, но в последний момент оставляла ее на произвол дипломатов Национального Блока, пораженных буйным репарационным помешательством.

Ценой такой «политики» английская дипломатия надеялась избежать разрыва с Францией. Но и в этом отношении она обанкротилась: разрыв налицо, разрыв не при удержании своей позиции, а при капитуляции перед Пуанкаре.

Но было бы несерьезно об'яснять все это суб'ективной слепотой и глупостью руководителей английской внешней политики. Ллойд-Джордж, например, особенно в «генуэзский» период его премьерства, относительно трезво смотрел на вещи. Но над ним тяготело все прошлое, связанное с его политикой во время империалистической бойни и роковой Версальской «мирной» конференции. После всех призывов к сокрушению Германии, к союзу с прекрасной демократической Францией, после всех пламенных призывов к жертвам, жертвам и еще раз жертвам для «войны, чтобы покончить с войнами»,—после всего этого Ллойд-Джордж не мог, об'ективно не мог вдруг повернуть руль и сказать народу: «Я вам говорил, что Франция это — воплощение идей демократии, цивилизации и международной гармонии. Но оказалось не так. Франция—самая опасная угроза делу мира, самая опас-

---

[1]) Мемуары Вильсона, составленные его близким сотрудником Бекером: Вудро Вильсон, Мировая война. Версальский мир. Гос. Изд. 1923 г. Стр. 451.

ная угроза для Англии. Нужно теперь поддержать Германию против Франции». Правда, теперь он это говорит. Почти во всех его статьях, печатающихся (без нарушения авторского права и материальных интересов экс-премьера; об этом он позаботился) в крупнейших органах печати всего мира, он прямо вопиет об угрозе со стороны Франции, о попытках «увековечения достижений Наполеона» («Дейли Хроникл», 11 авг.). Но теперь уже, кажется, поздно. Слишком много глупостей наделано, слишком хорошо их использовал Пуанкаре.

Это видно будет из дальнейшего анализа фактической стороны репарационного вопроса.

Ядро и скорлупа репарационного вопроса.

Обязуясь по Версальскому договору (ст. 231), как «виновница всех потерь и убытков», нести ответственность за них, т.-е. платить репарации, *Германия подписала незаполненный вексель, в который победители могут вписать любую сумму, как это им заблагорассудится.*

Дело в том, что общая сумма репараций в договоре не указана. Она определяется впоследствии особой союзнической репарационной комиссией в Париже с отделением в Берлине. Эта комиссия, расходы по содержанию которой — а они оказались прямо-таки бешеными — уплачиваются Германией, не связана ни с какими законами, кроме законов Версальского договора; она при выполнении условий этого договора «руководится справедливостью, верностью и добросовестностью». Она имеет право требовать от германского правительства сведения об экономическом и финансовом положении страны, *предписывать ему проведение законов* в интересах репарационного дела, опубликование соответствующих распоряжений и т. д. Словом, репарационная комиссия в Германии, это, как заявил в свое время германский мининдел Симонс, «государство в государстве».

Сумма репараций включает не только восстановление разрушенного в войне, но и убытки за повреждение здоровья и чести (!), будущие расходы союзников на пенсии военным инвалидам, семьям павших воинов и всякие убытки «вообще». (Против этого эластичного словечка «вообще» Германия в свое время пыталась протестовать, но безуспешно.) Эта общая сумма определяется только 1 мая 1921 г. (Версальский договор был подписан 28 июня 1919 г.) Впрочем, статья договора об общей сумме репараций формулирована недостаточно ясно, и Пуанкаре в ноте Керзону от 30 июня заявляет: «Было бы актом сугубой неосторожности установить теперь раз-на-всегда платежеспособность страны, которая добровольно разрушила себя (!)... Мы можем, проснувшись лет через десять, увидеть перед собой такую цветущую и сильную Германию, что мы бы... горько раскаялись, что окончательно назначили платежеспособность Германии в момент, когда она этого требовала...». Это возмутительное по своему откровенному цинизму официальное заявление свидетельствует, что *Франция намерена тянуть жизненые соки из Германии до бесконечности.*

В качестве задатка в счет будущих репарационных платежей, Германия обязалась выдать почти весь свой могущественный торговый флот, 50% всего наличия запасов химических продуктов, огромное количество железнодорожного подвижного состава, поставлять ежемесячно 4,2 миллиона тонн угля, выдать различные строительные материалы, живой скот — 40.000 кобыл, 700 жеребцов (вот, что значит, восстановление с перспективами на будущее...), 140.000 коров, 100.000 овец и т. д.

Согласно оценке германского правительства, сумма сделанных Германией поставок и выдач, согласно всем этим требованиям, составляет 21,1 миллиарда марок золотом. Союзники же оценивали их только в 7 — 8 миллиардов и стали требовать пополнения сумм в 20 миллиардов, которую Германия должна была внести до 1 мая 1921 г.

Начинается период хваленых конференций, которые должны определить окончательную сумму репараций и найти средства, чтобы заставить Германию платить. После каждой конференции неизменно опубликовывается шаблонное официальное комюнике, в котором говорится, что союзники по взаимному удовлетворению пришли к общему согласию по всем затронутым вопросам и т. д. На деле же брешь между Англией и Францией, от одной конференции до другой, все увеличивалась. Первые конференции (С.-Ремо, Гайт, Булонь) не дали никаких конкретных результатов. На конференции в Спа (5—16 июня 1920 г.) было достигнуто соглашение, в силу которого доли отдельных союзников в репарациях устанавливаются в 52% для Франции, 22% — для Англии, 8% — для Бельгии, а остальное — для других союзников. Но договориться об общей сумме репараций так и не удалось. Были только выработаны правила окончательного разоружения Германии и ее угольных поставок. Затем следует конференция экспертов в Брюсселе (16—22 декабря 1920 г.), «рекомендации» которой отклоняются Францией, а после нее созывается новая конференция, на сей раз в Париже (24 — 30 января), которая вырабатывает следующую программу репараций:

Германия уплачивает в течение 42 лет (1921 — 1963 г.) ни больше ни меньше, как 226 миллиардов марок золотом плюс 12% ее экспорта. Эти неслыханные требования (по расчетам Кейнса Германии пришлось бы платить ежегодно 8 миллиардов марок золотом, между тем, как ее максимальная платежеспособность, при условии предоставления ей займа и моратория,—2 миллиарда марок ежегодно) были пред'явлены Германии в ультимативной форме. Так как кабинет Фернбаха уклонялся от прямого ответа на ультиматум, то 8 марта 1921 года последовали так называемые «санкции». Были заняты Дуисбург, Рурорт и Дюссельдорф, при чем оккупированные области были отрезаны от остальной Германии таможенным кордоном. В этой военной оккупации, как уже указывалось, участвовала и Англия, ныне так горячо протестующая против оккупации Рура.

В апреле 1921 г. новая конференция союзников в Лондоне отправляет Германии новую ультимативную ноту. Союзники, еще недавно с астрономической точностью подсчитавшие сумму репараций в 226 миллиардов марок

золотом плюс 12% германского экспорта, теперь уже требуют «только» 132 миллиарда марок зол.

Платежи производятся таким образом: Германия выдает 3 серии обязательств: боны А на миллиарды марок зол., боны В — на 38 миллиардов зол. и боны С — на 82 милл. зол. Вначале выдаются только боны на первые 2 серии на общую сумму в 50 мил. марок, и по ним Германия должна начать платить проценты. Что же касается серии С, то она выпускается лишь в будущем, согласно особому решению репарационной комиссии, и процентов по ней Германия пока платить не должна.

Следовательно, если реальное значение первых двух серий довольно сомнительно, то серия С—это уже совсем какая-то аморфная проблематичная величина. Это следует подчеркнуть, так как с этой мудреной серией нам еще придется столкнуться ниже при выяснении вопроса о долге, причитающемся Англии с Франции.

В погашение этих долговых обязательств, Германия должна платить 2 миллиарда марок ежегодно и 26% германского экспорта. За выполнением этих обязательств следит особая гарантийная комиссия, заседающая в Берлине, которой даются полномочия распоряжаться в Германии, как в колонии. В ультиматуме союзники, и опять-таки Англия в том числе, угрожали оккупацией Рура в случае невыполнения их требований.

Но даже и эти огромные требования казались Франции слишком «мягкими», и нужно было большое давление со стороны Англии и Америки, чтобы провести их. Кабинет Фернбаха не решился выполнить этот ультиматум, и он вынужден был подать в отставку. Его место занимает кабинет Вирта, сделавший своим лозунгом «эрфюлингс-политик», политику выполнения домогательств союзников. Вирт стал платить. Так называемый «налоговый компромисс», проведенный соглашателями против воли масс, сделал невозможным действительное привлечение буржуазии к несению репарационного бремени. Деньги для первого миллиарда «выполнения» были собраны не путем обложения имущих, а путем краткосрочных займов в Голландии и Швейцарии (которые потом покрывались закупкой иностранной валюты за счет увеличения эмиссии), и переводом значительной суммы запасов серебра Рейхсбанка за границу. Все это, естественно, вызвало падение германской марки. Но пока у предпринимателей еще сохранялись запасы заграничного сырья, это давало им возможность низкой ценой бить своих конкурентов на заграничных рынках. Тогда в союзных странах поднялся крик о германском «домпинге», т.-е. конкуренции путем низких цен. И создался таким образом заколдованный круг: с одной стороны, Германия может платить союзникам только увеличением своего экспорта, а с другой стороны, те же союзники, имея перед глазами призрак возрождения былой мощи германской промышленности, убивали ее репарационным нажимом и, в частности, преграждали путь ее экспорту различными протекционистскими мерами. Англия,

например, провела ряд мер к затруднению доступа германских химических красок и других товаров на свои рынки.

Попыткой прорвать этот круг было нашумевшее в свое время сепаратное франко-германское Висбаденское соглашение (6-го октября 1921 г.), заключенное между Ратенау и Лушером. По этому соглашению, центр тяжести репарационных взносов переносится в германские доставки натурой для целей восстановления разрушенных областей Франции; при чем эти доставки должны быть такого рода, чтобы не конкурировать с французским производством. Это соглашение вызвало целую бурю в Англии, так как в нем усматривалось начало сотрудничества германского и французского капитала, направленного против Англии. Однако Висбаденский договор так же, как и аналогичные договоры Стиннес - Люберзак и Жилле - Руппель, не дал конкретных результатов, по причинам, которые излагались выше.

Из дальнейших перипетий развития репарационной проблемы следует *остановиться на конференции банкиров (23-го мая—июня 1922 г.)* с участием «самого» Моргана, для выяснения условий предоставления займа Германии, в связи с репарациями. Иностранный капитал, в частности, американский, от которого германская буржуазия и соглашатели так надеялись получить заем, сказал свое веское слово: «В некоторых из наиболее важных стран, а именно в Соединенных Штатах и Великобритании, капиталисты не чувствуют привлекательной силы в предоставлении Германии займа, который рассчитан на разрешение репарационной проблемы». Газеты, однако, сообщали, *что Морган якобы из'являл готовность* участвовать в предоставлении займа Германии при следующих наиболее существенных условиях: 1) в срок действия условий займа не может быть произведена оккупация германской территории союзниками (теперь, после захвата Рура, это условие приобретает особый смысл); 2) обязательства займа имеют приоритет над репарационными обязательствами; 3) сокращение суммы репараций.

Следует иметь в виду, что, если бы даже с этими условиями были связаны серьезные намерения, то они только лишний раз подчеркивают безнадежность положения насчет займа. Они относились приблизительно к тому времени, когда, под напором крайней реакции во Франции, «либерал» Бриан должен был уступить свое место Пуанкаре и, вместе с ним, славным традициям «тигра» Клемансо. К тому же в резолюциях банкиров сквозят самые серьезные опасения насчет возможности «социального переворота в Германии, которого, конечно, всякие кредиторы боятся хуже смерти.

Что же касается вопроса о займе в настоящий момент, то Кейнс пишет:

> Очень маленький полуфилантропический заем по линиям, предполагаемым для Австрии, предназначенный для того, чтобы помочь самой Германии (т.-е. не для уплаты репараций. *М. Т.*) опять стать на ноги — вот без сомнения максимальное, что можно ожидать в близком будущем... Большой международный заем — это абсурд, невозможная вредная химера. Мало найдется таких, которые одолжили бы Германии хоть бы одно пенни... в ее нынешнем положении... Слишком большой риск политического характера не может быть компенсирован процентной прибылью („Нью Рейоблик“ 13. VI. 1923).

Это писалось, когда доллар стоил 70—80 тыс. марок. Что же говорить о возможности займа теперь, когда отношение доллара к марке выражается в семизначных цифрах, когда «политический риск» увеличивается во столько же раз, во сколько пала марка?

Таким образом надежда на урегулирование проклятого репарационного вопроса, с помощью иностранного займа, в частности, с помощью богатого американского дядюшки, получила еще один сокрушительный удар.

После лондонской конференции англо-французская борьба вокруг репарационного вопроса еще более обостряется. Пуанкаре ведет определенную линию пред'явления провокационных а приори невыполнимых требований; Бальфур, сменивший миротворца Ллойд-Джорджа, ведет крайне нерешительную, слабую политику, отчасти вследствие создавшихся об'ективных условий в обще-европейском масштабе, отчасти под давлением франкофильских «твердокаменных» консерваторов (Дай-Хардс и их могущественной прессы («Дейли Мэйл», «Морнинг Пост» и т. д.). В этой борьбе позиция Пуанкаре укреплялась тем, что германские капиталисты, продолжая саботаж налоговых мероприятий, не желали, как и по сей день не желают, платить хоть сколько-нибудь, чтобы заткнуть глотку французским империалистам.

В репарационной политике Бальфура следует отметить его ноту накануне неудачной Лондонской конференции (7—14 августа 1922 г.), которая в переводе с дипломатического языка на просто человеческий означает: **Англия будет требовать в общей сложности от Германии и от Франции столько, сколько ей самой (Англии) придется уплатить Америке.** Но это уже—**вопрос о долгах,** органически связанный с вопросом о репарациях.

Начнем с основных фактов. Французский военный долг Англии достигает 600 миллионов фунтов стерлингов[1]), или 12 миллиардов золотом. Происхождение этого долга таково: во время войны Франция стала выпускать займы на лондонском рынке, выдавая свои облигации за полученные суммы. Для более успешного хода займа, между Францией и Англией было достигнуто соглашение, в силу которого облигации стали выдаваться английским правительством с тем, чтобы потом производить расчеты между правительствами. Таким образом перед английским подписчиком на французские займы теперь ответственно не французское, а английское правительство, которое и насчитывает по облигациям проценты. Словом, французский долг Англии ничем не хуже английского долга Америке. Между тем, Англия уже начала платить Америке, закабаливши не только нынешнее, но и будущие поколения. Она обязалась погасить свой долг в 4,6 миллиарда долларов до 1984 г. годичными взносами в 160—184 миллионов фунтов стерлингов. «Мы будем платить Америке,—жалуется Кейнс (англ. «Нейшен», 4 августа),—в течение 64 лет ежегодно сумму, превышающую все наши довоенные долги, больше общей суммы прибыли нашего торгового флота и всех наших копей, вместе взятых. При

---

[1]) Всего союзники должны Англии, по расчетам последней, 1.1893 миллиона ф. ст., из коих Россия должна 693 милл. ф. ст. (?).

равных жертвах в течение такого периода лет мы могли бы уничтожить наши трущобы и выстроить дома для половины нашего населения, которое теперь живет в несовершенных жилищных условиях...» [1]).

Англия, конечно, стала выполнять свои обязательства по отношению к Америке не в силу своих добродетельных качеств, а в силу железной необходимости заручиться ее благорасположением против Франции. Но факт остается фактом: Англия, как должник, платит свои военные долги чистоганом. Но Англия, кредитор, не получает от Франции ни одного пенни. Есть, действительно, от чего приходить в благородное возмущение правительству величайших лавочников в мире, как говорит Ллойд-Джордж! Это чувство выливается через край дипломатических условностей в ноте Керзона от 11 августа. Эта нота — один из наиболее тяжелых снарядов в англо-французской дипломатической перестрелке. Она состоит из целых 55 параграфов плюс меморандум о долгах и наиболее полно отражает взгляды Англии на важнейшие спорные вопросы. Эта нота, в числе прочих, была опубликована только после долгих пререканий с Парижем относительно допустимости их соглашения. Ввиду ее исключительного значения, мы приводим из нее большие выдержки (тем более, что в нашей печати о ней были только краткие отрывистые сведения, главным образом, на основании предварительных сообщений иностранных газет до ее опубликования).

По вопросу о долгах Керзон пишет:

> Чтобы обязательства казначейства французского правительства, данные британскому правительству за полученные ценности, имели меньше силы, чем обязательство, данное частному заимодавцу — это недопустимая доктрина...

Далее еще раз подчеркивается упомянутое предложение Бальфура:

> Правительство его величества придерживается политики ограничения требований Великобритании по отношению к ее союзникам должникам и Германии суммой, требуемой для покрытия британского долга правительству Соединенных Штатов, недавно консолидированного и... представляющего сумму в 14,2 миллиарда марок золотом... Это предложение означает, что Великобритания согласна отказаться от всех своих прав на репарации по всем статьям и рассматривать свою собственную часть в германских платежах, как будто бы она была уплатой долга со стороны союзников.
>
> Из этой суммы в 14,2 миллиарда марок золотом Великобритания очень заинтересована в получении максимально большего процента от Германии, чтобы иметь возможность предложить максимум осязательных уступок в отношении междусоюзнических долгов...

И, полемизируя с Пуанкаре, Керзон пишет:

> Когда выпускались займы, и речи не было о том, что их погашение будет находиться в зависимости от взысканий с Германии. Более того, в течение долгого периода перспектива получения таковых платежей была весьма проблематична.

[1]) Жилищный вопрос в связи с невыполняемыми обещаниями, данными Ллойд-Джорджем, когда срочно требовалось пушечное мясо, — один из наиболее наболевших в Англии.

Облигации подлежали возобновлению в течение ограниченного срока только после войны, с определенной целью, что как только французский кредит будет в доста точной степени восстановлен, они должны быть выкуплены из средств французских займов на лондонском рынке, при чем полученные таким путем деньги должны быть употреблены на погашение британских ценных бумаг, выданных за счет Франции (на основании упомянутого соглашения.).

Продолжая возобновлять эти облигации даже после срока предусмотренного соглашения, правительство его величества молчаливо признали [1]), что время для выполнения означенной цели (выкупа облигаций Францией) еще не пришло. Но должно быть ясно понято, что, при отсутствии нового соглашения, таковое выполнение является долгом французского правительства, который с честью отклонен быть не может и что практикуемое теперь насчитывание процентов на капитал не может продолжаться бесконечно, и что должно быть сделано начало платежам.

Итак, в отношении долгов — довольно толстые намеки... Что же отвечает на это Пуанкаре? Как ловкий адвокат, он и в качестве неплатящего должника за словом в карман не полезет. «Мы признаем свой долг; мы не думаем его оставить без уплаты,—пишет он в своем ответе на английскую ноту, опубликованную 22-го августа, в виде Желтой Книги (по цвету дипломатии Пуанкаре, что *ли*?).—Но... но военные долги,—аргументирует он,—это только часть военных расходов». Далее, по мнению Пуанкаре, §§ 231 и 232 Версальского мирного договора, а также решения конференции союзников от июня 1916 г. устанавливают приоритет репараций, т.-е. возмещения убытков от военных разрушений над возмещением расходов на военные цели и над военными долгами, следовательно. И, претендуя на такой приоритет, французская нота подчеркивает решение «не уступить ни одного сантима из кредитов по репарациям (выданных французским правительством в счет будущих германских платежей) и не выпускать взятого залога (Рура) до полной уплаты репараций». Конкретнее: «Мы можем платить только после того, как мы получим то, что нам следует от Германии. Мы будем требовать от Германии, кроме 26 миллиардов по бонам А и В, столько, сколько будут требовать от нас». Другими словами, только после получения по праву приоритета этой суммы Франция начнет платить свой долг вышеупомянутыми бонами С. На это Англия отвечает [2]):

«Лучше совершенно аннулировать французский долг, чем создать себе иллюзию получения долга, получая на деле непригодные бумажки».

Это заявление не следует, конечно, понимать в буквальном смысле. Здесь только вспышка возмущения обиженного в лучших собственнических чувствах кредитора. Англия пока не собирается аннулировать французский долг без таких компенсаций со стороны Франции, о которых Пуанкаре и слышать не хочет.

---

[1]) „Признали" — не признало. Не опечатка. В ноте по отношению к правительству его величества неизменно употребляется множественное число совсем в стиле: „Мы, Николай II".

[2]) Из речи бывш. канцлера казначейства Роберта Горна в Труне, 4 сент.

Что же касается требования приоритета, т.-е. снимания пенки с репараций, английская нота от 11-го августа решительно высказывается против этого, так как:

> Ясно, что, если требования Франции и Бельгии, в связи с их разрушенными в войне районами, будут удовлетворены полностью до того, как будут разбираться претензии других союзников, и если в то же время суммы, подлежащие взысканию с Германии будут уменьшены (а ведь это не подлежит сомнению! *М. Т.*), то от потери вследствие такого уменьшения неизбежно пострадают те, которые не будут пользоваться привилегией „приоритета".

Лорд Керзон, конечно, прекрасно понимает, что если ждать, пока Франция получит свой фунт мяса — 26 миллиардов — и ни сантима меньше, то доля Англии даже в «надежных» бонах А и В будет стоить не больше пресловутых бон С... И он жалостливо показывает раны английского империализма:

> Помимо тяжелых материальных утрат, понесенных Великобританией, правительство его величества теперь связаны крупными платежами в связи с безработицей, на которую они за период, истекший после перемирия, вынуждены были потратить свыше 400.000.000 фунт. стерл.

Рур в дипломатической переписке.

Но центр тяжести английской ноты в вопросе о Руре. Много места уделяется в ноте вопросу о законности оккупации Рура с точки зрения Версальского договора. Тут филиппика Керзона-Пуанкаре вертится вокруг § 18, добавление 11 к ст. VIII Версальского договора, в котором говорится, что в случае невыполнения Германией взятых на себя обязательств, союзники могут предпринять «экономические и финансовые запретительные меры и репрессии и, в о о б щ е, такие меры, какие могут показаться целесообразными с о о т в е т с т в у ю щ и м правительствам, в зависимости от условий». Но не стоит входит в тонкости того, что немцы называют «Haarspalterei» (расщепление волоса на части), в связи с трактовкой словечка «вообще» и «соответствующие».

Укажем только, что Керзон настаивает на незаконности оккупации Рура и требует передачи вопроса на усмотрение Гаагского трибунала или другого арбитражного органа. Пуанкаре отстаивает противоположную позицию и указывает, что сама Англия в 1920 г. приняла участие в «санкциях», выразившихся в оккупации Дюссельдорфа, Дуисбурга и Рурорта.

Весь этот якобы абстрактно-юридический спор, конечно, имеет известное значение лишь постольку, поскольку он оттеняет позиции Англии и Франции в отношении окончательной судьбы Рура.

Во французской ноте от 30-го июня Пуанкаре по этому вопросу заявлял: «Франция и Бельгия будут эвакуировать Рур лишь по мере внесения платежей Германией». Это выражение повторяется в ноте несколько раз. Но вместе с тем дается обещание, в случае лойяльности Германии, сделать оккупацию «настолько легкой, насколько это только возможно...».

На это английская нота отвечает:

> Очевидно, полная эвакуация не предвидится, пока Германия не погасит весь свой репарационный долг. Повторные заявления в этом смысле, и на-ряду с этим — настаивание на том, что сумма германской задолженности по счету репараций не должна быть уменьшена — все это может быть только истолковано как намерение остаться в Руре в течение многих лет, в лучшем случае не меньше, чем на 36 лет (минимальный срок, на который распространяется „программа платежей"). А так как, согласно общепринятому мнению, полное осуществление этой программы практически ни в каких условиях не осуществимо, то оккупация может продолжаться бесконечно если не вечно.
>
> Такое положение, политические последствия которого, не говоря уже об экономических, нельзя охарактеризовать иначе, как пагубными, не может быть рассматриваемо правительством его величества иначе, как с тревогой.

И, чтобы покончить с этим положением, английское правительство предлагает, чтобы была созвана «беспристрастная» комиссия с участием представителя Америки для определения платежеспособности, при чем раз'ясняется, что «максимум таковой не может быть получен складыванием тех сумм, которые германские кредиторы хотели бы получить», и что «насильственное вмешательство в экономическую жизнь Германии, если оно даже укладывается в рамки Версальского договора, не может способствовать необходимому восстановлению». Нота заканчивается такой знаменательной фразой:

> Правительство его величества не хотели бы считаться с возможностью необходимости сепаратных действий, с целью ускорить решение, которое не может быть отложено без самых серьезных последствий для восстановления мировой торговли и мира.

Что означает предположение об экспертной комиссии в связи с этим заключительным абзацом? Что Англия хочет прежде всего покончить с репарационной комиссией, которая открыто характеризуется в ноте, как «инструмент исключительно франко-бельгийской политики», и привлечь на свою сторону Америку как суперарбитра в ее споре с Францией. В репарационной комиссии должен был, согласно Версальскому договору, участвовать и представитель от Америки. Но, ввиду отказа последней ратифицировать этот договор и принимать участие в работах репарационной комиссии, представитель Франции, с его правом председателя на решающее мнение, в случае разделения голосов поровну, вместе с представителем Бельгии имеют возможность проводить любые решения против голосов Англии и Италии; тем более, что последняя далеко не всегда поддерживает английскую позицию.

Но что Болдуину—здорово, то Пуанкаре—смерть. «Слова «беспристрастные эксперты» заимствовано британским правительством из германской ноты». Полемизирует он с Болдуином в ноте от 30-го июня, решительно отклоняя английское предложение и, по обыкновению, ссылаясь на святую-святых — Версальский договор. Этот упрек насчет единого фронта с Германией повто-

ряется в значительно более острой форме, в связи с нерешенным еще в то время вопросом о пассивном сопротивлении.

Мы убеждены, — замечает та же нота,—что если бы только британское правительство просто дали знать Германии, что они не одобряют такой политики (пассивного сопротивления)... порядок был бы немедленно восстановлен.

И это заявление, в сущности, соответствует действительному положению вещей. Англия действительно подзуживала Куно и Штреземана продолжать пассивное сопротивление в Руре. Английское посольство в Берлине—вот что служило германским дипломатам путеводной звездой в их рурской горе-политике. Но эта ставка на английское посольство оказалась битой, вследствие органической неспособности Куно, Штреземанов и Гильфердингов организовать живые силы германского народа — пролетариат в первую голову — для оказания сопротивления захватчикам. А это, в свою очередь, не давало достаточного стимула и без того колеблющейся английской дипломатии для действенного вмешательства в пользу Германии.

Мы наметили таким образом основные моменты репарационной проблемы в связи с англо-французской борьбой. Со стороны Франции мы видим неослабный, беспощадный нажим, не столько рассчитанный на получение репарационных платежей, как на расчленение Германии, на захват в той или иной форме ее тяжелой промышленности, на низведение ее на степень колонии французского империализма. Со стороны Англии—половинчатую, колеблющуюся политику, полную всяких противоречий и зигзагов.

Но в то же время правящие круги Англии начинают сознавать банкротство старой репарационной политики с ее миражем миллиардов. Они убеждаются на примере затяжного экономического кризиса в Англии, что нельзя безнаказанно для всей экономической системы Европы и, в частности, Англии разрушать хозяйство Германии, что нельзя отдавать Германию на поток и разграбление Пуанкаре, мечтающему о полной гегемонии в Европе. Это убеждение еще больше врезывается в сознание английских общественных и правящих кругов теперь, когда пассивное сопротивление прекращено, а Пуанкаре не высказывает желания уйти из Рура.

К чему приведет, — с тревогой спрашивает Керзон в своей речи на цестерской конференции,—прекращение пассивного сопротивления? Какая форма администрации теперь будет установлена в Рурской области? Вопросы эти имеют жизненное значение. Франция неоднократно заверяла нас, что к моменту, когда пассивное сопротивление закончится, между союзниками начнутся переговоры. Но этого нет.

Та же тревога звучит в статье наиболее влиятельного английского журналиста Гарвина в редактируемом им «Обсервере» (23-го сентября).

Какой режим будет установлен в Рурской области? Будут ли Франция и Бельгия обращаться с ней, как со своей собственностью или они будут совещаться с нами о том, как быть в дальнейшем?

И Гарвин, в общем поддерживающий нынешний кабинет, все же пишет:

Если Болдуин и его коллеги не смогут обеспечить Великобритании участие в устройстве мира, достойное нашему участию в войне, тяжестям и лишениям на-

шего народа, то мы после приближающейся зимы под знаком безработицы очутимся перед **новым правительством, которое пойдет по другому пути.**

Эти слова, без сомнения, весьма показательны для настроений, царящих в Англии

Один вопрос доминирует над всей английской политической жизнью в связи с новым положением в Европе:

Что же делать Англии?

Правительство Болдуина бессильно дать ответ на этот вопрос. Оно раздирается внутренними противоречиями; при каждой попытке сделать решительный шаг Болдуина дергают за веревочку «твердокаменные» консерваторы. Ллойд-Джордж совершенно прав, когда он дает такую характеристику кабинету Болдуина («Дейли Хроникл», 1 сентября):

> Все министры придерживаются непримиримых между собой взглядов насчет того, что предпринять, как предпринять и в каком направлении предпринять... Они сходятся только в одном пункте: ни один не знает, что предложить конкретного.

Таково положение в правительственных кругах. Что же думают английские политические группировки? Пойдем справа налево. О «твердокаменных» консерваторах мы уже говорили. Они представляют собой, главным образом, родовую земельную аристократию — лэндлордов, которые неспособны правильно реагировать на расстройство, вносимое в экономическую жизнь Англии авантюристской политикой Пуанкаре, как это делает левое крыло — промышленные элементы—с президентом «Федерации Британской Индустрии» Эллен-Смитом. К тому же, Франция близка сердцу «твердокаменных», как оплот мировой реакции. Вот главные причины франкофильства этой группы, немногочисленной, но располагающей могучим орудием пропаганды—прессой лорда Ротермира с ее 4 миллионами читателей. Но значения этого фактора для будущего развития англо-французских отношений не следует преувеличивать. Кака только «твердокаменные» поймут, что их отечество, действительно, находится в самой серьезной опасности, они сразу переменят тон. И совершенно прав известный английский публицист, пацифист Норман Энджел, когда он говорит («Нью Рейоблик», 19 сентября):

> Как раз те, которые теперь требуют: шапки долой перед Францией! как раз те в конце концов вовлекут нас в неразрешимый конфликт с Англией *М. Т.*).

Правда, теперь лорд Ротермир против конфликта. Он указывает на политическую и военную силу Франции и на опасность столкновения с ней для Англии.

> Где найдем мы союзников?—пишет он в «Сондей Пикториал»,— когда они нам понадобятся? Европа без Антанты—это фатально означает огромное увеличение вооружений.. Это означает **неизбежность новой большой войны**, в которой мы, возможно, не сможем рассчитывать на наши доминионы... Это означает, что мы должны организовать воздушную армию в 3.000—4.000 аэропланов, что вы-

зовет огромные расходы. Мы должны будем немедленно, не дожидаясь военных действий, ввести всеобщую воинскую повинность... Лондон может быть легко атакован с европейского континента (дальнобойными орудиями) и с воздуха... Мы не можем брать высокий тон в споре с Францией. Наше правительство идет большими шагами к новой мировой войне.

Но лорд Ротермир напрасно нападает на тех, которые хотят «порвать Антанту». Это сделать невозможно, и по весьма простой причине: Антанта давно уже разлетелась на куски. Можно говорить только о том, чтобы как-нибудь склеить ее, но и это дело совершенно безнадежное. Что характерно в статье лорда Ротермира, это — сознание неизбежности англо-французской войны, если события будут развиваться в том же направлении, что и теперь. Характерны и следующие слова Ротермира:

Если наше правительство будет настаивать на, очевидно, принятом им решении (порвать с Антантой), то нужно, чтобы мы увеличили наши военные силы в огромных размерах... и т. д.

Тут как будто чувствуется такой подход: я против разрыва, но если вы делаете такую глупость, то уже приготовьтесь как следует; лучше, чтобы мы побили Францию, нежели Франция—нас.

Для настроения консервативных кругов здесь также уместно будет отметить, что в сентябрьской книжке солидного журнала «Найтиент Сенчури» помещено не меньше 4 статей на военные темы: «Настоятельная необходимость обязательной воинской повинности», «Сингапур», «Как мы будем воевать в 2023 году» и «Воздушные силы и воздушное сумасшествие». Заголовок последней статьи может создать впечатление, что автор против воздушных вооружений. Но ничего подобного. Он только опасается, чтобы из-за увлечения воздушным вооружением не стали бы относиться небрежно к нуждам армии.

Большая воздушная сила необходима,—пишет он.—Будучи сильными в воздухе, мы будем в состоянии отбивать военные атаки прежде, чем они достигнут наших берегов (благодаря особым тонким приборам, дающим возможность уловить шум аэроплана, когда он еще находится на далеком расстоянии).

Откуда могут итти эти атаки, если не из Франции? Автор не ставит точки над «и», но он советует Англии последовать примеру Франции, которая, «несмотря на то, что она имеет воздушную силу, превышающую силы любых двух держав, вместе взятых, имеет армию более сильную, чем до войны».

В статье об обязательной военной службе автор, человек военный (капитан И. Кокс), считая даже излишним распространяться в шаблонном стиле о миролюбии и т. д., высмеивает пацифистов с их планами о всеобщем разоружении, этими «советами о самоусовершенствовании, которые только вызывают вздох». Выдвигая лозунгом дня лозунг Кромвеля: «На бога надейся, а порох держи сухим», автор энергично требует увеличения всех видов вооружения.

Перейдем теперь к либеральным кругам. У независимых либералов (партия Асквита) так же, как у консервативной партии в целом, нет определен-

ной программы в вопросах об отношениях с Францией. Что же касается национал-либералов, то их лидер, Ллойд-Джордж, в своих последних выступлениях резко критикует нерешительную политику Болдуина, но ответа прямого на проклятый вопрос — «что же делать Англии?» — не дает. Он только указывает на опасность со стороны Франции. «*Нас выталкивают из Европы*,—заявил он недавно.—*Не хочу я этого, как британец, не хочу!*»

И к этому озлоблению, охватившему британца, вовсе не следует относиться с пренебрежением. Часто повторяемая фраза: «Англия уходит из Европы» может иметь известное содержание в смысле некоторой передвижки центра тяжести ее политики в сторону внутри-имперской и колониальной политики. *Но понимать ее так, что Англия примирится с фактом французской гегемонии в Европе—значит не знать «природы» английского империализма и империализма вообще. Современная международная политика не знает границ континентов. Уйти из Европы, значит для Англии — сойти с мировой сцены, как первоклассной державе, уйти в ничто. Не таков английский империализм. Он без боя не на живот, а на смерть, не уйдет.*

Определеннее выступает радикальная интеллигенция, в частности, фабианские круги. Они относятся враждебно к Франции, как к европейскому жандарму, и эта вражда еще усиливается националистическим моментом. *Они готовы на соглашение с советской Россией и Германией против Франции.* Для характеристики этих настроений мы приведем несколько более обширную выдержку из весьма интересной статьи в фабианском «Нью Стэтсмен» от 4-го августа:

> *В настоящем положении вещей, всякая дальнейшая дискуссия равносильна победе французской политики и поражению британской.* Мы дошли до такой черты, когда самые храбрые и суровые слова, но не сопровождаемые действиями, могут обозначать не что иное, как капитуляцию. Г. Болдуин и лорд Керзон... не предприняли ни одного практического шага для защиты британских интересов. Пусть их политика более благоразумна и мужественна, чем „благожелательная импотенция" г. Бонар-Лоу; она на деле привела точь-в-точь к тому же результату—фактическому неоспариваемому господству французской политики в Европе.
>
> Но можно поставить вопрос: что же делать? Для нас ответ ясен. *Давайте раньше всего положим формальный конец „Антанте".* Вот уже около двух лет, как она существует только на словах, но дух ее все еще преследует нас и нарушает мировой мир. Все еще приходится слышать, как люди, которые сильно настроены против рурской политики Франции, все еще говорят о большом значении англо-французской дружбы, о священных узах, которые связывают оба народа и о безусловной необходимости их сотрудничества для того, чтобы достигнуть восстановления Европы. *Мы этой необходимости не видим.* Вот уже 4 года, как мы наблюдаем это сотрудничество, и мы не можем представить себе какую-либо другую комбинацию сил, которая настолько ухудшила бы положение вещей. Правда та, что *эти „священные узы" оказались проклятием Европы.*

И, перейдя к тону горькой иронии, «Н. С.» говорит:

Чувства, скрывающиеся за этим термином („священные узы"), весьма почтенны... Но не можем ли и мы любить своих братьев „по оружию" и все же не позволить им разрушить мир? Наконец, ведь должна же быть граница времени для этих чувств. Война теперь отошла в историю. А ведь если оглянуться назад, народы почти всего мира были нашими братьями по оружию. Сколько требуется времени для того, чтобы такие воспоминания лойяльности перестали быть фактором, определяющим политику? Недостаточно ли для этого 4-х лет или, чтобы платить дань этому братству по окопам, Европа должна страдать еще 4 года.

Похоронить Антанту и самое память об Антанте—вот первый необходимый шаг для восстановления Европы.

Призрак С. С. С. Р.

Дальше автор переходит к характеристике новой политики Англии, вытекающей из такого положения. Здесь он уже выражается с некоторой дипломатической осторожностью, но смысл его слов ясен: соглашение Англии с сов. Россией и Германией против Франции.

Раз этот шаг будет сделан, тогда могут быть приняты другие шаги... Раз Франция перестает быть для нас больше, чем наши другие союзники (по войне), скажем, Италия и Россия, то уже нетрудно себе представить те шаги, которые могут быть предприняты британским правительством для защиты британских интересов и сохранения Европы от угрожающей ей теперь опасности. Нет нужды обрисовать эти шаги в деталях. Скажем только, что британское правительство, приняв последнее германское предложение, может стабилизировать марку. А затраты на это будут до смешного малы в сравнении с благодатными результатами, которые увеличили бы английскую торговлю; эти затраты, впрочем, можно будет окупить. Оно могло бы также настаивать на коренном смягчении экономического режима в Руре. Оно могло бы дать временную финансовую поддержку германской индустрии путем кредитов на основании солидного обеспечения. Короче говоря, оно могло бы установить экономическое соглашение с Германией, а через Германию, возможно, и с Россией. Словом, без единой угрозы и враждебного акта, британское правительство могло бы нанести поражение французской политике в Руре и наметить новую группировку сил в Европе.

Как бы ни относиться к политической комбинации «Нью Стэтсмен», она весьма симптоматична. Это—попытка ответа на вопрос, который, по мере обострения отношений между Англией и Францией, должен стать все более актуальным. И действительно, за последнее время мы видим в Англии ряд симптомов, указывающих на усиление тенденции за сближение с С.С.С.Р. Факт допущения тов. Раковского в Лондон после бешеной свистопляски «Морнинг Пост» и других органов «твердокаменных», меморандум индустриальной группы парламента, требующей распространения схемы кредитования экспорта и на сов. Россию, заявления ездивших к нам представителей крупнейшего промышленного об'единения Бекос, наконец, заявления Болдуина о том, что огромный русский рынок должен стать резервуаром, куда Германия смогла бы направить свой усиленный экспорт, чтобы таким образом упла-

тит репарации,—все эти факты свидетельствуют о том, что под напором французского империализма английский капитал начинает все внимательнее смотреть в сторону советской России. В том же направлении двигается и английская общественная мысль.

С другой стороны, аналогичные тенденции, но с острием, уже направленным против Англии, явно намечаются и по другую сторону Ла-Манша. В политических расчетах сторонников сближения с советской Россией почти всегда есть анти-английский элемент. Так, например, Эррио, в интервью с автором этих строк, усиленно подчеркивал, что в восточной политике интересы Франции и России совпадают, будучи противоположны интересам Англии. Аналогичные мотивы часто проскальзывают и во французском официозе «Тан». Это особенно чувствуется во французской печати всегда, когда вопрос об англо-русских отношениях становится актуальным. Если это связано с обострением этих отношений, то вы между строк прочтете удовлетворение; в обратном случае—тревогу. Характерно отметить, что во время захвата Рура, когда стал ребром вопрос о будущем англо-французских отношений, во французской печати всплыл вопрос о континентальном блоке против Англии. По этому поводу в «Спектэторе» появилась тревожная статья, в которой этот план излагался так:

> В начале предполагалось создание латинского блока: Франция, Италия и Бельгия. Но это было бы, как выразился один французский журналист, только блоком „третьего класса". Отсюда другая идея: Россия... Россия отрывается от германского блока и присоединяется к латинскому. А Англия остается изолированной.

«Спектэтор» по этому поводу обращался за помощью к Америке, предлагая ей «опять спасти мир». А дипломатический сотрудник органа Керзона, «Дейли Телеграф», даже сообщал, что из американских кругов якобы был дан намек Пуанкаре, что Соединенные Штаты—против такого блока. В то же время Ллойд-Джордж, преисполнившись отеческой заботливостью по отношению с советской России, выразил надежду на то, что «большевики не станут совать голову в пасть такого жадного крокодила», как французский капитал; а «Нью Стэтсмен» писал:

> Признание советского правительства необходимо... Мы надеемся, что Доунинг Стрит (англ. мин. ин. дел) не упустит выгод от сближения с Россией, чтобы ими воспользовались на Ке Д'Орсе (франц. мин. ин. дел).

Мы видим таким образом, что, несмотря на моменты, об'единяющие английский и французский капитал против С.С.С.Р., факторы противоположного характера, в силу растущего упрочения С.С.С.Р. и прогрессивного обострения англо-французских отношений, все более и более выступают на политическую авансцену. Эти факторы приобретают еще большее значение, ввиду благоприятной позиции Рабочей Партии по отношению к С.С.С.Р.

Отношение Рабочей Партии к англо-французскому антагонизму имеет огромное значение. Она—не только массовая партия английского пролетариата, но и партия, имеющая серьезные основания надеяться в близком будущем стать у руля власти.

Рабочая Партия за последнее время сделала ряд официальных резких выступлений против французского империализма, требуя от английского правительства решительного энергичного отпора. Но значение этих выступлений может быть правильно оценено лишь, если иметь в виду, что их источником является не революционный интернационализм, а патриотизм с явственным империалистическим оттенком. И неудивительно поэтому, что, несмотря на внешний пацифизм, милитаристические тенденции в Рабочей Партии довольно сильны. При голосовании военных кредитов на нынешний бюджетный год вся фракция Рабочей Партии голосовала вместе с буржуазными депутатами утвердительно. (Только по вопросу о морской базе в Сингапуре, что даже многими буржуазными политиками рассматривается, как предмет милитаристской роскоши, тов. Ньюбольду, конечно, выступавшему против всей сметы, удалось увлечь за собой часть рабочей фракции.)

Лидер оппозиции его величества и Рабочей Партии уже теперь чувствует себя премьером Великобританской империи и, сообразно с этим, направляет политику партии. Недаром одна американская газета писала по поводу одного его выступления в парламенте по вопросу о Руре, что «Макдональд настолько лойяльно поддерживал внешнюю политику Болдуина, что его речь носила характер выступления члена правительства».

Все это, конечно, ничего доброго не сулит для будущего хода англо-французской борьбы. Английская компартия еще слишком молода; влияние Макдональдов и Гендерсонов на массы все еще сильно, и своей политикой они об'ективно ускоряют кровавую развязку этой борьбы.

И неудивительно, что Остин Гаррисон, фактически проповедуя в выше цитированной статье в «Форейн Афферс» войну с Францией, обращается с призывом в ее пользу именно к английскому рабочему классу:

> Франция решила осуществить план Наполеона о господстве в Европе. Для британского рабочего класса это вопрос огромной важности, ибо если мы будем насаждать в нашем народе дух непротивления, Франция задушит Европу, а потом и нас... Мы должны не медля построить огромный воздушный флот для защиты.

Эту мысль—постройку огромного воздушного флота—Гаррисон еще раз повторяет с большой настойчивостью при обсуждении вопроса о роли Америки:

> Америка, говорит он, если бы она хотела выступить, могла бы изменить положение в одну ночь. Мы тоже могли бы это сделать, если бы рабочий класс бросил всю свою силу в дело постройки большого воздушного флота, который был бы достаточен, чтобы составить опору для нашей дипломатии.
>
> Дипломатическими нотами ничего нельзя достигнуть, если за этими нотами нет действительной силы. И Франция знает это... Политика, которую ведет Франция, это — война... Никто больше не верит в благочестивые протесты, в Лигу Наций, мировые конференции. Эта трагедия фатальная, как греческая драма...

> Европа обречена на милость одной державы, которая вооружена и не боится вмешательства, которая преследует определенную политику в о й н ы. Мы отброшены назад, к тем условиям, за уничтожение которых мы воевали,—к в о й н е как биологической (?) необходимости...

Война.

Война, войны, войне... Война склоняется на все лады... О войне пишут. О войне говорят. Говорят, правда, и против. Но никогда еще в истории не «заговорили» войны. Зато всегда договаривались до войны...

Впрочем, достаточно послушать «противника войны», и от его слов так и обдаст войной. Послушаем лорда Грея. Лорд Грей — это полстолетия капиталистической дипломатии. Лорд Грей знает, что такое война. Но он противник войны с Францией. Так он заверяет.

Но прислушаемся к нему хорошенько:

> Мы должны соизмерить мощь нашего воздушного флота с мощью сильнейшей в этом отношении державы, находящейся в непосредственной от нас близости.

(Еще не хватает прибавить к этому тонкому дипломатическому намеку—державы, начинающейся на букву Ф...)

> Если эта конкуренция по вооружению будет продолжаться, то она несомненно приведет к новой более ужасной войне, чем последняя. Англия может погибнуть, если она окажется не в состоянии защитить себя. Но если конкуренция в области вооружений будет продолжаться, то погибнет вся Европа... (Из речи Грея в палате общин 14 июля.)

С одной стороны: если эта конкуренция будет продолжаться, а с другой: нужно вооружаться, нужно взвинчивать, ускорить темп этой конкуренции...

Так говорит противник войны лорд Грей. Лорд Сельсбери вслед за Греем 18 июля «торжественно предупредил», как сообщают газеты, в палате лордов, что «как только одна война кончается, надо готовиться к другой».

В заключение послушаем еще одного авторитетного противника войны— послушаем еще Ллойд-Джорджа (речь в Веслеене 24 июля):

> Не нравятся мне все эти дела... Они тревожны, они зловещи. Только кончилась Великая Война, а теперь в Европе под ружьем больше людей, чем до войны, несмотря на то, что десять миллионов убили. Народы готовятся. Народы изобретают орудия войны. Сатана опять начинает шалить...

Так говорят о н и все в один голос:

— В о й н а.

А ведь они знают, ох как знают, что такое война и как она делается...

Положение серьезное, катастрофически-серьезное. Мы живем в начале 1914 г. Нужно всегда думать о грядущих новых июльских днях 1914 г...

Не нужно переоценивать тенденций английских и французских капиталистов к сговору за счет Германии. Они, конечно, имеются и действуют.

Возможность англо-франко-германского треста для эксплоатации Рура не исключена. Но эти тенденции неизмеримо слабее противоположных. Не будем впадать в ошибку Гильфердинга, когда в новогоднем обзоре во «Фрейхейт» (1 января 1922 г.) под влиянием Вашингтонской конференции писал о «новой мировой политике», о коренном изменении природы империализма в сторону «осиления противоречий отдельных государств» путем «надгосударственных союзов и организаций», путем превращения их государств в «мировые хозяйственные целые» (Weltwirtschaftliche Gemeinsamkeiten).

Полный восторга по поводу великих достижений вашингтонских миротворцев, Гильфердинг рисовал тогда такую идиллию:

> Новый метод соответствует пацифистской идеологии, сильно выступающей в англо-саксонском мире (?!). Борьба на Дальнем Востоке исключается... с помощью конференции. Огромные расходы по вооружениям теперь становятся faux frais, бесполезными расходами капиталистической экспансии... И как методы картелей и трестов имеют преимущество перед методами свободной конкуренции, так нова метода мировой политики превосходит старую.

Словом, пацифист в Гильфердинге окончательно сбил с толку экономиста, и он уже видел перед собой стройную правильную централизованную организацию хозяйства в мировом масштабе, исключающую вооружения и войны — все это при капитализме!

Так подействовали на Гильфердинга бумажки Вашингтонской конференции, предусматривавшие только незначительное сокращение одного вида одной категории вооружений — крупных единиц флота, при полной свободе вооружений во всех других областях на море, на суше и в воздухе!

Еще двух лет не прошло с тех пор, как Гильфердинг возвестил миру совершенно новую эпоху «мирного капитализма». И теперь вся буржуазная печать, в свое время столько трубившая о мироспасительной конференции, в один голос говорит, что все ее резолюции — это клочки бумажек. А американский сенат еще раньше, сразу после закрытия конференции сорвал венец вашингтонского творения — Тихоокеанский договор, — приняв «поправку» Брендижа, сводящую его на круглый нуль.

Нужно остерегаться ошибки Гильфердинга. Нужно считаться с англо-французской войной, как с уже назревшим событием решающего значения в ходе мировой революции. Европа «чревата» англо-французской войной, общей войной. Зачатие произошло в Версале. Сколько еще осталось исторических месяцев милитаристической беременности, знать не дано. Но ясно: если революция во Франции, в Англии не опередит милитаризма (а темп последнего пока значительно быстрее), то Европа в близком будущем разрешится войной.

К такому развитию событий нужно подготовить массы политически. Нужно перед глазами масс настойчиво, до на-

зойливости настойчиво, при каждом соответствующем конкретном случае, ставит вопрос соглашателям:

— Гроза идет. Вы это же сами сознаете. Что вы сделаете тогда, когда гром грянет и молнии взорвут пороховые погреба Европы?

Массы должны это видеть и чувствовать:

Призрак бродит по Европе — призрак англо-французской войны.

За ним по пятам следует другой призрак — призрак революции.

Домашние боги.

М. Пришвин.

Пришли записаться.

Канцелярист волисполкома большого приволжского села затерял мой протокол и нервно двигал ящиками своего стола. Чтобы не раздражать его своим глядением, я начал ворон считать.

— Ты не забыл,—спрашивала меня стена,—уплатить подоходный налог?

С другой стороны:

— Ты не забыл купить облигацию?

С третьей:

— Ты не забыл застраховаться?

На третьей стене была женщина с младенцем в руках, лицо у нее было обыкновенное, но подол был сделан, как у Сикстинской мадонны, и вообще контуры были взяты целиком у Рафаэля. За дамой бежало множество детей с цветами, подпись издали я не мог разобрать, но догадался: «Ты не забыл детям привить оспу?».

— Да,—говорили женщины сзади меня в очереди,—с малыми детьми доля, а вырастут,—хлебнешь горя вдвое.

— Нашел, нашел!—крикнул канцелярист и передал мне протокол.— Следующие!

Выступил бледный молодой человек и с ним маленькая девушка, уточка.

— Вам что?

— Записаться,—ответили новобрачные.

— Рубль золотом,—сказал канцелярист, указывая на стену.

Там висела бумажка и на ней было написано:

— Рождение — рубль золотом.

— Брак — рубль золотом.

— Смерть — рубль золотом.

Пришли расписаться.

Через месяц я стоял в очереди к юрисконсульту в нарсуд. За мной была уточка с пожилой женщиной,—верно, это была ее мать.

— Не вы ли месяц тому назад записались?—спросил я.

— Мы записались,—ответила старая,—а вот теперь расписаться шли.

— Скоро!—сказали назади.

Женщина, казалось, ничуть не стесняясь публики, хотела было рассказать, почему так скоро пришлось просить о расторжении брака, но дверь крылась, и юрисконсульт попросил меня.

Я сказал, что мне очень хотелось бы принять участие в комиссии по стной разработке брачного вопроса.—Мне бы хотелось,—об'яснил я,—убить вопрос, нельзя же удовлетворяться формулой: «записались—распишись».

Юрисконсульт был не ученый юрист и не успел еще забить себе голову кими мыслями, он принял меня радостно, и тут же мы стали обсуждать, отив какого зла мы должны выработать проект закона: первое зло—распространение дурной болезни—казалось нам, сильно можно уменьшить требованием медицинского удостоверения, но второе зло, что жених теперь сто является спекулянтом по брачным делам и, обобрав женщину и надив ее ребенком, исчезает—этот вопрос был сложным. Пока я делал себе обходимые справки в законах, прием опять начался, и вошла та уточка атерью.

— Расписаться пришли,—сказала мать.

— А давно ли записались?

— Месяц пожили: потому что он страстью не владеет и только ей плечи азет...

Мне показалось неудобным оставаться и незаметно я вышел, а потом, кдавшись в передней женщину с уточкой, осторожно шепнул, что ведь это сто бывает и временно, и что с доктором бы надо посоветоваться.

— Ну, доктора,—махнула рукой женщина,—я ему сто раз к сестрице етовала пойти. не хочет. Не хочешь—говорю,—так и не мучь девку.

— Может быть еще и согласится?

— И очень просто: она теперь все больше царскими каплями лечит.

— Царскими!

— Ну, да, царей-то всех выгнали, а вот, сказывают. от какого-то царя ьзительные капли остались. Сестрица на Афон холстинку посылает, а ей это оттуда эти самые капли...

— Какая-то ерунда.—подумал я.

Раб Иоанн.

Сила внушения, гипнотизм? Пустые слова. Мало ли какие есть у нас уше силы, например, сила внимания, да вот почему-то мы не внимаем, сестрица эта знает местную жизнь всю до тонкости и уж, я знаю, если нужно, сыщет не хуже начальника сыскного отделения. У меня раз прола охотничья собака, вот уж походил-то я по этим начальникам! Знаю, захотел бы, так и нашел, а вот не хочет искать, что тут поделаешь; кся я, бился, и так зря, больше для смеха, пошел к этой сестрице посовето-

ваться, со мной это часто бывает, начну советоваться и сам догадаюсь. Но советоваться и догадываться мне не пришлось.

— Знаю,—сказала старуха,—зачем пришел.

Поставила на ребро библию, ткнула в нее моим же указательным пальцем, и открылось евангелие от Иоанна.

Старуха сказала:

— Твою собаку увел раб Иоанн.

— Ванька?

— Раб Иоанн.

— Что же делать? Сестрица, посмотрите в книгу.

— Помолилась о пропавшей собаке, посмотрела в книгу и там в книге нашлось слово червонец.

— Рабу Иоанну червонец?—спросил я.

— Твоя собака теперь в глухом месте, в третьих руках, посули рабу Иоанну червонец.

Бегу я с червонцем, куда мне велено, и на другой день, смотрю, раб Иоанн ведет ко мне моего длинноухого, кудрявого друга.

Первое Соломоново дело.

У одной вдовицы вытащили из кладовки четыре мешка с рожью, все ее богатство. Бросилась вдовица по началу к деду, тот помолился и воткнул в землю палочку с наговором, что, пока палочка в земле, вор не стронет мешки из своего дома. Дед был, конечно, тоже неглупый человек: с двадцатью-то пудами куда же скоро стронешься? Везде пошел разговор, думал, думал раб Иоанн, приходит к сестрице и говорит ей, что ему на двор четыре мешка с рожью подкинули, как бы с ней разделаться. Сестрица велела ему отвезти рожь и сдать в Совет. А та вдовица, закрепив рожь у деда через воткнутую в землю палочку, прибегает к сестрице погадать, открыть священную книгу. Конечно, открылось опять: раб Иоанн.

— Иди в Совет,—сказала сестрица,—и получишь всю свою рожь полностью.

Женщина пошла в Совет и там узнала свои мешки.

Второе Соломоново дело.

Было еще, украли у женщины в голодное время новую шубу. Сестрица велит ей взять на плечи свои новые башмаки и ходить по деревням, будто она их меняет на хлеб, из дома в дом ходить, больше по богатым, и не уставать, не отчаиваться. Вот ходила, ходила эта женщина из деревни в деревню, из дома в дом, приходит, наконец, к одному богатому человеку.

— Что просишь за башмаки?—спрашивает богатый человек.

— Два пуда.

Тот засмеялся:

— Видно, ты,—говорит,—с ума спятила; посмотри-ка, намедни, что я за два пуда выменял.

И выносит показывать ее собственную шубу.

Блудный сын.

У одних почтенных родителей сын, молодой пригожий парень, связался с гадкой бабой и повадился спать с ней в коровнике; баба ни на что не похожа, даже и голова клином, и все-таки, конечно, не задаром путалась. Приходит, наконец, мать к сестрице погадать, поставили, как водится, евангелие на ребро, и открылась притча о блудном сыне.

— Надо молиться,—сказала сестрица.

Мать блудного сына оставила десяток яиц.

Проходит время.

— Ну, что же?

— Надо еще молиться.

Еще оставила мать десяток яиц.

А сестрица, конечно, не так молится, как бегает к блудному сыну и уговаривает. В конце концов уговорила или сделала так, только блудный сын бросил поганую бабу, женился на хорошей девушке и теперь даже был с ней два раза в театре (мать-то рада!).

Крестники.

Случилось это на каком-то постоялом дворе в отхожем месте, сестрица услыхала стон и привычным ухом поняла, что в отхожем месте женщина рожает. Разыскала щелку, подсмотрела: молоденькая хочет спустить своего ребеночка в клоаку. Стой! Привела молодую мать к себе в номер и велит дать младенцу грудь: известно, как мать грудью ребенка покормит, ей потом уж духу не хватит его задушить. Но та наотрез отказалась: «дома,—говорит,—покормлю»; завязала младенца в узелок и пошла. Сестрица тайно за ней идет, идет и к реке. Дело было по ранней весне, девица сунула ребенка под лед и, не оглядываясь, уходит. Сестрица хвать ребенка за ножку, вытащила, принесла, из рожка покормила. Пришла весна теплая, лето благодатное, младенец вырос в цветах. Наклюнулись бездетные люди, взяли ребенка и наградили крестную мать. С тех пор и пошло счастье по этой линии: за двести верст приезжают к ней рожать и сбывать, а кому нужны дети,—заказывают. Теперь к семидесяти годам крестников у нее и не пересчитать.

Алый гробик.

Тишина деревенская страшная, своя кровь звенит, а из этих звуков своей собственной крови складываются целые картины сражений, и рожи такие проплывают в глазах, что хоть вон беги из дома. Непременно нужно, чтобы пел сверчок, и тогда уже бывает настоящая покойная тишина, а если

не сверчек, то женский таинственный шопот за перегородкой. Не нужно смотреть свысока на эту текущую реку неписанных слов: у них тут нет газет, и такова их жизнь, и мы непременно должны слушать это устное предание, чтобы наполнить формулу «записались—расписались» местным живым содержанием. В желтом свете керосиновой лампы, обломком карандаша я записываю вот и этот еще кусочек жизни: Недавно тут у нас умерла старая няня и завещала серьги и золотое кольцо тому, кто выроет ей хорошую, сухую могилу. Сестрица нашла человека, выкопали яму просторную в супеси под сосной. И случись, как раз в этот самый вечер приходит к сестрице девушка в последнем отчаянии — она только что бросила своего ребенка в канаву: ей вдруг стало страшно, она бросилась назад, но ребенок уже замерз, она не могла найти в себе сил больше возиться с ребенком и укрывать следы преступления, завтра все откроется и ей пропадать. Старуха идет с девицей к той канаве, берет младенца, сколачивает ночью сама ящик, обтягивает красным ситцем и ночью с гробом пробирается к могиле, где завтра будут хоронить няню. Утром приносят покойницу, хотят опускать няню в могилу и ах! там на дне детский маленький гробик. По прежним временам, может быть, это «чудо» под закон подвели и сколько бы горя создали, но по нынешним слабым временам как славно отправили няню с младенцем! Мало того, старуха как-то влезла в семью преступной девицы, уговорила родителей отдать ее замуж за виновника, и теперь все следы поросли травой и цветами.

Чудесные капли.

Но куда же завела меня песня сверчка, ведь я хотел было рассказать только о начале моего исследования брачного вопроса о каких-то чудодейственных царских каплях и заехал со старухой и младенцем прямо в могилу. Я был на том заседании, где разбиралось дело о расторжении брака утицы с бледным молодым человеком. Он явился, впрочем, теперь вовсе даже не бледным и заявил, как теперь это очень часто бывает, что расходиться с женой он раздумал. Судьи всегда этому бывают очень рады.

— Поцелуйтесь,—сказал судья.

Поцеловались и кончено.

— Сестрица наладила?—тихонько спросил я мать.

Конечно, она. А те капли от последнего царя, присланные с Афона за холст, оказались, ну, как это можно было догадаться и подумать!—это были старинные капли... Датского короля.

Безбожник.

Я нарочно подобрал из слышанного мной о сестрице рассказы с хорошим концом, чтобы дать полноту картины, потому что о вреде этих гадалок, знахарок, всякого рода колдунов для медицины, для законности говорить не приходится: общее место. А хорошие дела, ведь это же—самое сильное оружие врага, против этого оружия нужно выставить свои соб-

ственные хорошие дела, с железной силой внимания к подробностям жизни, к мелочам, окружающим себя самого. Вот когда-то свергли Перуна и других официальных государственных богов, а домашние маленькие боги все остались и живут в полной сохранности до последнего нашего дня. На словах почти каждый деревенский человек засмеется, если ему скажешь про гуменника: нет и не может быть гуменника. Но если придется темною ночью итти в овин, то почти что каждый подумает: «нет, нет, а вдруг да как-нибудь и выскочит!». Если жизнь ладится, почти все мужчины презирают сестрицу, но чуть зацепилось, и этот же безбожник идет к ней «открывать евангелие». Недавно один здоровый мужик-самогонщик попался в своем запрещенном промысле, и вот даже такой человек явился к старухе открыть евангелие, погадать, долго ли ему придется сидеть. Единственный человек в нашей деревне, кто вступил в борьбу с этой силой, это—один беднейший башмачник, которого все называют ч и т а т е л е м. Чтобы существовать, просто кормиться, он работает пятнадцать часов в сутки и все-таки ухитряется постоянно выписывать себе журналы и книги (например: я познакомился с сочинениями Синклера впервые по его книгам) и, главное, при своем двойном против нормы труде находит время массу читать. Он часто заходит ко мне за книгами и редко сидит,—ему некогда. На-днях я сам и в первый раз навестил его. Пораженный, остановился я на пороге его маленькой избушки: все четыре стены, и даже начало и на потолок вылезать, были оклеены яркими картинками, пародиями на иконы из журнала «Безбожник»; нужно видеть эти иногда до отвращения резкие картинки, нужно представить себе деревенскую жизнь со сверчком и гаданиями, чтобы понять, как это поразительно. Но что мне сразу бросилось в глаза и что особенно было странно: в красном углу среди смеющихся жирных богородиц и танцующих ангелов висел образ настоящей скорбной богоматери и даже с лампадой.

— Это для чего же?

— Для людей: очень уж меня ругают.

— Ну да, поверю я, для жены, конечно,—молится?

— Нет,—рукой машет и в носу ковыряет.

— Спорите?

— Никогда...

— Спорите?—спрашиваю женщину.

— Чего же мне спорить, я неграмотная.

— Когда же нам спорить,—сказал муж,—утром она молится, а я книжку читаю, потом она чай наливает, я читаю. После чая садимся за работу и до обеда; перед обедом она молится, я книжку читаю, после обеда опять до ужина работаем, после ужина она молится, я книжку читаю, а потом спим вместе, когда же нам спорить?

— И что мне спорить, ежели я неграмотная,—говорит и жена,—вот только немного перед деревней обидно, попрекают. Намедни весной отец дьякон приходит к нам списывать, кто верующий. Спрашивает меня:

— Ты веруешь в бога?

— Почем же я знаю,—отвечаю дьякону,—ведь я неграмотная.

— Муж говорит: «запишите, что неверующие». Ну, с этим дьякон и ушел. Теперь осенью приходит к нам поп со списком.

— Как твоя фамилия?

— Баранов.

— Имя?

— Елизар.

— Почему же тебя в списках нет? кто твой сосед?

— Тютюшкин.

— Вот Тютюшкин есть, а тебя нет, а кто сосед с другой стороны?

— Шулюшкин.

— Семен тут, почему же тебя нет? удивительно, как тебя отец дьякон пропустил.

— Я ему сказал, что неверующий.

— Что̀ ты мелешь, ка̀к неверующий?

— В бога не верю.

— А... а,— сказал, подхватил подрясник и бегом от нас.

Муж и жена вместе долго смеялись над попом, как он от них пустился бежать.

— Что же делать-то, — вздохнув, сказала жена, — он грамотный, книжки читает, а я неграмотная.—бывает, и помолюсь.

Марксизм и литература.

А. Луначарский.

Мне приходилось уже указывать на то, что искусство с марксистской точки зрения может рассматриваться и как часть промышленности (как художественная промышленность), к чему теперь стараются свести целиком искусство некоторые левые марксистские теоретики, и как идеология.

До сих пор марксистские исследователи обращали особенное внимание именно на идеологический характер искусства. Даже и Гаузенштейн, раз'ясняющий с первых страниц своего большого труда «Общество и искусство», что он останавливается, главным образом, на вопросах формы, а не на вопросах содержания, потом все же уклоняется во многих местах именно к содержанию, да и форму трактует, как и следует марксисту, в такой непосредственной связи с идеологией тех классов, порождением которых данное искусство является, что у него в конце концов искусство все же получает освещение по преимуществу как идеология. Других марксистов, например, нашего русского исследователя Фриче, даже сугубо упрекают именно за то, что он, пренебрегая вопросами эволюции художественной формы, останавливается целиком на содержании.

Надо, однако, сразу заметить, что искусства в этом отношении не однородны. Эволюцию архитектуры, например, приходится в значительной мере относить к эволюции художественной промышленности и рассматривать ее в зависимости от эволюции строительных материалов, строительных орудий, финансовых комбинаций, вырастающих в различные эпохи и т. д. Правда, рядом с этим неминуемо придется говорить и об архитектуре, как об идеологии. Невозможно, хотя бы просто переводя взгляд от Парфенона к Кельнскому собору, не заметить, что дело идет не только об эволюции техники (кстати, техника по-гречески значит—строительство), но и об эволюции классовых настроений и идеалов. Но все же идеология эта в такой необычайной мере неразрывно сплетается с формами, что от нее абсолютно неотделима. Несколько иначе обстоит дело с музыкой. Здесь уже зависимости от материальной техники несравненно меньше. Конечно, можно и даже необходимо вместить в историю музыки историю инструмента, историю комбинации инструментов, но совершенно ясно, что здесь инструмен-

тальная сторона самостоятельной является только отчасти. Человек спокон веков до нынешних дней является владельцем замечательного инструмента— своего голоса, но пользуется им в разные эпохи совершенно иначе. Многие инструменты остаются сравнительно неподвижными, в то время как музыка эволюционирует до чрезвычайности. Во всяком случае, музыка есть искусство всецело идеологическое, тончайшим образом выражающее психологическую конструкцию индивидуальной и коллективной души каждого данного народа и каждой данной эпохи, и все же здесь очень трудно отделить содержание от формы, в огромном большинстве случаев даже совершенно невозможно. Здесь приходится стать на точку зрения не художественно-промышленную, не инструментальную, но все же своеобразно техническую, именно музыкально-техническую, и тогда эмоциональное содержание музыки и (косвенно) ее идейное содержание (на котором настаивал, например, Бетховен) окажется так же тесно сплетенным с этой своеобразной музыкальной техникой, как мы это видели в архитектуре.

Изобразительные искусства в собственном смысле слова, т.-е. живопись и скульптура, находятся опять-таки в новом отношении в смысле идеологического содержания. Правда, в известные упадочные эпохи они теряют свою подлинную базу, базу изобразительности, творческого претворения реальной действительности и начинают устремляться к беспредметности. Можно отметить даже целый пласт в древних культурах, когда по причинам, остро отмеченным Гаузенштейном, наступает господство архитектурности, стиля, стирающего изобразительность. Но, тем не менее, в уме каждого, когда говорят о живописи и скульптуре, возникает сейчас же представление о картинах и статуях, как изображениях, *как о предметах, более или менее ясно дающих своеобразное отражение действительности*. То, какая именно действительность выбирается как об'ект, отражаемый искусством, и то, каким образом это отражение делается, какие претерпевает оно изменения, пройдя сквозь творческую душу художника, и является идеологической стороной искусства. Общая марксистская точка зрения здесь находит себе широчайшее применение.

Я не хочу сказать, что следует, говоря об изобразительных искусствах, отделить совершенно форму. Напротив, я готов предостеречь здесь от соответственного увлечения этим и, скажем, от подмены истории живописи — историей живописных сюжетов, но факт остается неизменным: идеология, могущая быть высказанной словами, уложенной в понятия, здесь на-лицо и даже в значительной мере на первом плане.

Но больше всего идеология является доминирующей в литературе. Это понятно. Литература—есть искусство слова, а всякое слово выражает собою понятие. Слово есть, главным образом, и по преимуществу, язык интеллекта: от первоначального языка, языка эмоций, сохранились только восклицания и междометия, и сказывается эта эмоциональная сторона в речи больше в ритме слов, в повышениях, в понижениях голоса, аккомпанирующей мимике, и жестикуляции, и т. п.

Конечно, словами можно в конце концов дать представление о вполне определенном и конкретном образе, но интересно то, что слово, само по себе, не может давать образов. Каждое слово в отдельности есть уже абстракция, утерявшая свои художественно-конкретные черты, и лишь определенная комбинация слов может выразить конкретность. Если мы возьмем фразу «беленькая и зеленокудрая березка, похожая на русалочку, которую выдают замуж», и разберем эту весьма конкретную с налетом поэтичности фразу, то мы увидим, что каждое слово в отдельности остается абстрактным, но, накладываясь одно на другое, они дают более или менее конкретный образ и путем сравнения прилагают к этому образу другой, ему первоначально чуждый, создавая таким образом некоторую перемычку, некоторую ассоциацию образов из разных сфер (сферы действительности и сферы стародавнего поэтического вымысла или мифа), что и придает образу характер творчески освещенного.

Литература есть прежде всего печатное слово, и здесь я вовсе не останавливаюсь на декламации, пении, ораторском искусстве и т. д. Печатное слово лишено аккомпанимента мимики и жеста, лишено украшения через посредство тембра голоса, повышения и понижения, ускорения и замедления и т. д. и т. п. Печатное слово поэтому может выходить за пределы чистых понятий только при помощи вышеуказанных комбинаций слов, да еще ритма, рифмы, аллитераций и им подобными приемами.

Что такое представлют собою эти приемы?

Первоначально они почти все носили чисто мнемонический характер. Их употребляли для того, чтобы придать легко запоминаемый вид известному претворяемому в литературное произведение содержанию. Но сам факт, что правильный ритм, рифма, аллитерация и т. д. дают возможность легче запоминать определенную комбинацию слов, покоится на том, что этими способами придается определенная правильность, внешним образом организуется материал. Закономерность и организованность воспринимаемого материала есть сами по себе могучие эстетические принципы (сравни музыка). Эта чисто формальная сторона дела роднит литературу с музыкой. Если бы кто-нибудь слушал стихотворение или хорошую прозу на чуждом языке и совершенно не понимал содержания, то он мог бы тем не менее воспринять внешнюю красоту звучания. Как в музыке, так еще более в литературе, эта внешняя красота звучания может быть отделена от характера содержания. Художник-литератор в некоторой степени, хотя менее, чем музыкант, имеет возможность передать через внешне формальную и по существу звуковую характеристику своего произведения ту эмоцию, ту страсть, которые лежат под его словами, могущими сами по себе выразить лишь понятие. Понятия, разумеется, бесконечно многообразны. Они знаменуют часто и чисто-эмоциональные факты и явления. С этой точки зрения и проза может передавать, так сказать горячими словами, определенные переживания, и тем не менее даже самые горячие слова остаются ледяными понятиями вне вышеуказанных способов, определенной конкретизирующей комбинации слов и определенной музыкальной их обработки.

Это первая и простейшая сторона формы в литературе. Из вышесказанного следует, что форма эта должна, по существу, вытекать из содержания, т.-е. литератор-художник желает высказать некоторое содержание. Если у него такого желания ч т о-т о высказать нет, то, разумеется, не может возникнуть и сам зародыш художественного произведения. Но этого мало. Он хочет высказать свое содержание определенным образом, обратить его не только к рассудку читателя (на что больше всего претендует слово), но более или менее потрясти его, заразить его той эмоциональной окраской, той страстью, в которой сам художник воспринимает свое содержание. Для этого он его определенным образом музыкально организует. Стало быть, художественное произведение, в последнем счете, определится своим интеллектуальным конкретнообразным содержанием и той эмоцией, которая живет в душе художника.

Чем сильнее, интереснее содержание, чем цельнее, сильнее эмоция, тем, разумеется, будет действительнее и мощнее и само художественное произведение. Тут могут быть всевозможные градации; могут ставиться всевозможные цели, от шутки или выражения самой легкой сентиментальности, до стремительнейшей страсти, до пафоса отчаяния или пафоса радости.

Отделить содержание от формы в том смысле, в котором я сейчас старался определить ее, конечно, можно. Можно рассказать любое стихотворение, как бы ни сильна в нем была чисто музыкальная сторона. Но что при этом получится? Получится и н т е л л е к т у а л ь н о е содержание этого произведения. От этого оно может до крайности обеднеть. Чем меньше произведение базирует на новых идеях или на богатстве конкретных образов, тем больше теряет оно от пересказа, ибо, очевидно, если произведение действительно художественно, то эффект его при бедности интеллектуальным и реальным содержанием определяется богатством эмоций, а эмоция высказывается, главным образом, музыкальным элементом в стихотворной (и даже прозаической) художественной речи.

Можно, разумеется, проследить эволюцию музыки в литературе, т.-е. музыкальной стороны литературы и, может быть, в этой области можно установить некоторые наблюдения и законы, даже игнорируя конкретное содержание художественных произведений. Но все же приобретение на этом пути будет довольно скудным. В конечном счете и эта форма находится в некоторой тонкой зависимости от классовой структуры общества, от того строя чувств, которые доминируют в классе, обслуживаемом данным литературным произведением. А так как это классовое содержание, разумеется, выразится и в сюжетах, в идейном и реальном субстрате литературных произведений, то и тут несравненно лучше рассматривать их в неразрывной связи.

Мы встречаем в истории литературы и такие явления, когда содержание, идейное и реальное, почти совершенно улетучивается, когда обрушивается даже и эмоциональное содержание, когда форма не выражает больше ни тесно примыкающей к идейно-реальному телу одежды, ни той атмосферы чувств, которой окутано в душе художника переживаемое им содержание.

тогда форма становится самодовлеющей, абсолютно схоластической, раз-навсегда установленной, или, наоборот, виртуозно изменчивой, не в зависимости от содержания и живого чувства автора, а исключительно от стремления дать нечто новое и экстравагантное, в формальной области.

Можно всегда с уверенностью сказать, что подобная бессодержательная литература имеет своим корнем известную опустошенность тех классов, которые ее поддерживают. Стало быть, в этом смысле даже сама бессодержательность находит свое об'яснение, с марксистской точки зрения, в этом же социальном моменте. Я уже сказал, что вопрос о музыкальном элементе в литературе, как о форме первого порядка, является относительно самым легким. Далее следует вопрос структурный.

Литературное явление, в особенности, когда оно имеет значительные размеры, а стало быть и соответственное богатство содержания, должно быть организовано и построено в смысле распределения своих масс.

Литературное произведение, наподобие музыкального произведения, протекает перед психикой читателя или слушателя как некоторый длящийся, во времени развертывающийся феномен. Необходимо, чтобы читатель или слушатель охватил все произведение, чтобы ни одна существенная его часть не была забыта и затерта, чтобы в конце концов общее впечатление от произведения оказалось бы максимально упорядоченным и как бы способным вызвать в сознании читателя или слушателя некоторый единовременно звучащий аккорд, который сразу дает почувствовать с огромным богатством всю совокупность произведения.

Художественное произведение пространственное может быть анализировано в своих частях и затем синтетически охвачено одним взором, но и тут, в тех случаях, когда речь идет о больших массах, например, в архитектуре, большой задачей является как раз дать возможность охватить таким образом все целое одним суммирующим взглядом. В литературном произведении, за исключением очень коротких, дело чрезвычайно осложняется (как и в музыкальных). Здесь физически невозможно воспринять содержание как единовременное. Это возможно только некоторым соответственным творческим актом читателя. Например, когда мы говорим себе «Илиада» или «Война и мир», мы сразу представляем себе даже на большом расстоянии от чтения какой-то своеобразный аккорд внезапно возникающих, быстро сменяющих друг друга образов определенной музыки, определенных сочетаний чувств и т. п. Вот эта общая окраска, общая характеристика, которые можно затем вновь разложить на отдельные части, легко разбираясь в них, крепко держа в руках некоторую путеводную нить, есть в конце концов то, что остается от литературно-художественного произведения, как некоторый аквизит в душе публики. Разумеется, многое зависит тут от способности самого читателя, но чрезвычайно многое и от конструкции самого произведения. В самом процессе чтения и в особенности в том плодотворном воспоминании о нем, в каковой форме произведение продолжает жить на всю жизнь в душе читателя, огромной помощью, которая сказывается в виде положительного аффекцио-

нала, т.-е. радостного эстетического чувства,—являются структурные приемы автора или его композиция.

Опять-таки можно было бы написать историю законов композиции данной национальной литературы или всей мировой литературы, и опять-таки и здесь результат был бы чрезвычайно беден, если бы мы не брали истории этой композиции в глубочайшей связи с количеством и качеством того идейно реального и эмоционального материала, каким располагают художники или, если выразиться точнее, в распоряжении которого художники оказывались.

Все это я говорю для того, чтобы показать, что, не игнорируя формальной стороны литературы, приходится постоянно подчеркивать в особенности ее идеологическое содержание. Конечно, сухой подход к произведениям с точки зрения сюжетологии и истории идей вовсе не соответствует тонкости марксизма, если даже прибавить к этому и историю чувств, как они отражаются в чисто интеллектуальном зеркале понятий (слов).

Нет, марксист не может не понимать, что нельзя подходить к истории литературы так же, как можно подойти к истории философии. Он прекрасно понимает, что форма играет здесь огромную роль, т.-е. что, суммарно говоря, ритмическая конструкция и общая композиция каждого произведения составляют в нем, как художественном произведении, самое главное, но тем не менее это самое главное отнюдь не может быть отдернуто от содержания. Ибо за исключением самых худших декадентских эпох, когда могла господствовать композиция для композиции, музыкальная форма—для себя самой, только тогда не замечается самой коренной и неразрывной зависимости художественного произведения от того, так сказать внутреннего. задания, которое стояло перед художником при оформляющей работе (а это и есть содержание). Марксизм, как социологическая теория, как наука об обществе, может подходить к литературе с нескольких различных точек зрения. Он может брать литературу как отражение общества, и, разумеется, литература отражает общество не только в своих реалистических произведениях, но и в наиболее далеких от реализма. Здесь марксизм берет художественные произведения и анализирует их как с точки зрения более или менее реалистического отражения в них определенных бытовых условий (в этом отношении литература дает богатейший материал), так и с точки зрения тех тенденций, тех эмоций, тех идеалов, которые в них отражаются, и которые характеризируют личность автора, а через нее тот класс, которого он был представителем и для которого он главным образом писал.

Не знаю, стоит ли прибавить к этому, что в большинстве случаев мы не найдем художественных произведений, отвечающих классическим границам точно определяемого класса. Каждый раз мы найдем здесь довольно сложные группы или сплетения групп, говорящих нам через своего выразителя и воспринимающих данное произведение, как его более или менее восторженная или более или менее критическая публика.

Но марксист, как социолог, может подойти к вопросам литературы и иначе. Он может интересоваться литературой не как совершенно своеобраз-

ным зеркалом, в котором отражается жизнь, а как самостоятельным социальным явлением, т.-е. спрашивать себя, как возникает потребность в художестве слова, как возрождается, как развивается это художество слова, как оно действует на общество, т.-е. какую роль играет в нем? Вероятно, не далек тот день, когда и на эти вопросы марксизм даст совершенно исчерпывающие ответы, при этом придется пользоваться отдельными конкретными литературными произведениями уже как иллюстрациями для такой теории литературы.

В такую теорию литературы, кроме общей части, должна войти более специальная, отвечающая на вопрос, как отражаются потребности каждого определенного класса в литературе, как отражаются в литературе классовые сочетания, т.-е. классовые противоречия или классовые союзы, поскольку они находят отражение в какой-либо конкретной художественной личности. Это значит, что такая частная или динамическая теория литературы должна будет осветить вопрос о законах эволюции литературы в связи с комбинациями классовой борьбы.

Наконец, марксист может подойти к литературе и с третьей, технической, или, если хотите, тактической точки зрения. Он может поставить перед собою такие вопросы: как через посредство литературы воздействовать на массы читателей или слушателей в определенном направлении? Тут могут быть вскрыты на основании изучения законов возникновения и действия литературы определенные приемы художественно-агитационного воздействия. При этом встанут не только вопросы агитации с использованием художественных моментов (так как и это относится к этой прикладной части теории литературы), нет, тут встанут и вопросы о воздействии подлинно художественных произведений (ибо все они в конце концов агитационны) на массу. Тут придется проследить именно то, что считается за чисто художественную форму, какое именно отсутствие белыми нитками шитой тенденции, какое именно отсутствие дидактики усиливает воздействие художественного произведения на человеческую психику. Тут надо было бы заняться разбором вопроса о том, какую роль играет искусство как чистый отдых, как простая радость жизни, и в каких сочетаниях возможно создание таких произведений искусства, которые были бы одновременно содержательны в смысле художественного воспитания людей и заманчиво увлекательны в смысле непосредственного отдыха и наслаждения жизнью.

Все эти вопросы могут быть поставлены социологической теорией литературы в качестве задач практики не только как проблемы творчества отдельного художника, но и как проблемы организации художественных сил определенной партией или даже государством для определенной цели, с одной стороны, использования искусства для жизненных задач, с другой стороны, роскошнейшего обогащения этих жизненных задач искусством. Таким образом марксизму предстоит создать, исходя из вышеуказанных соображений, историю литературы, общую теорию литературы, динамическую теорию литературы и теорию литературно-художественной практики. Мы стоим только у начала всех этих задач.

Само собой разумеется, что последняя из них, т.-е. литературно-художественная практика, приводит уже нас из области марксизма как социальной теории в область марксизма как живой социальной силы.

Марксист, как представитель этой силы, может выявить себя в литературе либо как критик, либо как творец.

Марксист-критик непременно должен обладать достаточным запасом чисто теоретического опыта, т.-е. ко всякому произведению он должен уметь подойти об'ективно, беспристрастно, отыскать его социальные корни, выяснить его место в обществе, связь его с общественными отношениями данной эпохи, главным образом, своей эпохи, ибо критика в собственном смысле в отличие от истории литературы должна быть понимаема как живая реакция на произведение нашей эпохи. Но вместе с тем, если для историка литературы марксиста допустима и даже желательна известная страстность в окончательной оценке художественного произведения или его элементов, как блага или зла для великого дела коммунизма, то такая страстная оценка, боевая оценка становится уже прямо обязанностью критика. Словом, в критике должен жить настоящий теоретик-марксист во всей строго научной об'ективности и вместе с тем настоящий темпераментный боец, каким обязан быть подлинный марксист.

Марксист, как писатель, также чрезвычайно крепкими узами связан с теоретической марксистской работой. Было бы совершенно смешно думать, что культура может помешать марксисту писать, что ему чуть ли не вредно разбираться в вопросах истории литературы, в вопросах теории литературы, в вопросах литературной техники; наоборот, все это может быть ему только на пользу, и покачивание головой по части слишком большой образованности того или другого писателя совершенно совпадает с упреком, который Бакунин сделал Марксу: «Он портит рабочих, перегружая их теорией». За всем тем вся эта марксистская эрудиция может быть полезной марксисту-писателю только в том случае, если он настоящий художник. Никакие теоретические ухищрения и никакое богатство теоретического багажа не может ни в малой мере заменить подлинного таланта.

Что же такое художественно-литературный талант? Конечно, это есть одна из граней вообще художественного таланта. Художественный талант, если он цельный, полный, сводится к таким трем существенным моментам: остроте, наблюдательности, чуткости восприятий, богатой, по преимуществу эмоциональной, переработке воспринятого, т.-е. чувственной многосодержательности, наконец, способности с максимальной убедительностью, ясностью и силой передать это свое содержание (форма). Бывают искалеченные дарования. Дарование, лишенное остроты восприятия и чуткости, может быть довольно сильным, но оно всегда будет несколько туманным, склонным к абстракции и фантастике. Это не мешает тому, что из числа таких художников выделяются иногда очень крупные фигуры. С выпадением среднего момента мы имеем поверхностно импрессионистских художников, которые, однако, могут дать тем не менее чрезвычайно ценные отражения действительности, мало прибавляя к ним своего собственного творчества, за вычетом чисто формального. С вы-

падением обоих первых моментов мы получаем чисто виртуозную, мало ценную художественную фигуру. С отпадением третьего момента мы имеем тип Рафаэля без рук, человека, который очень многое переживает, который внутренно для себя и в самые удачные часы для небольшого кружка близких может казаться чуть ли не гением, но который **н е м** социально.

Чем же будет отличаться марксистский талант, коммунистический литературный талант от всякого другого? Очевидно тем, что острота восприятия его и чуткость окрашены специфически. Он особенно остро воспринимает то, что имеет прямое отношение к борьбе вчерашнего и завтрашнего. Он особенно чутко реагирует на все, что непосредственно или косвенно относится к мировой оси, центральному общественному явлению — борьбе труда и капитала. Внутренняя переработка этого материала у художника-марксиста происходит также под влиянием основного центра его мышления и его чувствования, т.-е. настоящий большой художник-марксист, очевидно, должен носить в себе огромный запас практического идеализма, огромный запас озлобления и омерзения к отрицательным сторонам действительности, огромный запас боевого пыла и т. п. Наконец, и в третьем члене полноты художественной даровитости у марксиста будет определенный уклон. Это будет уклон в сторону максимальной ясности и монументальности. Такой марксист будет заинтересован, прежде всего, в том, чтобы найти широкую **н а р о д н у ю** аудиторию, тогда задачи монументальности ясного выражения своих переживаний будут у него всегда доминировать над всеми остальными.

Лучше всего, разумеется, если такое дарование имеем мы от природы, если марксистский уклон нам дан нашим пролетарским происхождением или революционной практикой лучших годов жизни. Однако не нужно думать, что нельзя по-марксистски **в о с п и т ы в а т ь** дарование. Это вполне можно, и поэтому марксист-писатель может очень многое почерпнуть из марксистской теории литературы во всех ее вышеуказанных частях. Само собой разумеется, проблемы, развертывающиеся перед тобою, когда ты пишешь эти слова «марксизм и литература», так многообразны и широки, что исчерпать их можно в довольно большой книге и, как во всех других моих статьях, в данном случае я преследую цель только наметить для себя и других основные вехи этого вопроса. О таком отношении со стороны читателя к этой моей статье я его и прошу.

Литературные ухабы.

И. Касаткин.

Мысли вслух.

Критикам пистолетного типа вдруг втемяшилось, будто наша художественная литература последних трех лет окончательно сбилась с панталыку, всеми четырьмя заскочила через оглобли, опрокинула революционный возок и, дико озоруя, с дребезгом понесла без пути и дорог,—аж пыль столбом!..

Всенародно, в суматохе и воплях, ставится вопрос: как в таком разе действовать? И единым дыхом дается ответ: накинуть узду на морду, покрепче рвануть, осадить, смять... иному коню нож в брюхо, иного стягом по ногам, — и дело в шляпе.

Сразу видно, — отпетые бесхозяйственники! Им и невдомек приступиться к делу иначе. В бестолковой ярости им конь не конь. И выходит: ищут рукавицы, а рукавицы зà поясом. Ты сперва общупай да огляди коней потабунно и каждого в отдельности, — все ли в порядке, а потом и хай постатейно их норов и неумелость кучеров!

Пора бы знать, что литературные табуны сегодня пасутся на новых, необследованных пастбищах, где еще требуется прочистка трав от белены и ядовитого лопуха... То же насчет дорог,—езда нынче аховая... Куда ни двинь, переть приходится целиной, наобум, ныряючи из ухаба в ухаб. Нынешние дороги и битюгу не по копытам!

В табунах же, бок-о-бок с матёрыми жеребцами тавра прежних заводов, припущен и нагуливается, резво взлягивая, разношерстный приплод-молодняк, требующий долгого выхаживанья да выезживанья, умелой и терпеливой выучки насчет понятий об оглоблях и упряжи,—с молодятиной не оберешься хлопотни, прежде чем пуститься на ней с развеселым посвистом в путь...

Конь коню рознь, если кто понятие имеет.

Тут надо разобраться тихо, степенно, без суеты и горлопанства. У иного, может, зубы с'едены и не всякий корм ему впору, не всякая борозда по ноге,— ну и пихай его в стойло на отдых, но без измывки и охальничанья. Иному, бывает, шоры так подлажены, что он не видит ни права, ни лева,—из кожи бедняга лезет, чтоб в точку попасть, а все зря—ясно,— такого при первой же кормежке пустить в умелую перепряжку, но никак не под обух. Иной неистово

ржет на всю окрестность и выше облучка мечет задом с горячих кровей, нет к нему подступу ни с кормушкой, ни с вожжей,—тут опять-таки дотошный и смекалистый коновал нужен, но никак не зуботычина...

Коней водят не для шкур и мяса, а для езды.

Рачительный до своего добра хозяин, с терпеньем да полегонечку, какого хочешь коня может в любой лад ввести. А без пути орать да хлестать по междуглазью—самое что ни на есть последнее дело!

***

Верти не верти, а литература наша и впрямь, как навар во щах, плывет во все стороны и дробится на бесчисленные круги, кружки, кружочки, подкружья и межкружья... Наши литературные деятели, под свист и гик скорострельных критиков, лихо заломили шапки, засучили рукава, двинулись стенка на стенку, яростно сшиблись,—и вот уже хрипят в рукопашную...

Глядя со стороны, можно рукой махнуть,—пусть подерутся, коли бока зудят! История знавала этакое во все времена. Но, протолкавшись ближе к происшествию, видишь: хватка за воротки и махательные жесты куда крепче и выразительней прежних. Про возгласы что и говорить: таких глаголов и спряжений раньше мы и не слыхивали, а придаточные прямо-таки из непечатных источников...

Клянусь своими старыми пролетарскими подметками, — всей этой свалке есть дюжее подпочвенное оправдание! Как - никак, ведь мы живем в наивеличайшую из эпох. Как и в глубинах жизни, в литературе сверлит, бурлит и клокочет с в о я революция.

В русской жизни,—там и там,—отгремели пушки, рассеялся дым, понемножку улеглась несусветная пыль от рухнувших твердынь и крепостей. И вот мы видим: литература приступает к установке на своих высотах новых прожекторов и телескопов, направляя их на панораму новых комбинаций жизни, где небывалым махом ладится всеобщая перестройка, вылупляется новый быт и новое обличье человека. За рубежами же нависли тучи, зловещий воркотун-гром и взблески молний предвещают и там всеочищающую бурю...

На литературных сопках поневоле суматоха и шум,—никто не знает толком: сквозь какие окуляры во всю эту новизну вглядываться, какими ушами вслушиваться?

Во всяком разе, она, литература русская. не стоит сложа руки, зряшно и безучастно. Она с мучительной искренностью ищет твердых творческих точек опоры, чтоб развернуть свой художественный стяг, соответствующий силе всеобщего напряжения и торжеству революционных побед.

Медленная поступь литературы, не успевающая за гигантским скоком жизни, имеет более чем законное оправдание. Художественное отображение не может шагать в ногу с текущим днем. Необходимо нарастание почвы, наслойка многих и многих «текущих» дней, плотно умятая стопами лет, если не десятилетий. Сейчас пока идут предродовые литературные муки, и

рождения никто не ускорит ни гиком, ни хлёстом, ни поддаванием роженице под микитки...

Вот тут-то, в эпоху великого перелома, акушеры и восприемники литературных младенцев всемерно должны и обязаны обладать небывало тонким чутьем и мягкостью жестов, дабы не изуродовать всякий новый плод при первом же его писке...

***

Наше время, куда ни глянь, по всем линиям чревато ухабами.

Небывалые ухабы, провалы, качка и крен во всех установлениях жизни, политических и экономических, начиная с быта и обихода единицы, семьи, класса,—вплоть до международных взаимоотношений. Как же не быть ухабам на путях нашей русской литературы!

К этим ухабам литература, как и жизнь, катилась издавна. За последние два десятилетия она сильно оплешивела, досыта навалялась во всевозможных зажоринах упадочнического чистоплюйства и келейной утонченности до богородичного волоса, слишком долго и зачарованно глядела себе в пуп...

Но точку, с которой начались настоящие ухабы, надо метить незабвенной для всей новейшей истории датой: тысяча девятьсот четырнадцатый год.

Стоило взгреметь патриотическим литаврам войны,—и коренную русскую литературу как помелом смело!

Писатели сложили перышки и замолкли, многие—навсегда. Лишь некоторые (мы их помним!) заменили перья барабанными палками. Этим о чем бы ни барабанить, лишь бы на виду быть. А те, что крепко замолкли, если не знали, то почуяли, что шатнулось все здание старой жизни, а с ним и основа художественного творчества, — напластованная десятилетиями типичность быта.

В пожаре войны человечья единица, класс, общество, нация, Россия, Европа—весь мир отчалил от своих берегов! Все поплыло, ринулось и дико низверглось империалистскому черту на рога...

Нельзя было предвидеть, до каких пропастей докатит нас война. Но было ясно, что ее чудовищные жернова обязательно должны содрать всю шкуру с тела и обличья не только русской, но и мировой жизни.

Так оно помаленьку и выходит. Россия первая вывернулась из кошмара войны, чудесно преобразилась и ревниво-материнским оком всемирной пролетарки ныне глядит на Восток и Запад, где народные волны все выше и выше вздымаются по ступеням борьбы и преображения.

***

Но самый потрясающий ухаб под утончившуюся и измызганную войной русскую литературу подвела, конечно, революция. Эта ухабина оказалась столь глубокой, что у многих литературных кенгуру и мастодонтов аж кости хрястнули...

Видя несомненную гибель старых устоев, заветов и традиций, наши славные академики и без малых минут классики шарахнулись от революции окарач... Шипя и изрыгая слюну, они спешно бежали к чужим берегам, где и поныне живы, но—смердят хуже мертвых.

Русский литературный возок завалился на этом ухабе надолго, растеряв почти всех своих коней, кучеров, седоков и песенников... Впопыхах и в пылу революционного торжества казалось, что, вместо ухнувшего литературного возка, из таинственного депо жизни вдруг выкатится поражающей красоты и мощи локомотив с чудо-машинистом, и мы—прощайте перекладные!—зараз влетим в некоторое царство коллективно-фундаментального и железобетонного творчества, врежемся в сплошное сияние космических зорь и радуг, где человек, шутя и играючи, плечом и затылком подпирает миры и планеты...

Вот каково было представление о новых задачах искусства. Тогда буквально стон стоял от яростных диспутирований на эти темы, с искренними выкриками в сторону всех прежних достижений: — долой!..

Казалось старые литературные идолы повержены в прах и не воскреснут. Казалось, вот-вот сейчас, будто из-под земли, выскочат новые, невиданные и неслыханные с в о и Пушкины, Гоголи, Толстые, Достоевские...

Всячески искали н о в о й творческой хватки переломившейся жизни. Бросались во все стороны, ко всевозможным способам и подходам, вплоть до немедленного слияния дела поэта с делом кузнеца, плотника и так далее. Гремели призывы к коллективному творчеству на улицах и площадях,—гужом, скопом... Да будет искусство неотделимо от каждого вздоха и шага повседневной текущей жизни!

Этого, конечно, не могло случиться. В революцию литература, как и все иные стороны жизни, не могла сразу же покатиться по гладким рельсам, среди цветущих долин... Но будущий литературный историк высоко оценит эти яростные порывы революционного бунта против вчерашнего блуда и сюсюканья, против закостенелого гляденья себе в пуп. В этом бунте, по малой мере, был намек на нечто отдаленное, могущее быть в развитии искусств в будущем.

И вот, несмотря на весь пыл и грандиозность исканий, мы остались не при чем. Как общее строительство в жизни, так и новые творческие шаги в литературе постигла самая злая разруха. Так и должно быть. Выше головы не вскочишь!

Революция, взорвав старую твердь жизни, вдоль и поперек искромсала лицо быта. Пропало обдержанное, знаемое, привычное... С другой стороны, мы отреклись в искусстве от старых методов. Мы грохнули оземь весь монумент веками накопленных устоев и заветов творчества. Отмахнувшись от прежних творческих навыков, мы попытались строить все заново, без всякой прикладки старых кирпичей.

И как ни странно, при всем рвении к высоко-напряженной революционности, многие из нас в эти годы напропалую дымили (и дымят!) все тем же старым кадилом индивидуалистической романтики и всяческого антимар-

ксизма, но при неизмеримо меньших художественных достижениях в сравнении с поверженными классиками...

Теперь-то мы видим, что зря валили всю громаду старого здания литературных наследий. Нам бы тогда следовало лишь сбить некоторые ёрнические надстройки и башенки подлых штилей, оставив главный корпус для полезного в нем жилья и назидательного изучения его конструкций...

Очухавшись, мы ныне вылезаем из-под обломков и видим:—перед нами все тот же, об'езженный по всем дорогам, классический возок...

После всех передряг, испытанных с межпланетными локомотивами, так и подмывает, поплевавши на руки, молодецки взметнуться на облучок знакомого возка, со старой сноровкой разобраться в вожжах, да как свистнуть, да с новой песней—в новый путь!

***

Разрешаю себе немножечко помечтать о старине...

Ах, легко было Чехову и тем, что до него,—классикам нашим! В их время жизнь была до глупости кругла, — вроде спелого осеннего арбуза, и люди в жизнь вкраплены были подобно арбузному семени: всяк в своем гнездышке...

Разрежь массив прежней жизни и посмотри: пласт на пласте, плотно уложенные временем и друг от друга резко отличные. Вот тебе аристократия, буржуазия, вот тебе толща крестьянская, рабоче-мещанская, вот чиновничество, духовенство... И ясны были глазу все переходные подпластки. Словом, художник мог лепить жизнь метко и точно, не теряя из поля зрения даже сокровенных мыслей и подмигиваний своего героя...

На старом литературном прилавке мы видим неувядающие груды типов,— букетами, связками, пучками, как редиска. Вот Ноздревы, Маниловы, Собакевичи, Коробочки—со множеством корешков и отростков. Вот Обломовы, Рудины, Левины. Вот просто всякий знакомый люд,—толстые и тонкие, в очках и без оных, в косоворотках и фраках, длинноволосые и стриженые под ёршика. Вот Мымрецовы, Пришибеевы, Епиходовы, многоликие и сущие зараз тут и там несметными полчищами. Вот триста тридцать три сестры, ровные и одномерные, как сельдь на многоводном Каспии... Мужик (существо заповедное,—шибко умён и нос картошкой) попадается изредка, глядя по сезону и барской прихоти в покаянии. Рабочего на старом литературном прилавке не видно, — его просто носили в сплющенном виде в жилетном кармане, вместе с принципами и зубочистками...

Рассортируй все эти пучки, букеты и связки по полочкам десятилетий— и перед тобою живьем встанет вся старая Россия за сто лет, не взирая на то, что вещая гоголевская тройка буйно мчит нас от этой самой России за тридевять земель...

Ах, легко было Чехову вожжаться с неизменными Ван-Ванычами и Пет-Петровичами! Мышиная походка и вкрадчивые жесты одного, изюмные глазки и жирком подернутый смешок другого— и перед вами пара граждан,

могущих олицетворить всю мещанскую Россию. Замаринованные и отстоявшиеся типы не протолчеными скопищами стояли перед самым носом художника,—бери и пришпиливай прямо на страницу, зная, что цвет и запах каждой особи на долгие годы останутся неизменны и точны с природою всей толщи живого быта.

Великолепный Горький с босяками, соколами и буревестниками в'ехал в литературу весьма неожиданно, как некий заморский импрессарио с буйным и пестрым балаганом... Его персонажи болота жизни не потрясли, но переполоху наделали много. И не зря,—буревестник оказался птицей вещей. Грянула буря 1905 года...

Когда обратные ветры вогнали разбушевавшиеся волны жизни в берега, на русском Парнасе начались игрища, достойные Лысой Горы. Такой духовной модернизации и изысков, такого утонченного «извития словес» раньше и во сне не снилось...

На выю коренастой русской литературы вдруг навилось столько всевозможных направленческих «измов», что она,—выя эта,—и поныне их не скачает... От анархо-сексуально-мистико-эстетических построений, споров и борений аж пар валил!.. Многие мужи и юноши в этом столпотворении прямо-таки теряли головы. И не зря подымалась великая пря на тему о приятии или неприятии мира. И впрямь, на какого беса он сдался, мир самый, когда вскоре—не в четырнадцатом ли году?—некий поэт-пророк, носивший волосы по колена, в некоем доме на Собачьей площадке в Москве в'явь и живьём обнаружил—Антихриста...

Длинноволосый поэт, конечно, ошибся. Доподлинный и ужасный Антихрист явился значительно позднее. В силе и славе он нагрянул под грозной личиной великого Октября—и одним своим дыханием сдунул всю нечисть и нежиль Лысой Горы. Вместе с нечистью шарахнулись за пределы досягаемости и «честные элементы» от литературы, чем и обнаружили подлинную свою природу.

Мало того, Октябрь, ради чистоты пролетарской культуры, огулом отверг и славных покойников — всех отцов и дедов российской словесности.

***

Свершился невиданный и неслыханный обвал всего старого зданья жизни. Рухнула многослойная вековая почва «гражданских состояний», изломав и перемешав все пласты...

Преобразился весь облик жизни.

Неохватная, быстро меняющаяся новизна, можно сказать, сбивает наблюдателя с ног... Молот пролетарской диктатуры с плеча кует и кует новые законы, дробя ими наиболее зловредные напластывания старого строя и людских навыков...

Природа революционного быта видоизменчива до жестокости. Озираясь во все стороны ее явлений, не успеваешь шапку поправлять... И прежде всего видишь, что как будто пропала одна из главных и необходимых опор худо-

жественного творчества: тип и типичность. Ушло знаемое и общупанное. Нет ни в чем оседания и устойчивости, даже в адресах центральных учреждений и уличных вывесках. Все плывет, течет и переворачивается, бесконечно видоизменяясь внутри и снаружи...

Бытие определяет сознание,—да! Больше того: бытие изменяет даже походку, модуляцию речи, тембр покашливанья... И вот попробуй, в обстановке революционного коловращения, уследить художническим глазом, например, за тем же Ван-Ванычем и его духовной сутью! Когда-то он летал *на собственном автомобиле с трехтонным гудком, мудрым змием виясь вокруг* интендантства и Временного Правительства. Затем я его вижу сидящим в подвале Чека. Потом он, в дырявом казенном тулупе, окарауливает склады мерзлого картофеля; погодя—торгует с ладони спичками; погодя—он инспектор по Рабкрину; хвать—снова в подвале, но не Чека, а ГПУ (тоже перемена); и сегодня, наконец, я вижу его раздобревшие, холеные щеки за зеркальной витриной собственного магазина! Пет-Петровича, например, обстоятельства вертели еще круче — и совсем в обратную сторону...

В наши годы поистине жалка событиями карьера какого-нибудь его превосходительства с наполеоновским носом и гордой выправкой груди, который в полуподвале на Сивцевом тачает простонародью сапоги... Разговоришься ли с прачкой, что подёнкой пришла простирнуть твое пролетарское бельишко — и глаза вылупишь: — княгиня, да еще свет-лей-шая! Сегодня она—прачка, но ты последи, что из нее вылупится завтра, послезавтра...

Это промежуточные и, можно сказать, для наших дней подпочвенные типы. Если же мы возьмем стержень времени, центральную фигуру, творящую события,—возьмем пролетария, рабочего, несущего на своих плечах все победы и тяготы революции, то тут буквально нет предела его росту и многоликости, как нет предела чрезвычайному изумлению над тем, сколь богат интеллект и сильна волевая мускулатура класса, творящего н о в у ю жизнь.

Революционный быт—полная противоположность быту прежнему. Он столь динамичен и быстроподвижен, что его ни с какими гончими не обскачешь! Он почти неуловим в своих бесконечных продвижках в глубь и ширь жизни. Железный пресс новых законов, установлений и учреждений неуклонно дробит и сплющивает зловредные затверделости старого мира. Революция стихийно сверлит, пронизывает и выветривает самые потаенные уголки старой человеческой психики...

***

Однако, не взирая на небывалую быстротекучесть всех элементов жизни, препятствующую художественному ее отображению, у нас все же есть литература революционной поры.

В первые годы тяжкой революционной борьбы и всеобщей разрухи, на литературном поле—хоть шаром покати... Глаз упирался в единственную богатырскую фигуру Демьяна Бедного, своеобразная и кряжистая поэзия которого, быть может, более близка и созвучна вихрастой природе революции, чем все написанное за эти годы до сегодняшнего дня...

Затем уже, как грибы после дождя, полезли на поверхность доморощенные седуны и резвые бегуны. Появились в небывалом количестве и новые лица, вынесенные на литературный материк революционным разливом.

Теперь любопытно оглянуться,—чем они живут, с кого портреты пишут и какими красками?..

Оказывается, даже победоносный вихрь революции, начисто перевернувший весь внешний быт, не смог нарушить закона литературной преемственности, наследственности, вылезания и вырастания одного из другого...

Оказывается, та утонченность до богородичного волоса и упадочническое извитие словес, что наросли в литературе за последние два десятилетия, в'елись в плоть и кровь не только старых литературных обломков и их отпрысков, но—увы!—они, эти качества, сочатся с пера и молодежи, они даже не чужды и нам, истинным пролетарцам, хотя мы и пытаемся (поэты — особенно) запрятать все это под невероятную фундаментальность ликов, гигантскую молототрубность и яро-алую флаговейность...

Революционный облик жизни груб, жесток, ершист, коряв,—тут у места был бы язык народный, почерпнутый прямо из гневно-вскипевших и впервые так широко и яростно обнажившихся глубин народных. Но даже у некоторых пролетарских поэтов в итоге мы ощущаем присутствие давно отсутствующих... Нет-нет, да и прозвучит не то Бальмонт, не то Надсон, чудно перевернутые как-то вверх ногами, на победный лад... То же самое и с прозой, которая местами досягает высот Марлинского, но, как и поэзия, обязательно упирается в звук, окрас и архитектуру Белого или Ремизова, как и поэзия—в того же Белого, Блока и кого хотите, всячески избегая животворящей простоты...

Во всяком случае, у тех, у других и у третьих, во всех литературных лагерях и становищах идет пока лишь слепая зигзагообразная прощупь путей и подступов к уловлению н о в о г о человека, творящего новую жизнь.

Обозревая художественную литературу последних трех лет, с прозрачной ясностью видишь, сколь труден путь художника к к о р е н н ы м явлениям революции и к живой, невыдуманной жизни. Дурная наследственность индивидуалистической близорукости сидит в горбу каждого из нас, и ее, очевидно, не так-то легко стряхнуть...

Как раньше в нашей литературе, так и сегодня, многие, быть может, самые талантливые, ухитряются обходить молчанием, иль в лучшем случае брать лишь вскользь тех китов, на гигантские и многострадальные хребты которых налегла и давит вся железная тяжесть и огненная слава революции, — я говорю о рабочем, о крестьянине, о слитном их массиве, и о тех из них, что от станка и плуга многоголово выросли в огромные и колоритные фигуры вождей и делателей всемирного освобождения труда...

Также не слишком ли безучастно скользит око сегодняшнего художника мимо гудящей лавины молодежи, что от того же станка и плуга ринулась вешним водопадом и затопила все аудитории высших и прочих учебных заведений...

Как раньше, в пору наших великих классиков, так и ныне, к сожалению, киты эти остаются и в малой мере не уловленными в художественные сети, — они по-прежнему пребывают знакомыми незнакомцами..

Нам пора бы выплывать в открытый простор с неводами, а мы пока тычемся в прибрежной тине с бредешком, вылавливая того или иного малька, что мутил революционную воду, или беспечно плескался на ее поверхности...

Словом, многие из нас остались верны минувшим литературным навыкам в смысле захода и обхвата жизни. В художественной хватке и приемах чего-то недостает такого, что приличествовало бы нашей эпохе, гигантским сдвигам и страшной обнаженности всех соотношений в человеческом житье-бытье...

Ведь право же есть какой-то конфуз в том, что наша литература в эти великие годы революцию начала примечать с Моськи... Про Моську, про ее лай и визг на весь мир, про ее огорчения, страдания и гибель сказано все, что можно и даже чего нельзя сказать. А вот слона, под тяжкой лапой которого эта многоликая и до хрипоты визгливая Моська сгибла, мы как будто и не приметили...

***

Главный гвоздь наших—пролетарских—ошибок в первые же годы революции вбили мы сами, да и теперь продолжаем заколачивать его еще глубже. Гвоздь этих ошибок тот, что нам примерещилась (и до сей поры мерещится) возможность установления единой, неделимой и незыблемой пролетарской культуры, при том, чтоб без малейшего промедления, чтоб заутро же!

Предполагалось, что это сделать легче, чем яичко облупить...

Отсюда и пошла писать губерния: — долой буржуазные писательские навыки, долой уединенное творчество, выходи гужом на улицы и площади, становись в затылок для коллективного действа!.. Да будут все — как один, и один — как все! Рост индивида, личности — чепуха, долой!

Вот каковы были лозунги искусства.

Ежели хорошенько вникнуть, тут есть эдакое зернышко, из которого в отдаленную и сказочную эпоху расцвета социализма и мог бы вырасти цветущий дубок... Но пока оно, зернышко это, пало не на ту почву—и родило бесплодную смоковницу...

Так никто и не приспособился творить под фонарными столбами и у паровых молотов. И вряд ли помехой тому было символическое состояние фонарей, которые тогда не горели, и молотов, которые зловеще безмолвствовали... Вразрез с лозунгами, уединяясь, очевидно, контрабандой, пролетарские братья-писатели, не хуже буржуазных, в одиночку настропалили в те поры бесчисленное множество пьес, рассказов, стихов, — и все это умерло прежде, чем успели засохнуть чернила...

Имя этому творчеству было — агитка.

Не обросший жизнетворческим пухом голенький дух агитки, яростно проповедуемый апостолами от пролеткультизма, носится над нами и поныне,

простирая свои пустозвонные воскрылия над отпетыми и наиболее бездарными головушками...

Кстати здесь надо молвить смелую правду, — на литературных фронтах, не исключая и самых левых, перед нами разгуливают совершенно голые короли и с неслыханной самоуверенностью утверждают, что на них-то и есть самые пышные и богатые одежды... От богатства и пышности их головоломного словотворчества вряд ли что останется для потомства!

Наше время ставит перед художником суровое испытание на великую духовную зрелость и всепронизывающее ясновидение ближних и дальних точек эпохи перелома. Мы уже имеем образцы промахов духа и ока писателей, пробующих в эти годы обхватить необ'ятную новизну колыхающейся равнины жизни... Даже и те немногие, действительно талантливые произведения сегодняшних авторов, не в пример прежнему письму, как-то быстро и безнадежно стареют и теряют краски... Более искренние из писателей вслух удивляются этому фокусу и недоумевающе разводят руками, — та или иная пойманная из жизни и творчески-оправленная в раму произведения деталь — завтра оказывается совсем иной, чем представлялась сегодня...

Отсюда горький вывод: еще неизвестно, сколь долговечны будут те имена и те более или менее, казалось бы, талантливые и созвучные нашей действительности художественные произведения, вокруг которых мы сейчас шумим...

Не скажет ли нам суровый завтрешний день, что эти произведения слишком несовершенны и мизерны, что они и в малой мере не обхватили бурно взвихренной на дыбы громадины жизни, и что в них, этих произведениях, в их стиле, манере, дыхании, слишком много любительского словесного выверта и затхлой вчерашней романтики, хотя и приподнятой так ловко и искусно на революционные воздухи...

На такие соображения двигает еще и та мысль, что не тот хорошо драку видит, кто в ней всеми боками отдувается, а тот, кто наблюдает ее в сторонке. Этих наблюдающих вокруг нас — несметные полчища. И среди них живьем представляется мне расчудесный этакий м а л ы й, который с простецким удивлением, разинув рот, глядит на нас, глядит на голых королей и думает с в о ю думу... Он толпится где-нибудь вот тут, рядом с нами, поковыривая в носу, и всем существом своим пожирает непосильное нам зрелище жизни и ход творимых нами событий...

Вот этот самый М а л ы й, препоясавшись недоступной нам мудростью новых художественных постижений, в положенный час придет в нашу литературу—и всех нас, как шапкой, накроет!

***

А пока этот чудесный Малый придет, мы всемерно должны действовать в подготовке ему путей и достойного подножья.

Ведь мы—напрямки сказать—пока лишь дробим камень, наворачиваем горы осколков и щебня, рыхлим на новых местах почву, делая эту черную работу в неулегшемся сумбуре и хаосе — срыву, на ура, на ух...

Теперь, до прихода таинственного Малого, нам пора уже взять в руки циркуль, отвесную нитку и ватерпас,—настало время приступить к закладке в развороченном нами грунте обширного и глубокого фундамента, на котором из наших черновых строительных материалов и должна впоследствии потихоньку вырастать монолитная громада стройного здания новой русской литературы.

***

Чтоб итти на крупную рыбу, требуется сперва наловить мелюзги, живца. В эти годы на литературных берегах мы как раз тем и занимались,—закидывали уду преимущественно на малька... В этом, пожалуй, нет ничего зазорного и ошибочного. Но теперь нам пора бы, запасшись снастью новой художественной сноровки, в меру сплетенной из крепких традиций классиков, отправиться на заповедные бочаги и омуты житейской реки...

Половодье минуло, муть оседает, вòды проясняются, местами глаз различает дно... Всем пора встать по своим местам,—дела для всех по горло. Иным, более разворотливым, не мешало бы посунуться и на самый стрежень. . Есть еще дедовское забытое и заржавевшее орудие хорошего лова, — острозубая, метко бьющая в глубину, острога сатиры... Ее тоже кому-то пора извлечь, отточить, — и с пылким огнищем проехаться вдоль и поперек по междукустью, над темными глубинами жизненных течений...

Ввиду такой живой страды, нашим писателям—в особенности поэтам!—требуется с высокопарно-косноязычной заоблачности слова и формы немедленно снизиться планирующим спуском поближе к земле!..

Ожелезивание и забетонирование живого, волнующегося человека до столбнячного состояния, подпирание его слабой выей миров и планет, — право же это мистика, взятая как-то навыворот!.. Земные боли и страданья, радости и восторги, крушения и творческие усилия требуют земных уподоблений и образности, нуждаются в совершенно земной, глубоко родной и теплой человеческой слововязи...

Уловление форм, звуков, красок, образов в безвоздушном пространстве пустого слововерчения—не только напрасный, но и вредный труд. Первее всего—это не от марксизма и диалектических методов, приличных нашему жесткому и точному шагу по современности... Это словесное мочало тянется, если угодно знать, все от тех же иже во святых Бердяева, Мережковского, Белого, Ремизова, словом, — от вчерашнего дня, решительно похеренного революцией. Нам прямо-таки неприлично облекать сегодняшний день во вчерашние одежки пустозвонного изыска и нелепо карячиться у потухших жертвенников припадочного кликушества...

В эпоху перелома и движения масс на арену жизни нам первым делом требуется прощупать в недрах масс и извлечь на поверхность богатейшую поразительно-красочную руду народного языка и словотворчества. Вместе с этой драгоценной для художника рудой, не мешало бы многим писателям и поэтам заодно черпнуть из тех же массовых недр соответствующий дух, направление, иначе любая словесная руда будет не в прок...

В наши дни умер старый читатель, охочий на изысканные словесные фокусы. Потение над формой ради формы никому ничего не даст, никого не удивит и не порадует. Где уж там возиться с формой, коли сама жизнь еще далеко не оформилась во что-нибудь путное, — она кипит и плещет через край, являя все новые и новые формы, нормы и построения, в том числе и литературные...

Как же быть? Каким способом и в какие сети уловить современному художнику революционный облик жизни, эту стихийную Жар-птицу? Не знаю... Но думаю, тот подрастающий Малый, когда пробьет его час, отмахнется от всей нашей искривленности и, подобно сказочному дураку Ивану, распахнувши грудь, ринется на эту замысловатую птицу, попросту, с голыми руками...

***

Однако жизнь не ждет. Скрывающийся за туманом удачливый Малый нам пока не указ. Нас цепко хватают прямо за горло художественные задачи сегодняшнего дня. Ведь не кто иной, а именно мы за эти годы воочию повидали столько всякого невиданного, что прямо-таки руки зудят, чтоб хоть как-нибудь изобразить все это для потомства!

Россия испокон славилась не фабрикатами, а сырьем. Так оно и теперь: сырья перед нами, живого сырья, человеческого,—горы!

Будем же хорошими сырьевщиками. Займемся массовой отсортировкой, первичным распознаванием переходных типов и прощупью линий, намекающих облик будущего...

Задача — превыше головы. Кой-что уже сделано... В дальнейшем приступать к этой задаче, не в пример сделанному, надо с наивозможными задатками простоты, что, конечно, явит перед каждым из нас наиглавнейшую трудность...

Нужна особая, небывалая художественная хватка, чтоб, отбросив зарисовку привходящих мелочей и пустяков, перейти к сложному отображению огромных человеческих волн, хлеставших в эти годы со стихийной яростью.

Не надо надрываться в непосильной задаче охватить массу как массу, без героев на первом плане (что уже пробовали некоторые, но их удачи пока под большим сомнением). Идея, конечно, добрая. Но ни у пера, ни у кисти, ни у резца как будто еще не было таких гениальных средств и способов—дать жизнь и дыхание слитной массе, как некоему единоликому существу, без резкого выпукления на главный план героев. Только через движение и действия героев на передней линии возможно выявить то или иное общее лицо монолита-массы,—герой есть средство к этому. Лишь через него вылупляется вся окружность и глубина перспектив картины, вся внешность, все нутро и дух среды, в коей он, герой, действует.

По имеющимся двум-трем «безгеройным» произведениям мы можем смело установить, что Кузьма Прутков был прав насчет необ'ятного...

В таких произведениях прежде всего бросается в глаза сам автор, обреченный бултыхаться на нелепо высоких ходулях... Затем уже начинаешь

различать туманное мельтешение разных существ, отрывочные блики и мельки, странную разрозненность голов, лиц, рук, ног...

Наблюдая за выпирающим (вместо героя) автором, ясно видишь всю его напрасную маяту... Наконец, бедняга выбивается из сил, — и из каши человеческих признаков составляет целого человека, заставляя его действовать во весь дух... Вот это и есть тот самый доподлинный герой, от которого автор на тех же самых страницах, черным по белому, открещивается! На поверку и выходит, что вся основная авторская затея — лишь громоздкий и сумбурный фон, а ненароком проскакивающие по этому фону живые лица являют единственную нечаянную радость для унылого читателя...

Речь веду к тому, что революция героями и массовым фоном нас не обидела, только надо знать, с каких сторон ловчее и вплотную современному художнику к этому делу подступиться. Живые сюжеты, большие и малые, нас так обступили, что воистину — плюнуть некуда...

Недаром прежние уединенные созерцатели своих пуповин без оглядки бежали от этой благодатной тесноты — «в никуда» и прочие никудышные места. Но и те — пока некоторые из них — «нарумынившись» там до тоски ныне возвращаются и, стыдливо одергиваясь, льстят нашей живучести и подсаживаются к богатству художественных материалов.

Да, мы дьявольски богаты и горды этим грозным движением всей русской жизни, победным вихрем ее революционных масс на сокрушение свирепого вихря контр-революции, — ведь это мы шли стена на стену, прибой на прибой, — с гулом, грохотом, рявом!..

Чтоб занести все это на художественное полотно,—мнится, надо перо, подобное тарану... Но пока нужда не в конечных синтезах, а пусть в раскоряченных, вз'ерошенных, колеблемых взволнованной почвой, черновых художественных закреплениях и итогах.

Лишь бы найти язык, голос и форму, могущие вместить и выразить гигантские массовые образы и отгрохотавшую ураганную бурю, родившую грозовое колыхание и живые отклики во всех частях и уголках света...

***

Наступили строительные будни революции. Пришел роздых и оглядка на себя в рамке сегодняшнего дня. Чтоб понять себя сегодня, требуется почаще заглядывать в зеркало вчерашнего дня.

Если искусство, как и наука, есть орудие познания жизни, то это орудие должно быть установлено на такой высоте, с которой были бы видимы все перспективы жизни... Но наши оптики и механики, что суетятся сейчас около орудия, очевидно не ту ручку вертят и не теми рычагами действуют, — как ни глянь, выходит сплошь кривое зеркало. По этой причине вокруг орудия—несусветный шум, гвалт и драка...

Меж тем уже раздаются нетерпеливые выкрики: подавай художественный синтез! пора!..

А ты попробуй—кто там кричит?—в этой дикой суматохе синтезировать на подобающем фоне и в должной раме к примеру скажу, вот такого кряжа, как рядовой мужик Буденный! Ты синтезируй, а я на тебя погляжу... А то вот еще тебе, совсем с другого боку—волостной писарь Махно...

Да ежели ты окажешься горазд в синтезе, я тебе накидаю таких героев, которые заткнут за пояс всех легендарных борцов и бунтарей, начиная с наших Разина и Пугачева, и кончая теми, что появлялись когда-то в европейской истории.

Я не знаю, родились ли на свет такие тонкие и всеоб'емлющие аналитики человеческого нутра, какие-нибудь эдакие Фрейды и Павловы, чтоб вскрыть перед нами точную природу всех подпочвенных узлов, пружин и побуждений, вздыблявших скопы человеческих единиц, скажем,—ну, хотя бы на картофельные и холерные бунты?

Если подобных пронзительных аналитиков в наличности пока не имеется для такого, сравнительно, пустяшного массового явления, то обопрись на кулак и подумай: сколь легка задача—дать закругленный художественный анализ и синтез общему под'ему, ходу и огненному кипению величайшей революции, и не менее величайшей и свирепой, раздавленной с нечеловеческими усилиями, контр-революции, с прибавкою железных тисков окружения, голода, холода, повальной черной разрухи...

Это такие неизмеримые омуты и непроходимые дебри, для художественного проникновения в которые требуется граничащий с гением талант, во всеоружии всяческого опыта, глубоких знаний и молниеносной интуиции...

Ведь вот смешной и веселый теперь для нас анекдот—длительное сумбурное восстание крестьянской массы глухого уезда, где-то на Ветлуге. Возглавлял это дело благообразный, кудрявый, смиренный и «до всех уважительный» великан-красавец — царь Иван Терентьич. Это звание возложили на него бородатые повстанцы. В Костроме его потом судили и выпустили, как гласит народная молва,—за красоту и степенность... Теперь этот самый царь Иван Терентьич в родном селе мирно торгует горшками, для вящшего привлечения баб вызванивая по горшечным краям кнутовищем...

Да ведь это богатейшая поэма из бесконечного цикла поэм о русской революции! Но она, как тысячи других, еще не написана так, как подобает ей быть написанной,—тут бы годилось перо «Капитанской дочки»...

Нынче даже тот длинноволосый поэт, когда-то ловивший на Собачьей площадке Антихриста, остриг свои мистические волосы. Потрясенный земными событиями, он ходит по трущобной Москве, и с детским жаром складывает устные «мемории» об удивительных героях и случаях революции... Недавно я слушал вдохновенные мемории этого человечка, дивился его душевному под'ему и думал:—да, все это мимо нашего слуха и мимо наших глаз ускользает...

А выпирающие на каждом шагу острые углы и тычки нового быта-обыденщины,—разве они менее достойны пытливого взгляда художника? А всяческая мелкая интимная новь, — глубинная, подсознательная, — копимая

и носимая нынешним человеком, со ступенчатой градацией в разности—по территории, возрасту, социальному состоянию, среде, быту?..

Да, братцы, дреколием в бесшабашных литературных драках и скоропалительными перебежками из кружка в кружок тут мало чего досягнешь!.. Что же надо делать? Не знаю... Это опять-таки знает тот таинственный Малый, который придет нас шапкою накрывать.

О пролетарском искусстве и о художественной политике нашей партии.

А. Воронский.

I.

Вопрос кажется на первый взгляд проще пареной репы. В сов. Республике существует три основных классовых группировки: пролетариат, стоящий у власти, промежуточные слои мелкой буржуазии и остатки разбитой крупной буржуазии и дворянства. Существует художественная литература. В соответствии с этим классовым расчислением, литературу тоже надлежит разделить на три основных русла: пролетарскую, мелко-буржуазную и буржуазно-помещичью. Пролетариат стоит в России сейчас у власти, значит, и художественная литература его должна быть у власти. Мелко-буржуазная литература допустима только в меру приближения ее к литературе пролетарской и в виде подсобного отряда; с литературой внешней и внутренней эмигрантщины должна вестись самая беспощадная истребительная война; всякая иная точка зрения играет в конечном счете на руку врагам пролетариата, является литературным меньшевизмом и реставраторством. В крайнем случае это—путаница, чудачество, голый эстетизм.

Подобные взгляды при всей их простоте и лапидарности страдают одним существенным недостатком: они не принимают во внимание нашей конкретной реальной общественно-литературной обстановки, они построены по голой, отвлеченной и упростительской схеме и в тысячу первый раз вновь подтверждают ту истину, что Марксов метод в руках упростителей легко переходит в примитивную вульгарщину и из тонкого аналитического оружия превращается в дубину, коей можно гвоздить направо и налево, но каковая ничего общего не имеет с кропотливой работой анатома-марксиста, имеющего дело со сложным общественным явлением.

Остановимся сначала на некоторых общих соображениях, более или менее общеизвестных.

Рабочий класс пришел и приходит к власти совсем не так, как пришла к ней в свое время буржуазия. Буржуазия и экономически и культурно созрела в значительной степени в рамках феодального строя. Пролетариат самым своим положением внутри буржуазного общества экономически и куль-

турно остается придавленным. Он находится в рабском, закрепощенном состоянии, он лишен возможности не только подняться на культурную ступень, высшую чем та, на которую поднялась буржуазия, но с роскошного стола буржуазной культуры ему попадают поистине жалкие крохи. Поэтому, когда он свергает буржуазию и берет власть в свои руки, одним из самых острых и жгучих вопросов для него является вопрос об усвоении всей огромной суммы культурных приобретений в прошлые эпохи. Чтобы реорганизовать общество на новых началах, он должен, в первую очередь, овладеть культурным наследством в науке, в искусстве и в других областях. Без этого он не может закрепить, упрочить свою победу, без этого он не установит социалистического строя. В России неграмотной, с остатками азиатчины и крепостничества, голодной, ограбленной, нищей, деревянной это зловеще напоминает о себе буквально на каждом шагу. Нужно также помнить, что рабочий класс, составляющий незначительную часть населения у нас в России, вынес на своих плечах за истекшее шестилетие крестную ношу кровавой борьбы, отбивая яростные атаки своего классового врага. Можно без преувеличения сказать, что весь ум пролетариата, вся воля его до сих пор уходила в эту борьбу. Теперь, пользуясь сомнительной передышкой, русский рабочий получил некоторую возможность заняться культурной работой. Он спешит воспользоваться этой возможностью, посылая свою молодежь в школы, в рабфаки, в университеты; он обучает и готовит кадры своих профессоров, учителей, инженеров, техников; он старается ликвидировать неграмотность, разогнать деревенскую темень. Совершенно, однако, ясно, что всякое самообольщение в этой области крайне вредно. Есть ряд отраслей в культурной жизни, которые будут завоеваны пролетариатом в первую очередь сравнительно легко; другие будут взяты после более упорного штурма, заминок и даже серьезных поражений; и есть, наконец, такие отрасли, которые потребуют очень длительной, необычайно тяжелой борьбы, сложных обходных движений, большой гибкости, где атакой в лоб ровнехонько ничего не поделаешь, а в лучшем случае набьешь себе основательнейшие шишки. Наука и искусство принадлежат как раз к таким отраслям. Наука и искусство требуют культурных навыков, большого культурного стажа, длительный учебы, сноровки, что дается часто поколениями, вырабатывается не годами, а десятилетиями. Конечно, не трудно усвоить себе общие начатки науки и искусства, но, чтобы двигать науку и искусство вперед, чтобы стать способным к научным и художественным открытиям, для этого требуется помимо таланта много пота, нервов, требуется огромная подготовленность в общекультурном смысле. Не подлежит сомнению, что правящему классу еще очень долгое время придется пользоваться услугами ученых, инженеров, художников старого буржуазного мира. Не нужно забывать также, что в красной профессуре, даже на верхах коммунистической партии, у нас преобладает интеллигенция, что выходцы из мелко-буржуазной деревенской и городской среды являются в наших высших учебных заведениях преобладающим элементом, что, наконец, слои старой русской интеллигенции еще очень долгое время будут давать Павловых, Бехтеревых, чему

способствует и долгая культурная выучка, и то, что эти слои, как общее правило, активно не участвуют в борьбе пролетариата, стоят в стороне, имеют возможность и досуг наблюдать, изучать, в то время, как пролетариат российский и в относительно мирной обстановке главные свои силы вынужден отдавать на разрешение задач боевого порядка.

В этих условиях одна из главнейших и труднейших задач сводится к тому, чтобы правящий класс сумел ассимилировать, идейно подчинить себе, политически и общественно перевоспитать эти огромные кадры интеллигенции, крестьянства, мещанства. И здесь всякая неосмотрительная спешка, всякая скоропалительность пользы не принесут, как не могут принести пользы меры механического порядка. Оттого, что партия декретирует: быть красным профессорам в центре научного мира, а Павловым—их соратниками—на вторых ролях, ничего, кроме пустяков и нелепости не произойдет. Между тем у нас находятся люди, которые, примерно, так и рассуждают. В области науки к этому ведет енчмениада, в области искусства об этом толкуют напостовцы. Верно, конечно, что наша современная литература отражает мысли и чувства пролетариата, промежуточных слоев и буржуазии. Неверно и ложно то, что эта схема применяется без дальнейшего учета конкретных условий, в которых развивается наше искусство. Отсюда схема эта становится сухой, мертвящей, мертвой, голой и отвлеченной.

В самом деле, если от этих предварительных общих замечаний, являющихся только канвой для очень сложного и пестрого жизненного литературного узора, перейти к этому последнему, то дело еще более усложнится.

II.

Есть ли у нас пролетарский писатель?

Есть, если под этим именем разуметь писателей - коммунистов и выходцев из рабочей среды. Такие писатели у нас есть.

Странное, однако, обстоятельство: есть несколько писателей, несомненно пролетарских, которым это, столь почетное и столь ответственное звание как-будто не совсем подходит: Луначарский, Серафимович, Подьячев, Аросев, Касаткин и др.

Поэт рабоче - крестьянской России, писатель - коммунист верно, но пролетарский писатель—тут что-то непривычное и режет ухо. И не оттого режет, что тот или иной из них—не пролетарского происхождения, а по какой-то иной, совсем другой причине. По происхождению же, по характеру и основным мотивам своего творчества они—писатели эти—имеют, так сказать, «полное право», чтобы именоваться пролетарскими не менее иных прочих; все же, ни они себя, ни другие так их не называют. Не принято.

В этом нет никакого недоразумения. П р о л е т а р с к и й п и с а т е л ь, в з я т ы й в и с т о р и ч е с к о м а с п е к т е, н е п р о с т о п и с а т е л ь-к о м м у н и с т, н е п р о л е т а р и й п о п р о и с х о ж д е н и ю, а п р е ж д е в с е г о н е к и й с л о ж и в ш и й с я в т е ч е н и е п о с л е д н и х л е т, о п р е д е л е н н ы й л и т е р а т у р н ы й т и п. М е ж д у т е м, у н а с т о и-

дело подменяют его живое общественное и литературное лицо абстрактным, отрешенным от действительности, исключительно рассудочно построенным образом. Забывается и не учитывается, что пролетарский писатель имеет свою не длинную, но поучительную историю, что это не пролетарский писатель вообще, а литератор со своеобразными чертами, взглядами, навыками и обликом.

Едва ли будет преувеличением сказать, что одной из самых существенных таких черт, мимо которых нельзя пройти, является преобладающее у пролетарского писателя убеждение или настроение, что он призван в первую голову преодолеть искусство прошлых эпох. Искусство это служило командующим классам: буржуазии, дворянству; оно смотрело, оценивало, познавало мир глазами этих классов. Следовательно, пролетарскому художнику оно не подстать. Конечно, пролетарский писатель не прочь использовать благоприобретение прошлых веков в области художества, по крайней мере на словах,—но сердце его по существу далеко отстоит от этих словесных, иногда вынужденных, для прилика сказанных, вялых признаний. Пафос его целиком в другом: в творчестве, в производстве новых вещей в противовес и в освобождение от элементов старой культуры. Он расчищает место, поросшее мхами прошлого, он взрывает мертвые груды скал, он закладывает камни в фундамент нового социалистического искусства, он возводит это здание. Прошлое искусство, прошлая культура... Огромное большинство этих, по удачному выражению тов. Санжарь, щельников и карнизников были пасынками этого искусства и этой культуры. Все это было не для них, а против них. Они были обделенные, обойденные, лишенные. Для них культура прошлого оборачивалась своими отрицательными сторонами, но прежде всего к ней не было доступа, а, чтобы оценить вещь, нужно знать ее. Кроме того, во всем этом много чужого, лишнего, ненужного, враждебного, масса побрякушек, безделушек, смешных нелепых бонбоньерок, есть прямо опасное, расслабляющее, размягчающее, упадочное, цепкое цепкостью мертвого, которое хватает живое на каждом шагу. Лучше похуже, но свое. Чем скорее покончить с прошлым, во многом враждебным, тем лучше. Отсюда ставится задача освобождения от наследства прошлого. Мы уже слышали эти призывы: рекомендовалось сжечь Рафаэля, выбросить Пушкина за борт современности, окончательно покончить с формой и содержанием старого искусства, либо изучать его, как в музеях смотрят и изучают мумии, оружие и орудия каменного века: полезно, но сейчас в век пара и электричества это имеет музейный, исключительно исторический интерес. Конечно, это только так говорится и пишется, на самом же деле тут часто нетрудно уловить явное опасение: стараются убедить, что речь идет о мумии, но лишь потому, что живет сознание: мумия-то в сущности жива, т.-е. не мумия, а нечто актуальное и современное.

Опасение это имеет свои основания. Как уже отмечалось выше, рабочий класс приходит к власти, будучи лишен в прошлом возможности овладеть культурным наследством, отсюда естественна опасность, физически побе-

лив, оказаться потом в культурном плену у своего врага. Чтобы преодолеть, избежать этой опасности, необходим большой и тщательный отбор, сортировка, пересмотр старого культурного багажа[1]). В сов. России в данной стадии революции опасность увеличивается еще от того, что нэп создает почву для возрождения буржуазной идеологии. Беда, однако, начинается тогда, когда вместо этой задачи критического восприятия наследства преобладающей становится тенденция созидать новую культуру, новое искусство в противовес старой культуре, старому искусству без достаточно серьезного и основательного усвоения того и другого. Между тем, сплошь и рядом дело обстоит именно таким образом. Проповедь творить новое пролетарское искусство и культуру ведется в среде, которая не имела возможности овладеть прошлым наследством и иногда инстинктивно враждебно настроена против него. Такая проповедь несвоевременна и просто вредна. Всуе доказывать человеку и говорить об ухабах буржуазной культуры, сосредоточивать внимание его на новой пролетарской культуре и искусстве, если он с этой самой старой культурой и с этим искусством почти не знаком. В среде нашей комсомольской и рабфаковской молодежи иногда гораздо труднее проводить мысль о необходимости усвоения культурного наследства, чем проповедывать новую пролетарскую культуру и искусство. Наша молодежь в целом «усердно грызет молодыми зубами гранит науки». Вместе с тем она очень непрочь, по крайней мере в известной части своей, взять под сомнение утверждение тов. Ленина и Троцкого, что главная задача в области культурного воспитания масс заключается в усвоении этими массами буржуазной культуры. Хочется перепрыгнуть через эту скучную и серую прозу жизни в область нового социалистического культурного строительства в противовес старому прошлому. Поэтому-то наша партия, наши руководящие органы печати не перестают твердить об элементарных культурнических задачах. Такая точка зрения предполагает большую осторожность в подходе к науке и к искусству, преемственность, постепенность, оглядку, внимательное и бережное отношение ко всему, что досталось и осталось нам от прошлого, сугубый критицизм к тому, что носит на себе печать новых откровений без достаточного усвоения откровений старых. Отсюда получается разлад, отсутствие контакта между партией, пролеткультами и кружками пролетарских писа-

---

[1]) Что нужно подразумевать под критическим усвоением этого „багажа" в области литературы, сказать не трудно. Возьмем для примера „Мертвые души" Гоголя. В поэме Гоголя есть ряд реакционных настроений, навеянных тем, что Гоголь стоял на почве крепостничества. Эти настроения и идеи исказили его художественное произведение особенно во второй части, завели гениального художника в тупик. Это нужно показать и доказать живыми наглядными примерами. Но, показывая и доказывая это, следует постараться, чтобы наша молодежь запомнила нерушимо Чичикова, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина и пр., чтобы она узнала, как, на какой основе, откуда „повелись они на Руси", каковы социально-политические причины, создавшие этих героев; надо дальше показать, отметить, почему до сих пор эти типы имеют общечеловеческое, а не узко-историческое и ограниченно-бытовое значение. Если, дальше, пользуясь Гоголем, среди новой интеллигенции появится писатель, который сумеет дать Собакевичей и Ноздревых нашего времени, он сделает большое общественное и литературное дело.

телей, ибо значительная часть их, если не большинство, страдает этими «грехами молодости». Стремятся прямо перескочить к новому искусству, минуя, обходя старое. Стараются намеренно сказать, крикнуть, написать по-новому, нарушить естественную преемственность; пусть будет прежде всего непохоже на то, как было раньше новая жизнь, новое содержание, новая форма. Требование нового, принципиально отличного становится самодовлеющим. Разумеется, художник должен стремиться к открытию новых художественных истин. В этом смысл всей философии в области художества. Но это правомерно только в степени, в коей художник овладевает тем, что было сделано до него. В противном случае получается одно из двух: либо художник открывает Америку, давным давно открытую, либо он становится на ходули и уходит в новаторство ради новаторства, делая его самоцелью. В нынешней пролетарской литературе нетрудно уловить и то, и другое. Нам проповедуют, что в прошлом—гниль, тлен, мумии, годное на слом, в музей древности; наше внимание приковывают к тому, чтобы в противовес этому старому, затхлому заняться созиданием творчества новых пролетарских вещей; при этом нам показывают кое-как сколоченные лачуги и убеждают поверить, что это новый дворец; нам открывают пророков, которые на другой же день пророками не оказываются. Нас, как малых детей, стараются убедить, что вот это не игрушка, а всамделишная вещь, что вот в этих стихах, вот в этой повести — целый комплекс новых, самых свежих, самых неожиданных, чудесных откровений, истин, достижений, гигантский прыжок от традиционного, привычного, примелькавшегося в мир совершенно неизведанных поэтических очарований; скромные результаты растрезвониваются во все колокола (на это есть особые звонари) и пр., и пр. Читали же мы у Лелевича: «Мы не отказываемся от него (от литературного наследства. *А. В.)* в том смысле, в каком Маркс не отказался от наследства Гегеля и французских материалистов». Это пишется в связи с теперешним состоянием пролетарской литературы. Не прилипает же язык к гортани! Уж лучше бы отказался совсем, ибо читатель, может быть, был бы лишен неприятности переносить это чванливое высокомерие. О Гегеле превзойденном можно было говорить после Маркса, а у нас в пролетарской литературе Марксом и не пахнет.

Высокомерие это помимо прочего поддерживается сознанием, что принципиально идеология коммунистов - писателей несравнимо выше той, коей пропитаны были произведения старого искусства. Это бесспорно, но особенность художника в том, что он видит, слышит, осязает идеи. От хорошей идеологии до хорошего художественного ее воплощения дистанция вполне приличного размера, если даже оставить в стороне другие элементы, образующие искусство, о чем ниже.

Нужно также не забывать, что среди пролетарских писателей есть ряд таких, которые ничем существенным не отличаются от среднего типа промежуточных писателей. Пролетарскими они называются лишь потому, что являются членами пролетарских ассоциаций, таких писателей немало: Неверов, Низовой, Новиков-Прибой, Волков, Полетаев, Артамонов и др. Счи-

тать их представителями пролетарского искусства можно с таким же правом, как и В. Иванова, Тихонова, Малышкина и пр.

С другой стороны, погоня за новой формой, за языком, за ритмом, за стилем на наших глазах то-и-дело вырождается в вычурную нарочитость, надуманность, в изощренность, в заумное словотворчество, в эквилибристику, в поэтические сальтомортале, в манерность, отчего поэтические произведения делаются малодоступными, а часто и просто непонятными широким кругам нового читателя. Особенно этим грешит «Леф», тоже претендующий быть монополистом коммунистического искусства. Конечно, эти качества присущи и промежуточным писателям. Можно сказать, что от них и идет часто эта струя жонглерства словом и образом. Но именно эти подражательность и зависимость пролетарских писателей от попутчиков показательны для всей нашей литературной действительности.

III.

Тов. Троцкий совершенно справедливо отметил, что в понятие пролетарской культуры и искусства внесена большая путаница. «В эпоху диктатуры,—писал он,—о создании новой культуры, т.-е. о строительстве величайшего исторического масштаба, не приходится говорить, а то ни с чем прошлым не сравнимое культурное строительство, которое наступит, когда отпадет необходимость в железных тисках диктатуры, не будет уже иметь классового характера. Отсюда надлежит сделать тот общий вывод, что пролетарской культуры не только нет, но и не будет, и жалеть об этом поистине нет основания: пролетариат взял власть именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой и проложить пути для культуры человеческой» («Литература и революция»). В соответствии с этим тов. Троцкий не устает указывать, что задача коммунистической партии в переходный период заключается в том, чтобы воспитать в рабочем и крестьянине боевые качества, необходимые для окончательной победы их над буржуазией, при чем одна из основных задач усматривается им именно в усвоении этими массами элементов старой культуры,—разумеется, критическом. В среде пролетарских писателей нередко пытаются ослабить смысл этих утверждений указанием, что это—личное мнение тов. Троцкого. Нетрудно, однако, показать, что это не так. Всякий, кто вспомнит последние зимние и весенние выступления в печати тов. Ленина, обязан признать полный контакт их с точкой зрения тов. Троцкого. В статье «Лучше меньше, да лучше» тов. Ленин писал: «Мы невольно склонны проникаться этим качеством (недоверием и скептицизмом. *А. В.)* по отношению к тем, кто слишком много и слишком легко разглагольствует, например, о «пролетарской» культуре: нам бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры, нам бы для начала можно обойтись без особенно махровых типов культур до-буржуазного порядка, т.-е. культур чиновничьей, или крепостнической и т. п. В вопросах культуры торопливость и размашистость вреднее всего. Это многим из наших юных литераторов и коммунистов следовало бы намотать себе хоро-

шенечко на ус» (Н. Ленин, Собр. соч., т. XVIII, ч. 2). Наконец, не мешает напомнить фельетоны тов. Яковлева в «Правде» против нашего пролеткультизма, в свое время просмотренные и одобренные тов. Лениным.

Возражения, которые обычно делаются в этих случаях, совершенно неубедительны. Одно из них сводится, примерно, к такому строю мыслей: пролетариат придет к внеклассовому обществу, к культуре и искусству путем растворения в себе остального общества. Его идеология, его мироощущение тоже сделаются идеологией и мироощущением всего общества. Создавая сейчас пролетарскую науку, искусство, пролетариат тем самым создает внеклассовую общечеловеческую литературу будущего общества, через классовое искусство он идет к простому человеческому социалистическому искусству. Поэтому правы те, кто считает необходимым говорить именно сейчас о пролетарском искусстве.

Все это — сплошная путаница. Основная задача переходной эпохи в том, чтобы из рабочего, из крестьянина, из интеллигента создать борца. Он должен любить друзей своих и ненавидеть врагов своих. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Он должен иметь великую любовь и столь же великую ненависть. Он должен создать, заострить свои аппараты борьбы и насилия; и он делает это: свое государство, свою Красную армию, свои хозяйственные органы он организует так, прежде всего чтобы победить. В соответствии с этим и культурные задачи в переходную эпоху должны быть разрешаемы в духе этих основных требований. В будущем же социалистическом обществе задачи будут иные. Они станут заменяться мирными органическими, всечеловеческими. Социалистическое искусство будущего тоже поставит себе иные цели. Разумеется, кое-что войдет непременным элементом в это искусство из эпохи диктатуры пролетариата, но, во-первых, войдет кое-что и из искусства прошлых веков и, вероятно, не так мало,—а во-вторых, социалистическое искусство будет все же качественно отличаться и от старого искусства, и от искусства нашего времени.

— Мы имеем свой совнарком, свой совнархоз, — почему бы нам не иметь свои совнаркомы и совнархозы в литературе?—Тут путаница делается, так сказать, осязаемой. Совнарком и совнархоз суть прежде всего органы боевые, органы насилия, созданные для организации победы пролетариата над буржуазией в стране, где пролетариат победил, но еще окружен врагом. В социалистическом обществе ни совнаркомов, ни совнархозов не будет. Те органы, по плановому хозяйству, которые станут существовать тогда, в очень слабой степени будут напоминать наши совнархозы, а в совнаркомах просто не будет надобности, как и в иных аппаратах насилия. Аналогия: пролетарское искусство — совнарком и совнархоз целиком обращается против тех, кто пытается связать искусство переходной эпохи с искусством социализма.

Иногда, за последнее время особенно упорно, говорят о пролетарском искусстве, стараясь вложить в это понятие более живое и современное содержание. Рассуждают так: речь идет не о социалистическом, внеклассовом искусстве, а о пролетарском искусстве переходного периода, т.-е. о таком, которое ставит своей задачей отразить идеи и миропонимание нового класса.

«Пролетарской является такая литература, которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата» (Платформа группы «Октябрь»). Есть буржуазная литература, смотрящая на мир глазами буржуа, есть литература промежуточных слоев,—почему не быть литературе, которая смотрит на мир глазами пролетария?

Совершенно верно, есть писатели буржуа и дворяне. Их произведения отражают идеологию этих классов. Есть писатели рабочие, а чаще всего не рабочие,—в их произведениях отражается коммунистическая идеология пролетариата. Но отсюда еще ни в какой мере не следует, что у нас есть пролетарское искусство. Возьмем, например, «Войну и Мир» Л. Н. Толстого. Для того, чтобы написать такое произведение, помимо гениальности художника, нужно было, чтобы существовал и более или менее прочно отложился старый дворянский бытовой и культурный уклад: дворянские гнезда, подмосковные имения, дворцы Петербурга и особняки Москвы, дворовые, мужики-крепостные, господа-дворяне, оброки, весь дворянский экономический, политический и семейный быт, со всем своим «ароматом», порядками. Над этим укладом в виде надстройки возвышался сложный комплекс инстинктивных реакций, обычаев, затем взглядов, этических норм, воззрений, убеждений, эстетических вкусов, научных знаний, верований, суеверий, сомнений и пр. Андрей Болконский, Пьер, Кутузов, Денисов, Наташа и т. д.—они целиком рождены, выпестованы этим укладом. Они воспитались, приняли в себя всю сложную, органически переплетенную систему инстинктов, знаний, норм, вкусов, господствовавших в то время. Тут дело не в одних идеях, а во всем этом целостном, своеобразном культурном комплексе. Художник имел дело с дворянской культурой, сложившейся веками и законченной. То же самое и с буржуазным искусством, — оно опирается на всю многовековую буржуазную культуру, а культура—это не только идеи, а вся сумма выработанных инстинктов, привычек, приемов и методов мышления, этических и эстетических постулатов и пр., и пр. плюс соответствующий бытовой экономический и политический уклад, как основа.

Как дело обстоит в культурной области с пролетариатом? Выше уже отмечалось, что рабочий класс, особенно в России, был пасынком культуры, поэтому первейшая задача в эпоху диктатуры — в том, чтобы он сумел овладеть культурным наследием прошлого. Из этого следует: никакой своей пролетарской коммунистической культуры у нас нет и не может быть сейчас, вопрос стоит пока что об усвоении старой культуры. А раз нет всего того сложного комплекса инстинктов, навыков, методов, которые неразрывной цепью входят в понятие культуры, то нельзя на одну доску ставить буржуазное и дворянское искусство и так называемое современное пролетарское искусство, ибо первое опиралось на многовековую культуру, а у второго этого нет. Говоря иными словами: пролетарского искусства сейчас нет и не может быть, пока перед нами стоит задача усвоения старой культуры и старого искусства. На деле есть вот что: есть буржуазная культура и искусство, к которым впервые получил доступ пролетариат. Сейчас буржуазия употребляет все усилия,

пользуясь всеми своими культурными и прочими возможностями, чтобы лишить русского рабочего этой завоеванной им возможности. Посильно для этой цели используется и искусство. И есть рабочий класс, коммунистическая партия, стремящиеся овладеть этим наследством для окончательной победы пролетариата. В соответствии с этим есть писатели-коммунисты. Задача их должна сводиться к тому, чтобы для этой цели овладеть искусством прошлого и из орудий буржуазии против пролетариата сделать его орудием пролетариата против буржуазии. Подобно тому, как в гражданской войне рабочий пользуется пушками, пулеметами, танками, не взирая на то, что они есть продукт буржуазного общества, так должен писатель-коммунист пользоваться старым искусством для того, чтобы победить. В действительности так оно и получается. *То, что называется пролетарским искусством, есть прежнее искусство, имеющее, однако, своеобразную целевую установку: быть полезным не буржуазии, а пролетариату.* Наше пролетарское искусство целиком в рамках этой «старины». Прежде всего всякий пролетарский писатель, понимающий свои задачи, должен работать на основе, на уровне достигнутых раньше художественных открытий и завоеваний. Он обязан всегда и постоянно иметь в виду все многообразное и богатое содержание искусства прошлого, знать его и пользоваться им, чтобы «прибавлять». Он не даст ни одного значительного художественного обобщения, ни одного художественного типа, ни одного нового образа, если будет игнорировать, или не будет считаться с тем, что дало прежнее искусство. Нельзя писать о современном нынешнем крестьянине, не зная Платона Каратаева, Ивана Ермолаевича, мужиков Чехова. Нельзя дать чего-нибудь ценного о современных советских держимордах, не зная Гоголя, Успенского, Щедрина, даже к современному рабочему, к современному коммунисту, не находившим почти никакого отражения в прежней литературе, нельзя подойти, не впитав в себя целого ряда художественных воплощений былого. Нужно знать Шекспира, Сервантеса, Гёте, Толстого, Достоевского и т. д. В современной пролетарской литературе, например, в области прозы, совершенно не трудно проследить строжайшую зависимость и преемственность в этой области.

Далее. Пролетарский писатель пользуется старыми методами при обработке художественного материала. Он обращается к современному читателю, предполагая в нем наличие тех самых культурных начал, навыков, знаний, способности принимать и воспринимать (в основном), коими располагал читатель буржуазного общества. Современные новшества, «энергичная словообработка», ударность строки, сжатость фразы, динамичность, раскрепощение рифмы и т. д. и т. д., все это в лучшем случае есть нововведения, ничем не отличающиеся от тех, которые имели место в прошлом. Как бы ни были они значительны и своевременны, они целиком переплетены прочными корнями со старым искусством. А новое содержание, новое мироощущение? Весь урбанизм, индустриализм, космизм и т. п., то, чем часто старается отгородить себя пролетарский писатель от искусства прошлого, есть просто

продукт буржуазной городской культуры и за эти пределы не выходит. Ничего принципиально враждебного старому искусству тут нет. Современные пролетарские поэты и писатели усиленно изгоняют из своих произведений всякую чертовщину, леших, домовых, ангелов, богов, церковность, грубый анимизм. И очень хорошо делают. Но вот в Англии есть писатель Уэльс. Вся его удивительная фантастика—от динамо, от аэроплана, от химии, от физики. То, о чем спорят еще наши поэты и писатели, давно уже сделано этим машинным фантастом. Динамичность городской жизни... В рассказах американского писателя О. Генри ее столько, что у нас, у русских городских читателей, еще не отвыкших от наших тихих равнин, лесов и перелесков, кружится голова от этой карусели, от кинематографа, от мелькания лиц, от уличной сутолоки и грохота. Вспомните еще таких писателей, как Верхарн, Уот Уитман, О. Уайльд, вплетите их мотивы в мотивы современных пролетарских поэтов и писателей,—и тогда не трудно будет понять, из каких основных художественных элементов слагается современное пролетарское творчество. А новые чувства, новые настроения, новая идеология, зреющие в рабочем, присущие только ему в отличие от буржуазии, крепостников,—коллективная спайка, дух дисциплины, пролетарской солидарности, интернационализма, марксистское миросозерцание и т. п. Конечно, все это есть. Но все это только предпосылки для новой культуры, а следовательно, и для нового искусства, но это не самая культура. До этого еще очень далеко. Коллективизм, интернационализм, марксизм существовал и существует в недрах буржуазного общества, но в обществе этом господствовали и господствуют буржуазная культура и искусство. Взятие пролетариатом власти дает пока возможность последнему овладеть этой культурой, приспособляя ее (и искусство) к своему интернационализму, марксизму и пр. Только и всего. И интернационализм, пролетарская дисциплина и марксизм сами есть продукты буржуазного общества, развились на основе культуры этого общества. В культуру социалистического общества они войдут только как элементы; они переплавятся, и полученный сплав будет иной, качественно отличный от этих элементов.

Словом, никакого пролетарского искусства в том смысле, в каком существует буржуазное искусство, у нас нет; попытка представить современное искусство писателей пролетариев и коммунистов пролетарским искусством, противоположным и самостоятельным в отношении буржуазного искусства, на том основании, что эти писатели и поэты отражают в своих произведениях идеи коммунизма,—наивна и основана на недоразумении, так как на самом деле у нас в лучшем случае есть искусство целиком, органически и преемственно связанное со старым,—искусство, которое стараются приспособить к новым потребностям переходного времени диктатуры пролетариата. Идеологическая окраска нисколько не изменяет положения

дел и не дает права на принципиальное противопоставление этого искусства искусству прошлого, как самобытной, культурной ценности и силы: речь идет только о своеобразном приспособлении. Разумеется, пролетариат, буржуа, мелкий буржуа, пользуются искусством для разных и часто противоположных целей, но отсюда еще нисколько не вытекает деление искусства, науки, культуры по трем категориям: буржуазной, пролетарской, мелко-буржуазной; ибо на деле пока есть культура, наука, искусство прежних эпох. Свою науку, свое искусство, свою культуру создаст на основе новой материальной базы человек будущего социального строя. Пока же, в переходное время, особенно в России, «нам бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры».

Могут сказать и говорят: но ведь у нас создается свой, новый бытовой и культурный уклад. Основой для него служит новая экономика (национализированная промышленность, тресты, синдикаты и пр.), затем советы, Красная армия, партия. Совершенно верно. Но совершенно неоспоримо также утверждение т. Троцкого: «В основе диктатура пролетариата не есть производственно-культурная организация нового общества, а революционно-боевой порядок для борьбы за него» («Литература и революция»). Этот «революционно-боевой порядок» в области культурной, впервые дает рабочему в о з м о ж н о с т ь овладеть наукой, техникой, искусством прошлых эпох. Он, этот порядок, ставит эту проблему как основную и первоочередную. Новый быт, новая «советская» мораль, новые вкусы, привычки, методы мышления и пр. и пр. приспособлены к задачам этого порядка. При этом задача эта в области культурной очень трудная. Разрешить ее можно только в результате очень упорной, медленной работы. Никаких моментальных средств нет и не может быть. Свергать «власть» тут нельзя, смешно, нелепо, глупо, наивно, в лучшем случае. Между тем, так иногда и ставится вопрос: требуют «рабоче-крестьянского правительства» в литературе, в науке и т. д. К сожалению, волшебных и скоропалительных мер нет, и правильно делает Советская власть, прививая новой рабоче-крестьянской молодежи, с соответствующим отбором и критикой, буржуазную науку и искусство. На этом построена вся наша учеба.

Не подлежит сомнению, что писатели-коммунисты и рабочие уже дали кое-что ценное в художественном освещении нашей переходной эпохи. Это ценное нами не раз отмечалось. Художественная значительность их произведений признается такими писателями, как Замятин. В одном из своих последних обзоров он отметил Казина, Обрадовича, Александровского, Аросева, Либединского, Неверова. Перечень этот можно увеличить. За последние месяцы заметно стал выдвигаться наш партийный молодняк: Безыменский, Светлов, Малахов и др. Если их не заест и не испортит кружковое политиканство и казенный оптимизм, литература наша обогатится новыми бодрыми и свежими голосами. Тем не менее, все эти несомненные успехи являются успехами того самого старого искусства, которого так чурается значительная часть пролетарских писателей.

Разумеется, «революционно-боевой порядок» переходной эпохи не представляет собой нечто замкнутое, застывшее, неизменное. Этот порядок сам изменяется, переживает ряд стадий в своем развитии; в каждой стране, в государстве он имеет, будет иметь своеобразные, отличительные черты и свойства. Несомненно также, что элементы «производственно-культурной организации нового общества» имеются кое-где, кое в чем уже теперь, даже в такой отсталой стране, как Россия. Вполне допустимо и так оно и будет, что в известный момент на основе элементов новой материальной базы (социализированное производство, кооперация и т. д.) будет создаваться и расти свой соответственный культурный быт; а этот быт в свою очередь даст возможность новому искусству переходного времени занять самостоятельную позицию по отношению к искусству прошлых эпох, впитав все основные, необходимые приобретения этого прошлого. Эту живую диалектику общественного развития никогда не следует упускать из внимания.

Однако, довлеет дневи злоба его. Ныне мы очень еще далеки от этого. Несмотря на наличие «производственно-культурных» элементов в боевом порядке нашей переходной эпохи в основе этой эпохи лежат все же не эти элементы, а конкретные, именно боевые задания. Во всяком случае путь к самостоятельному новому искусству теперь, в эти дни, в эти годы лежит пока прежде всего чрез усвоение и овладение «наследством», коего пролетариат был лишен в недрах буржуазного общества.

IV.

Положение осложняется как раз именно тем «чур меня», о котором мы писали выше. Для настоящего, подлинного социалистического искусства у нас нет соответственно и материальной и культурной почвы. В то же время в наших пролетарских литературных кружках преобладающими являются мнения, что задача пролетарского писателя сводится к тому, чтобы скорее покончить со старым искусством (часто даже без серьезного знакомства с ним) и скорее возвести на развалинах его свое, пролетарское художественное здание. При этом одна часть тщетно старается поймать синюю птицу этого социалистического, пролетарского искусства, другая, считая единственным отличительным признаком этого искусства наличие коммунистических взглядов, ничего кроме этих взглядов в произведениях искусства находить не желает. Естественно, что одни, вместо того, чтобы художественно воспроизводить действительность, впадают в схематизм и отвлеченность. Вместо реальной Октябрьской революции они дают какую-то планетарную революцию, вместо реальных людей, действующих в определенном времени и пространстве,— абстрактные, надуманные схемы — символы. Избяная, деревянная Россия превращается в один огромный завод, в динамо, в электрическую станцию. Реальные очертания живой современности расплываются, стираются, подменяются теоретическими построениями в духе якобы новой пролетарской литературы. Вместо материалистического миропонимания проповедуется космизм, про-

кладывающий дорогу самому обыкновенному и отсталому антропоморфизму. Лишив революцию ее живой материи, ее конкретного содержания, пролетарский писатель логически и психологически не может разглядеть всей сложности ее путей, ее извилин, ухабов, кривизны, окольных обходов. Он легко спотыкается на этих ухабах, как это случилось во дни нэпа с некоторыми из пролетарских писателей. Причин этих и иных литературных блужданий следует искать, поскольку речь идет о воззрениях и мнениях, в этой погоне за синей птицей социалистического искусства, в этом пролеткультизме. Такими недостатками до недавнего времени грешили поэты «Кузницы». Кажется, теперь это — превзойденная ступень. Задачи, поставленные пред искусством нашими днями, настолько властно ворвались во всю эту лабораторную, студийную среду, что писателю волей-неволей приходится перестраивать себя на более житейский и жизненный лад.

Очень шумно ведет себя та часть пролетарских писателей, которая, усвоив ряд марксистских положений и решив их проводить в своих произведениях, полагает, что тем самым постулируется пролетарское искусство. Они ищут «идеологии» и миропонимания. Остальное их, в сущности, интересует «постольку, поскольку», а часто и совсем не интересует. Разумеется, коммунистическая идеология—явление первостепенной важности, но ведь речь-то идет о произведениях искусства, а искусство, это — не фельетон, не пропагандистская и агитационная речь, не публицистическая статья. Оно имеет свои методы, свои особенности. Так как существо искусства зачеркивается и оставляется «идеология», то и получается, что писатели и произведения расцениваются только по той или иной идеологии; художественная оценка писателя и произведения подменяется оценкой идеологии. На этом основании Гоголь и Толстой должны быть признаны вредными писателями, так как один был явный крепостник, а второй — граф. Так это по сути дела и говорят, иногда скрыто, смутно, неясно, иногда более или менее открыто. В вопросе о попутчиках это сказывается с совершенной наглядностью. Что греха таить, многие попутчики насчет коммунизма очень неблагополучны. на то они и попутчики. Но это наиболее сильное в художественном смысле крыло современой литературы. Достаточно их перечислить: Маяковский, Есенин, Асеев, Пастернак, Н. Тихонов, Орешин, Вера Инбер — из поэтов, прозаики: Б. Пильняк, В. Иванов, Сейфуллина, Н. Никитин, Буданцев, Малышкин, Бабель, Крептюков, Яковлев, Зозуля, Зощенко, Мих. Козырев и т. д. Из до-революционных писателей — М. Горький, А. Толстой, М. Пришвин, Н. Никандров, М. Шагинян и др. Эти беспартийные группы усиленно работают над художественным изображением старого и нового быта. В сущности, наши пролетарские писатели, несмотря на известную самостоятельность в выборке и обработке некоторых тем, в целом не вышли еще из стадии подражательности тем или иным из этих писателей. Писатели эти стоят на почве Октября, а некоторые из них являются стихийными коммунистами. Главное же в том, что при всем различии во взглядах и мнениях от пролетарских писателей, и те и другие работают и творят — и это не может быть

иначе — на основе старого искусства, старого наследия, старой культуры, так как иных пока нет.

Между тем, выставляется требование в центре поставить пролетарскую литературу, а попутчиков допустить в виде подсобного отряда для пролетариата, бесполезного, но могущего дезорганизовать врага. Лихие укротители даже не ставят в целом вопроса о художественной ценности, об удельном весе промежуточных беспартийных писателей, о том, насколько литература пролетарских писателей имеет художественные данные для того, чтобы стать в центре. Для них ясно: в области коммунизма у попутчиков дела обстоят неблагополучно, вопрос тем самым решен бесповоротно. Чтобы не оставалось сомнений в вопросе о том, могут ли пролетарские писатели стать в центре, делается обычно так: художественные успехи в среде членов кружка, имя рек, успехи иногда значительные, иногда средние, иногда весьма сомнительные раздуваются во-всю, а попутчиков стараются очернить, выпятить какую-нибудь из отрицательных сторон, замалчивая все положительное, ценное, интересное, содержательное. Об этом нами уже писалось и возвращаться к этому вопросу уже не стоит, но не мешает подчеркнуть, что вся эта литературная кампания приняла характер явной травли не только ряда беспартийных писателей, но и тех коммунистов, которых считают повинными в попустительстве и в покровительстве им. В литературу внесено мелкое политиканство, идет сколачивание наспех кружков, исключения и отлучения, вносится обскурантизм, создается такая анти-литературная атмосфера, в которой становится трудно дышать писателю. Промежуточных писателей третируют, как граждан второго и третьего разряда, не только тех или иных, взятых в отдельности, а в целом. Словно нарочно стараются поставит стену между Советской властью, правящей партией, пролетарскими писателями и этими группами. Вопрос настолько обострен, что партии, хотя бы в лице ее руководящих органов, действительно нужно сказать свое решающее слово.

V.

Нужно прежде всего ясно сказать, что линия товарищей, предпринявших поход против попутчиков, якобы во имя утверждения прав пролетарской литературы, и с общественной и с литературной точки зрения, кроме вреда, ничего не приносит и не принесет. В сущности, речь идет не о пролетарских писателях вообще, подавляемых будто бы с легкой руки попустителей попутчиками, а о пролетарских писателях особого типа и склада. Демьян Бедный, Серафимович, С. Подьячев, Касаткин, Аросев, Семенов, Либединский, Казин и многие другие уже давно стоят «в центре» и пожаловаться на затирание поистине не могут. Дело идет о том, чтобы партия признала руководящее значение за такими группами и литературными кружками, которые считают, что они призваны построить, заложить фундамент нового-социалистического, пролетарского искусства в противо-

вес старому. Так как живущие «старики» (М. Горький, А. Толстой и др.) и попутчики такой цели себе не ставят и являются живой связью между прошлым и настоящим, то вполне понятным становится требование прекратить их «засилие». На эту позицию партия, по нашему мнению, стать не может. Она не может пойти навстречу велеречивым, часто полуневежественным и всегда легкомысленным обещаниям и разглагольствованиям на тему о пролетарской культуре и искусстве, когда для такой культуры и искусства нет и не может быть соответствующей материальной и духовной базы; она не будет потакать блужданиям в абстракциях вместо разрешения действительных культурных и художественных задач нашего времени. Сделать теорию пролетарского искусства, выдвигаемого с самоуверенностью взамен и в противовес старому искусству, когда речь идет как раз об усвоении этой «старины» и о преемственности, признать ее, теорию эту, официальной линией партии нельзя. А между тем, именно об этом толкуют те, кто требует единой партийной линии, если откинуть личные и групповые обиды и домогательства. Наоборот, партии предстоит выдержать упорную борьбу, главным образом, в рядах молодняка и дать отпор этим и подобным широковещательным и бахвальским настроениям. Партия до сих пор это и делала. И так как она это делала, естественно, что контакта между ней и подобными литературными кружками не было и не могло быть. Отсюда отчасти—жалобы из кругов пролетарских писателей, что партия не уделяет им достаточно внимания, что они в загоне, на задворках, что в партийных рядах установилось перманентное непонимание и пренебрежение к пролетарской прозе и поэзии. В действительности этого не было. Пролетарские писатели сплошь и рядом, вопреки своим поискам синей птицы, спускались на грешную землю и давали простые и хорошие вещи. В меру их созвучия эпохе и нашим дням и, конечно, в меру их талантливости их поддерживали материально и духовно. Мы не хотим сказать, что тут все благополучно, но преднамеренного замалчивания, затирания не было. Пролетарские кружки и ассоциации пользовались и вниманием и поддержкой партии.

В вопросе о попутчиках руководящие круги нашей партии стояли в целом тоже на правильной реальной почве. Если у пролетарских писателей есть свое самобытное и ценное и свои прорехи, то у групп беспартийных писателей, наиболее к ним близких, тоже есть свои сильные и слабые стороны. Слабой стороной несомненно является идейная мешанина и путаница в их произведениях, зато они первые твердо приступили к изображению революционного быта и дали ряд ценных типов, картин, зарисовок и проч., несмотря на свою идейную неустойку. Художественно, повторяем, это самая многочисленная и одаренная группа. И пролетарские писатели и художники — промежуточники — при всем различии их в идейной окраске, фактически творили и творят в рамках старого искусства. И те и другие вносили каждый по-своему результаты своей работы в общую литературную жизнь. Грубо и схематически подводя итоги, можно сказать: коммунисты-писатели сосредото-

чивали свое внимание на быте компартии, на комсомоле, на художественной агитации, в то время, как беспартийные советские литераторы темами своих произведений брали крестьянство, городского обывателя, наше уездное, нашу провинцию в годы революции. Поэтому трудно и неправильно сравнивать с этой точки зрения художественную работу одних с достижениями других: у каждой из этих двух основных групп — свои области, свои облюбованные темы, свои недостатки и достоинства. Не отдавая нарочитого предпочтения ни тем, ни другим, партия учитывала действительное положение дел в литературной жизни и соответствующим образом ориентировалась. Если в настоящий момент требуют для попутчиков процентной нормы, создавая склоки, шумиху, травлю, то нужно прежде всего понять источник всех этих литературных споров. Требуют от беспартийных писателей идеологической чистоты. Выпрямлять идейную линию многих из них нужно твердо и решительно, но никогда не следует забывать, что от беспартийного художника мы не можем требовать коммунистической идеологии, тем более четкой и выдержанной. Мы уже отмечали, на почве каких идейных вывихов у самых строгих блюстителей литературных нравов вырастают подобные требования: теоретически они об'ясняются тем, что все искусство сводят к идеологии и ничего иного в нем фактически не видят: практически же перед нами явные пережитки военного коммунизма в виде антиспецевских настроений, перенесенных в область литературы. Так как в целом наша партия эти настроения изжила, то об'ективно требования упростителей и вульгаризаторов приводят их к борьбе с товарищами Троцким, Луначарским, Бухариным, Мещеряковым, Стекловым и др. Работу свою напостовцы ведут прежде всего среди молодежи, в среде довольно шаткой и идейно неустойчивой. Здесь абстракции о социалистическом искусстве, о вредоносности попутчиков, все это упростительство, революционная фразеология могут найти себе известную почву.

В этих условиях требования поставить «в центре» пролетарскую литературу на деле означают передачу «командующих высот» своеобразным енчменистам от литературы. Следует поэтому не только решительно отвергнуть подобные претензии, но и дать решительный отпор среди молодежи всей этой упростительской вульгарщине, которая к тому же достаточно засорила нашу литературную жизнь и уже успела внести склоку до крайнего преизбытка. Вместо «производства вещей» идут чистки, голосуются резолюции, используются пьяные скандалы (дело Есенина). Сегодня «Леф» изображают как контр-революционное и мрачное исчадие ада; завтра с ним стряпают соглашение, а удивленные граждане оповещаются, что «Леф» (это Маяковский-то) исправился под влиянием статей не то Родова, не то еще кого. Вообще напостовцы за последнее время, повидимому, несколько спохватились, заметив, наконец, что нельзя проводить «единую партийную линию» в склоках, в отлучениях, в травле, выпуская для этой цели даже Тарасовых-Родионовых. Помимо «Лефа» идет заигрывание с «Кузницей», с попутчиками, чему несомненно способствует внутренний распад группы «Октябрь». Во всем этом много, конечно, «тактики», и скорее всего новую позицию критиков нужно

рассматривать, как скрытую напостовскую, немного приглаженную и прилизанную.

Помимо решительного идейного отпора этой литературной вульгарщине в нашей прессе, в журналах, в кружках молодежи, нужно принять и другие, организационные меры. Не посягая ни в каком случае на самодеятельность ныне существующих пролетарских групп и кружков, следует признать желательным об'единение писателей-коммунистов и им сочувствующих на более широкой базе, чем это есть сейчас. Вместо путаных теорий о пролетарской культуре и искусстве в основу такого об'единения следует положить то культурничество, под знаком которого ведет работу наша партия в целом. Такое об'единение включило бы в себя, помимо существующих кружков, при сохранении их самостоятельности, ряд писателей-коммунистов, которые не входят в эти кружки и ассоциации, стоящие на точке зрения создания пролетарского искусства. В то же время значительные кадры попутчиков безусловно примкнули бы активно к такому об'единению. Это в значительных размерах разредило бы тепличную замкнутую атмосферу в литературных кружках, а также и вообще оздоровило бы нашу литературную жизнь.

Подводя общий итог всему сказанному по вопросу о пролетарском искусстве и нашей художественной политике, мы можем формулировать этот итог словами тов. Троцкого: «Наша политика в искусстве переходного периода может и должна быть направлена на то, чтобы облегчить разным художественным группировкам и течениям, ставшим на почву революции, подлинное усвоение ее исторического смысла и, ставя над всеми ними категорический критерий—за революцию или против революции,—предоставлять им в области художественного самоопределения полную свободу» (Л. Троцкий, «Литература и революция», стр. 9).

Эта линия и проводилась доселе. И никаких оснований к пересмотру ее нет, ибо она единственно правильная.

Несколько замечаний следует сделать о нашей политической цензуре. В этой области у нас далеко не все благополучно. Напостовское заезжательство пустило здесь довольно прочные корни еще задолго до «литературных» выступлений журнала «На посту». Накопилось не мало анекдотов, недоразумений, но беда, конечно, не только в них: политическая цензура в литературе вообще очень сложное, ответственное и очень трудное дело и требует большой твердости, но также и эластичности, осторожности и понимания. Твердости у нас не занимать стать. А насчет эластичности и прочих подобных качеств положение довольно печальное, чтобы не сказать более. Прежде всего нашим тов. цензорам следует перестать вмешиваться в чисто художественную оценку произведения, затем нужно понять, что нельзя от беспартийных промежуточных писателей требовать коммунистической идеологии, тем более четкой. Нельзя придираться к мелочам, следует по мере

сил и возможности избегать узкого суб'ективизма в подходе к художнику. Следует ограничиваться одним требованием: чтобы вещь не была контр-революционной и не видеть этой контр-революционности в отдельных уклонах писателя, в изображениях темных сторон советского быта и т. п.

В виде Post Scriptum'a.

Один из приемов, к которым прибегают усиленно, состоит в утверждении, что на пролетарских писателей не обращают внимания, что они в загоне, что их материальное положение ужасно, в то время как сомнительные беспартийные литераторы, а иногда и прямые клеветники на революцию, благоденствуют в литературном и материальном отношениях. Правда, у нас есть журналы, например, «Красная Новь», которые дают место в первую очередь М. Горькому, Вс. Иванову, Н. Тихонову, М. Пришвину и т. д. Но это потому, что и Горький, и Вс. Иванов, и М. Пришвин остаются большими мастерами слова, напоминают новому писателю, что̀ такое подлинное мастерство, и совершают большое культурническое дело. Можно расходиться в оценке того или иного из этих и других подобных писателей, но вопить по поводу их засилия неумно и неуместно. Ничего преднамеренного здесь нет. Нужно отправляться от конкретного, от того, что в данный литературный год есть наиболее художественно ценного и в то же время приемлемого. Можно оставаться и быть неудовлетворенным, но это опять-таки другой вопрос,—вопрос данного уровня, данного состояния современной литературы и индивидуальных оценок. Что̀ художественно заметного дал нам литературный год из пролетарской прозы и поэзии?—«Неделю» Ю. Либединского, «Огненный конь» Ф. Гладкова, «Ташкент—город хлебный» Неверова, «Подвижники» Новикова - Прибоя, рассказы Аросева, стихи Безыменского; может быть, еще что-нибудь менее значительное. Большая часть этого напечатана или переиздана «попустителями». Посмотрите, с другой стороны, что̀ за это время напечатала «Молодая Гвардия, которую журнал «На посту» представляет единственным органом, куда не пускают «всяких». Не ясно ли, что очень легко кричать, что кого-то не пускают куда-то, но совершенно иное дело, когда ставится простой, но прямой и щекотливый вопрос о написанных вещах и о достигнутых художественных успехах. Мы же от себя скажем, что напечатанное в «Молодой Гвардии» об'ясняет, почему Горькие и Пришвины, Вс. Ивановы и Пильняки находят место в «Красной Нови»: пред нами, так сказать, опыт совершенно наглядный. Надеемся это доказать в ближайших номерах.

Оставляя, однако, эти вопросы в стороне, как все же частные, берем на себя смелость утверждать, что представляющие художественно общественную ценность рукописи пролетарских писателей находят себе ход к читателю. Пусть нам укажут, какие интересные рукописи, какие повести,

романы и т. д. маринуются у пролетарских писателей. Наоборот, наши издательства очень часто очень снисходительны ко многим вещам только потому, что они принадлежат пролетарскому писателю и поэту. Такие примеры привести, если это потребуется, совсем не трудно. Кстати следует отметить, что как раз у промежуточных писателей накопилось не мало рукописей, с которыми они мыкаются из месяца в месяц без всякого результата. Происходит это не потому, что вещь—контр-революционная и бесталанная, а по совершенно другим причинам. Частных издательств у нас почти нет, а которые есть, влачат мизерное существование. Между тем есть очень значительная группа писателей, вещи которых «не подходят» нашим советским издательствам, не в силу политических причин, а в силу своеобразного их построения, содержания, манеры и т. д. В таких случаях писателю говорят без дипломатии: не плохо, следовало бы напечатать, а нам все-таки... как-то, вообще... не подходит [1]).

На замалчивание в рецензиях, статьях или на пристрастное, в худую сторону, отношение к себе пролетарские писатели пожаловаться в общем тоже не могут.

Материальное положение современного писателя чрезвычайно тяжелое. Тяжело живется пролетарским писателям, не менее тяжело—попутчикам. Но «попустители» тут не при чем. Чтобы улучшить это положение, нужна целая система мер в обще-советском порядке, начиная с гонорара, который остается нищенским, вплоть до жилищного вопроса, имеющего для профессии художника часто решающее значение.

---

[1]) Между прочим, усиленно распускаются слухи, что на поддержку „попутчиков" тратятся огромные суммы, что попутчикам выплачиваются какие-то очень высокие гонорары. Часто кивают головой при этом на „Круг". Эти и подобные утверждения совершенно не соответствуют действительности. В „Круге" платят хуже, чем в Госиздате, так как отсутствует приплата с номинала. „Суммы", полученные „Кругом",—нищенские (в совокупности не более 40.000 рублей). В „Круге" печатались Н. Ляшко, Аросев, П. Низовой, Новиков-Прибой, Казин и др. „пролет"-писатели. О дешевой библиотеке „Круга" мы не говорим: там—большинство писателей-коммунистов.

Смысл слова.

П. Журов.

(Андрей Белый. После разлуки. Берлинский песенник. «Эпоха». Петербург — Берлин. Стр. 125.)

В предисловии Андрей Белый выступает с призывом: «Будем искать мелодии». В этих словах есть движение, есть порыв, чаяние некоей синтетической поэзии, целостной и универсальной, созидающей, поверх всех частичных литературных средств и соревнований, на рассыпи необозримых распестренных личных и групповых встреч утверждающей общее: опыт единой и общей жизни. В этом чаянии поэта—пафос книги, ее осуществление; о нем же, недоговоренном до конца, но выраженном ярко, свидетельствуют глухая боль и неумеренно обнаженная скорбь—мотивы потери, раз'единенности, распада в лично - космическом мире поэта, — записанные на ее страницах.

Устремления Белого как бы формальны; выдвигая задачу мелодизма, он не только хочет дать более крупный, более общий принцип стихотворной техники. Но самое понятие мелодия есть понятие собирательное, связующее, обрамляющее. Поэт дает несколько двойственное и — в конце концов — обуженное определение мелодии. В этом случае он напоминает смелого анатома, который, после нескольких общих фраз, двумя ударами ножа вскрывает природу стиха и показывает ее скрытый нерв—мелодию. Но здесь, нам, кажется, он ошибается, он слишком стесняет понятие мелодии, вмещая ее в «интонационный жест смысла» (стр. 11) [1]). Интонацией в целом, хотя бы и на

---

[1]) Вот собственные слова автора: ...ритм нам дан в пересечении со смыслом, он— жест этого смысла. В чем же место этого пересечения? В интонационном жесте смысла; а он есть „мелодия“ (стр. 11). „Ритм нам дан в пересечении со смыслом“—так; „ритм— жест этого слова“ (жест—движение) допустим; „в чем же место пересечения“? Если бы Белый сказал: линия их пересечения (совпадающая с каждой точкой ритма и с каждой точкой смысла) и есть мелодия—это было бы понятно:—„в интонационном жесте смысла“.—Интонационный жест смысла. Здесь слова „жест смысла“ образуют новое понятие, а не повторяют первоначальное и только осложненное новым признаком:—„интонационный“; он не совпадает с первым термином „жест смысла“, равным „ритму“. Здесь выдвигается как бы вторая природа жеста смысла, взятая в сторону интонации. Это—не ритм, выраженный интонально. В этом случае мелодия была бы—интонационным ритмом,

почве «смысла», тональностью определенного типа, хотя бы и вытекающей из темы, разве уже исчерпывается понятие мелодии в поэзии?

Обозначив своим анатомо-геометрическим определением существо мелодии, Белый не вскрыл, а только слегка обнаружил искомый нерв. Его ошибка отмечается далее на том условно-анатомическом рассечении стиха, которому он безболезненно предал почти все пьесы сборника.

В Белом боролись два понимания мелодии. Недаром он обронил слова: «мелодия целого» (стр. 10), но сейчас же затем слетел на частичное и узкое: «мелодия в стихе—есть господство интонационной мимики» (стр. 10). Дальше он повторяет о мелодии, как о песенной душе лирики. Уже совсем хорошо звучат слова. Только в мелодии, поставленной в центре лирического произведения, превращающей стихотворение в подлинно распеваемую песню, поставлены на свое место: образ, звукоряд, метр, ритм (стр. 11).

По существу мелодия, пожалуй, не определима; но поэту хочется найти твердую точку в своем построении и, ради словесно отлитой точности, он жертвует широтою и жизнью.

Но как бы то ни было, за нащупываниями природы мелодии, за формально-литературным принципом мелодизма неизбежно стоит и другой, существенный смысл, которому первый служит лишь внешним техническим показателем.

Что же касается «интонационной архитектоники» пьес, то принцип, принятый поэтом, представляется нам совершенно неудачным. В самом деле, возьмите тот же пример интонационного расположения строк в отрывке Гоголя, как он дан у Белого:

Чуден Днепр
При тихой погоде,—
—Когда—
Вольно и плавно
Мчит—
— Сквозь леса и долы—
Полные воды
Свои (стр. 12).

Да, мы получаем декламационный рисунок, полезный для чтецов, для разучивания чтения вслух. Но в чтении для себя, в чтении вообще,—для восприятия—отрывок проигрывает в этой чресполосице строк. Белый в борьбе против вычуры образа, ритма и звука (стр. 10, 14) впадает в иную вычуру — интонационной внешне начертательной архитектоники. То, что он считает необходимым выразить и что действительно необходимо для правильного и полного восприятия, достигается простейшими средствами, теми самыми обычными средствами, которые, даже в распоряжении поэта,

где ритм—жест смысла. Такое понимание, все равно, превратило бы мелодию из третьего равноправного, а, может быть, даже и первичного члена триады в подчиненное служебное положение, зависящее от второстепенного и необязательного признака — интонационности. Но в том и другом случае свободный принцип мелодии порабощается второстепенным служебным признаком интонационности.

удовлетворяют смысловым и мелодическим требованиям песенного языка (пример: тире при моллосе, стр. 14). Можно удивляться, как Белый не почувствовал всей мертвенности, всю разрубленность своих пьес, над которыми он проделал четвертование, вычерчивая интонационные рисунки. «Самое расположение слов подчиняется у меня интонации и паузе, которая заставляет нас выдвигать одно слово, какой-нибудь союз И;, или обратно: заставляет пролетать по ряду строк единым духом, чтобы потом, вдруг задержаться на одном слове» (стр. 15). Вряд ли подобный рецепт чтения приемлем, с точки зрения декламационной техники.

Вот образчик интонационной архитектоники стихов:

Слышу утрами —
Зовы
Я...
Вижу — огни: —
                    — Дни —
                    Бирюзовые,
                    Полные смысла... (стр. 17).

Вы уже задумываетесь над обилием знаков: что̀, например, значат эти двоеточия и два тире (взятые вместе) перед словом: Дни?

Кругом не ям —
Березовые
Пни,
И —

— Перламутровые пни;
   И —
      — Перламутрами
      Унизанные,
      Розовые —
            — Крылья коромысла (стр. 18).

Здесь все на счету: и отдельное в строчку с тире «И», и расстояние между строчками (так от «И» — до «перламутровые пни» — одно, а от «перламутровые пни» до—«И» (второго) другое меж-строчечное пространство, повидимому, оттеняет и углубляет паузу) и медиальное расположение строк.

Что же получается? Чтение затруднено. Надо собрать в одно это рассыпанное, с умыслом рассыпанное целое, преодолевая умышленно-искусственные границы. Даны декламационные вехи. Но читаем-то мы для себя и про себя, песня, которая внешне пелась встарь, теперь поется внутри, опрозрачненно и освобожденно, без внешних нот и звуков. Мы более угадываем в буквенном словесном изображении мысль поэта, чем доподлинно читаем, до мелочей вычитываем ее.

Собственно, граница нелепости Белым еще не достигнута. Можно итти дальше, можно углубить и продолжить интонационную архитектонику стиха. Можно написать (чего не попробует прихоть поэта!):

Кру —
— гом
не—ям,
Бе —
— ре —
зовые—
пни.

[Что Белый недалек от стремления итти дальше, видно из стр. 72:

Так
Взбрыжни
Же
В
Очи
Водою забвения! — (стр. 72).

Нас особенно занимает здесь выделение в строчку глухого В.]

Можно, например, обратить внимание на транскрипционную условность некоторых букв нашей азбуки, и требовать более точной транскрипции стиха... Но к чему все это? Все та же зараза и поражение головоумной — пусть даже артистической — рефлексией чувствуется в потугах этих формальных исканий. И лучшие стихи книги: Нет, Пророк, Бессонница, Больница, Ты—тень теней—поэтом пощажены. Единственную, нужную интонацию, живую мелодию не спутаешь, не потеряешь, при самой скромной архитектонике: вспомним Пушкина. Ее разберешь даже в полустертых надписях, там, где не осталось уже никаких знаков. И чем проще, обычнее, привычнее для глаза, неосязаемее внешняя плоть, не более ли освобождается суть стиха, та непередаваемая знаками музыка, в которую возлетает дух.

И мало того: еще вопрос—не преобразую ли я мелодию стиха Белого, воспринимая ее; не подчиню ли я ее, хотя бы отчасти, моему мелодическому я. Такое со-понимание, со-творчество является внутренним актом восприятия, и вот Белый ему ставит решительные преграды (а в конечном итоге: — и самому себе). Поэт прав, называя книгу «поисками формы»: это стихи не для чтения; может быть, даже это не стихи, а запробованные поэтом построения на некоторые тематические и мелодические задания: — поиски формы, раз'ятые, не сведенные в целое, не сыгранные, а лишь разучиваемые и проверяемые строфы. Почти все они воспринимаются очень трудно: нужно омузыканиться, нужно вслед за поэтом войти в лабораторию его миме - звуководелия. Как опыт и школу, проследить эти пробы интересно и поучительно, но принять, как готовое, отданное людям,—невозможно, мучительно.

Причудливо вычерченной форме дано причудливо-утонченное психологически содержание. Мы вступаем в отвлеченную, суб'ективную вселенную Белого, которая, как расплавленное море, зыбится, напрягается и стынет в душе поэта. Нельзя провести точных границ между внутренним и внешним миром поэта, — они сосуществуют, они внезапно переходят друг в друга, то продолжаясь, то пронизываясь один другим. Вселенная Белого — мир его

«Я», — его психического распространения. Он всецело отошел от нашей твердой вселенной, окованной тяжелым точным эмпирическим опытом не одного, а всех. Он носится в облачных сферах образно облеченных эмоций и идей, в мире символов и психологемм, в пределах личных и вмещенных в суб'ективное пространство состояний. При чем вселенная поэта сливается для него с нашей, заступает ее неподвижную и косную плоть. Если наша вселенная в тяжкой и непрерывной традиции материализованного опыта сотен поколений замкнулась и отвердела,—то вселенная поэта заново расплавлена и пережита, как живое, движущееся, одно целое непосредственно с ним, выражения его «Я», его лица. Белый и она—одно.

Книжка распадается на ряд циклов и отдельных пьес.

В первом цикле пьес наиболее спокойных и уравновешенных по тону («Весенняя мелодия» с пометкой: Мандолина. Напрасно мы старались подслушать в музыке этого цикла что-нибудь от мандолины. Осталась непонятной эта пометка) открывается исходная позиция поэта. Здесь даны положительные утверждения. Образцы света, образцы ветра в природе продолжаются и осмысливаются в состоянии одухотворенной и омузыкаленной сосредоточенности, поэт равно живет в единстве личных и космических сосуществований внутри своего большого «Я»: плоскость личного и внешнего пока уравновешена.

Переплетающими, случайно тающими
Видениями
Света —
— Пронизывает —
Тверди, суши,
Зрение
Души —
— Пронизывает: —
Сердце
— Тайна —
— Вдохновения... (стр. 24).

В тонкой ткани словесного искусства устанавливается единство миров, их взаимопронизанность в прозрачном, отвлеченном, об'ектирующем третьем. Далее это равновесие нарушается. Какой-то толчок выводит поэта из состояния предустановленной гармонии. Мир внутренних знаков (образов) начинает преобладать, распространяется во внешнюю вселенную, закрывает ее. Начинается превращение внешнего мира в мир призраков, загромождающих первый условными, исключительно суб'ективными схемами. В пьесе «Вечер» (мотив ущерба): день на ущербе, земля на ущербе, жизнь на ущербе, слияние «Я» поэта и мира в одно принимает угрожающе условный характер: об'ективному миру навязываются резко суб'ективные выражения. Эта пьеса резкий decadence по отношению к предыдущему циклу. В ней поэт орудует образами природы — не рожденными ею вот сейчас, а привнесенными в нее аллегорически, сообразно с задачей выражения лично-эмоциональных напря-

жений поэта. В ней призрачный мир поэта, сгустки в иллюзионном «не — я» личных состояний поэта откидываются как бы на экран действительности. Мы оцениваем этот процесс, как психоматериализацию, служебное овеществление проектированных в природу образов (от символа — к аллегории, от образа — к психологическому комплексу, звуку, — вещи).

Ниже поэт говорит: «Изречения мои — маска»... (стр. 45).

Цикл «О полярном покое» представляет собой более тонкий, нежели пьеса «Вечер». В ряде очень изящных пьес заключены картины умопостигаемого космоса (Полярное море), в которых образы и движения суть внешне осмысленные символы внутренних состояний поэта. Музыка слов, музыка образов — и тончайших настроений согласованы в общей мелодии. Но уже ясно ощущается отвлеченный смысл этих образов и построений. Тема и содержание цикла подготавливают к дальнейшим превращениям в мире художника.

Несколько разрозненный ряд следующих пьес определяется господствующим мотивом внутреннего распада и зловещей иронии...

... — Потому что — все равно:
Не знаю, или знаю...
Потому что мне скучно — везде...

. . . .

... — Наконец —
— Зачем
Этот ад.

Потому что, —
— Один конец
Всем... (стр. 46).

Здесь мы находим интересный профиль своего (поэту) «века».

«Мы — безотчетные: безличною
Судьбой
Плодим
Великие вопросы;
И — безотличные — привычною
Гурьбой
Прозрачно
Носимся, как дым
От папиросы... (стр. 57).

Некоторые пьесы этого ряда интересны и художественно ярки (Кладбище, Нет, Пророк, Ты — тень теней).

Проходим мимо поэмы «Маленький балаган на маленькой планете «земля»: пьесы, вошедшие в этот цикл, слишком интимны и, мы сказали бы, слишком преходящи; они — мимолетящие блики мелькнувших, может быть, и очень острых, переживаний; — почти едва записанные, слишком поспешно выброшенные и, наконец, заключенные в неприемлемую обертку — кому это нужно, зачем — гримасы трагического паяца.

В цикле «В горах» уже господствует исключительно суб'ективизм. Взятые на прокат образы природы становятся недейственными и скучными аллегориями, они понижаются до степени довольно тяжелой бутафории. Превращение свободно созвучащего внутреннему миру поэта мира внешнего в условно-бутафорскую сцену суб'ективных знаков — условно-осмысленных психологемм и символогемм — угрожающая и осуществившаяся опасность транссуб'ективного метода поэта. Цикл «Я» («поется с балалайкой» — опять гримаса) — поэма современности; содержание выдержано в тех же условно символических тонах. Современность представляется Белому — «ночным многоногим людогоном», «утопатывающим в тьмы». На путях людогона — «в нить событий—вплетено небытие» (111). Но в конце стихийного, обреченного пути «тьмой» — огонь богоявления (стр, 111, 113, 115, 121).

Резюмировать эту книгу, «полную хаотических видений и стройных метров», можно заключительными словами самого поэта:

Неисчислимы
Орбиты серебряного прискорбия,
Где праздномыслия
Повисли
Тучи... (стр. 123).

Толстой когда-то говорил о Леониде Андрееве: он хочет меня напугать, — а мне не страшно. О Белом можно сказать: он раскрывает картины страшных и поразительных видений мирового и личного значения, — но они проходят, как легкие феерии, как поверхностно плывущие фотограммы, — и ничего от них не остается. Мало того, думается, что и для самого Белого они не имеют особенного и прочного значения. Это — мучительные спазмы, недействительные, упавшие пространственными и звуковыми образами — преходящие состояния его души, которые он так же легко сбрасывает и забывает, как плод свою шелуху. У Белого нет естественного, от полноты и свободы рожденного, слова. Нет слова, действительно уравновешивающего и пронизывающего косную плоть мира так, чтобы стать ее внутренним стимулом, преображающим лучом. Это, может быть, подлинно страшно и трагично, когда мастеру мысли и слова, стремящемуся к синтетической поэзии и владеющему формальными средствами ее, не дано овладеть действенным смыслом слова.

Литературная корь.

В. Правдухин.

(Ю. Либединский. «Завтра». Стр. 3 — 84. См. журнал «Молодая Гвардия» № 7—8. 1923. Москва).

Читатель, конечно, еще не забыл первого произведения Ю. Либединского, — повести «Неделя», о которой так много писали и продолжают писать.

«Неделя» порадовала все нас тем, что в ней молодой писатель с ясной и достаточно художественной изобретательностью, впервые, если не считать Аросевской «Страды», показал коммунистов живыми, обнажил их в быту, в их плоти и крови, сумев в то же время сохранить за ними присущий им пафос великих современных «мечтателей».

Повесть особенно радовала тем, что писатель, еще далекий от совершенного мастерства и органически-чуждый всяких лабораторных вычур, просто и живо, с новой воскрешающей силой, свежей лавиной и крепким напором человеческих чувств рассказывал нам, как из первобытного хаоса революции рождается новая жизнь и новые крепкие люди.

Повесть «Неделя», имея несколько разжиженную и нестройную архитектурно композицию, начиналась поразительно чистым, акварельно свежим описанием «весны, задремавшей где-то на далекой лесной полянке»... Эту прозрачную, искреннюю ясность рисунка в основном автор донес до конца строк своей первой повести.

И вот перед читателем новое, достаточно большое по своим размерам, произведение Либединского — «Завтра».

(Условимся называть его повестью, хотя автор и не дает ей этого наименования.)

И здесь начало повести тоже поражает читателя.

Вот оно:

«Закрытая дверь бросила цифры, те, что Лиза держала в мозгу (?). Гнутая ручка скользнула под пальцами».

Нам пришлось однажды наблюдать в деревенской школе такую сцену: мальчик лет десяти, судя по выражению лица — острому и лукавому — обладающий немалым запасом юмора, сказал:

— Пять пишут, а два — в мозгах!..

Класс ответил дружным хохотом на эту сознательную остроту мальчика, тонко подменившего понятие «ума, памяти» указанием на их территориальное обиталище.

Ю. Либединский, несомненно, пишет серьезно, и совсем не для того, чтобы развеселить читателя. Но он в каком-то заворожившем его сомнамбулическом настроении все время делает этот искусственный подмен действительных понятий, названий, действий лже-импрессионистическими, иллюзорными.

Читаем дальше:

«В нарядных подушках дивана розовое тело поет (?) из кружев» (стр. 7). «Он нагнулся к Ванде, поднявшей с дивана голубой дымок папиросы» (стр. 9).

«И брови черными, злыми червями сбежались» (стр. 9).

«Сказали лиловые, бойкие буквы с белой хрустящей бумажки» (стр. 15).

«Ненависть горячей кровью осаждала мозг» (стр. 27).

«Революция бодрой радостью держит мускулы и гонит кровь по телу» (стр. 60).

«Легкие Тони Марти рады вечерней бодрой свежести» (стр. 79).

Ю. Либединский, повидимому, ищет освежающей язык образности, пытается уйти от шаблона зарисовки вещей, событий.

Но с ним получается то же, что и с Грибоедовским Молчалиным — «Шел в комнату—попал в другую».

Он уходит от нужной, естественной и убеждающей непосредственности изображения и встает на дорогу лже - импрессионизма и мелкого, нарочитого символизма. В погоне за динамичностью образов он постоянно нарушает экономику читательского внимания. «Легкие», «мозги», «пение тела», «революция» и т. д. это—в данном случае всецело суб'ективные и интеллектуализированные писателем понятия. В них нет бесспорной и всеобщей наглядной образности и убедительности. Писатель резко нарушает стихийную силу языка, который должен, как расплавленный металл, оформляться под воздействием чуемой и творимой художником живой жизни. А главное эта манера, помимо ее беззубого безвкусия, крайне стара [1]).

Она потерпела окончательное поражение на страницах А. Белого, а за ним — десятка его последователей.

И она присуща именно писателям упадочных настроений, которые безвозвратно ушли от «наивного реализма» молодости, потеряли силу ощущений непосредственных чувств, настроений и действий.

Откроем первую страницу романа А. Белого «Петербург», и мы там сразу же увидим такую фразу:

---

1) Мы уже не указываем на ряд допущенных Либединским—в его искусственных поисках „нового стиля"—неправильностей в языке. Ограничимся двумя примерами:

„А Самуил скрыл (м. б. закрыл?) лицо руками" (стр. 9). А если уже „скрыл", то может быть „в руках", „за руками"?

„Церкви с темным, в старину строенным (м. б. построенным?) дворцом" и т. д. стр. 11).

«В открытую дверь заглянул колпак повара».

Именно «колпак повара, а не повар в колпаке».

У А. Белого вещь — и притом мелкая — всегда заслоняет живого человека. Это ему присуще в высшей степени. Но в нем это цельно; он жизнь земную, человеческую считает лишь вещным, предметным отражением «миров иных»; его писательский путь, это — «нащупывание в бытии потусторонней значимости явлений» (См. «Литерат. Мысль» № 1. 1922. Ст. Аскольдова об А. Белом).

Совсем иную художественную задачу ставит перед собой Ю. Либединский в повести «Завтра». Задача его — заглянуть в наше реальное завтра, «Завтра» германской, может быть, всемирной социалистической революции. Заглянуть не отвлеченно, а художественно: показать на живых образах, как эта грядущая революция вновь окрылит нас, как наши будни Нэпа превратятся у каждого отдельного человека в небывалый по размаху и волнующей глубине переживаний праздник, когда сами звезды и «голубые лучи прожекторов» будут «пьяны от радости».

Замысел обратный и резко враждебный задачам А. Белого, — утверждение значимости *именно земной жизни, нашего грядущего реально* «Завтра». Замысел дерзкий, интересный и прямо враждебный той манере А. Белого, которой сознательно или бессознательно пробует воспользоваться молодой писатель. Нужно наше «Завтра», до сих пор лишь в мечтах зримое, крепкими и неразрывными нитями связать с нашим «Сегодня», поставить на один уровень, одинаково нам доступный. Эта задача требует от художника беспощадной и смелой хватки жизни сугубо жестокого, последовательного реализма, освещенного мечтой современного романтика, — реализма, способного передать самые бесспорные, ясные, непосредственные и живые людские переживания.

Но Либединский внешне начал с фальшивой и неубедительной манеры — с поисков лживой образности, затемняющей, а порой совершенно уничтожающей содержание. Это потому, что у него с самого начала не хватало художнического мужества и веры в свой дерзкий замысел.

Талант помог ему в первых главах первой части нарисовать живых людей. Помимо его сознательной воли, во вражде с его манерными приемами, со страниц первой половины его повести на вас из-за искусственных и порой изощренных строк смотрят живые Лиза Онипко, Самуил, Андрей и внешне убедительные образы красивой Ванды и Громова.

Но в дальнейшем, особенно во второй части, вы чувствуете, как с каждой новой страницей герои отрываются от реальной почвы, как все меньше и меньше остается у них живых корней, с которыми писатель на первых страницах очень крепко срастил их, иногда намеком, коротким письмом, иногда мелькнувши в их памяти воспоминанием он показал нам их жизнь до момента, в который их застает начало повести. И в первой главе второй части автору еще удается чекиста Андреева сохранить живым, читатель еще видит вместе с Сибиркиным его «обыкновенное лицо» рабочего, одаренного живой ненавистью к пьянствующим и развратничающим нэпма-

нам. Но дальше все герои повести расплываются в шуме улиц, в нехарактерных и незапечатлевающихся криках толп, в картинах, часто списанных по газетному автором просто со старых плакатов и знамен. И вы переживаете то же ощущение, какое должен испытывать кораблестроитель, когда он, намереваясь уже ставить мачты или моторную машину, видит, как самый остов корабля начинает расползаться, рушиться и падать. От повести к концу остается одна материя без оформляющего ее каркаса, покрышка-замысел без остова. Там, где показывается отдельный, раньше показанный читателю, герой, там еще несколько сохраняется живость и цельность уличных картин революционного праздника, но там, где автор или сам со стороны, механически, по замыслу описывает эти картины, не оживляя их острым восприятием лица, органически близкого этим событиям, или передавая исходную точку наблюдения внутренне пустой полячке Ванде, художественно лживой фигуре Тони Марти, — там получается изолированный «революционный пейзаж», так же чуждый композиции повести, как чужды бывали длинные описания природы у старых беллетристов.

Описание природы, внешних, массовых событий может быть оправдано лишь тогда, когда оно не нарушает внутренней ткани произведения, т.-е. или развернуто художником на огромном полотне и притом в высшей степени эпически и широко, как это умел делать почти один Л. Толстой, или же дано через восприятие одного из основных и близких этим событиям героя. Вспомним, напр., как тот же Л. Толстой встречу Александра I в Москве в своей эпопее «Война и мир» описал через наивное восприятие Пети Ростова. Этим же методом совершенно бессознательно, но достаточно удачно пользуется Л. Сейфуллина, описывая в «Правонарушителях» глазами Гришки Пескова выселение монахинь из монастыря, в «Перегное» глазами деревни — Ваньки, Софрона и Артамона Пегих — избиение купцов и выступление Красной армии.

У Либединского уличные, массовые сцены разорваны на массу внутренне-разнородных отрывков как благодаря искусственной внешней манере, так и благодаря тому, что порой очень неясно для читателя, кто их наблюдает в данный момент. Отдавая их наблюдение «врагам революции», Либединский, ничтоже сумняся, продолжает описывать события в том же патриотически-радостном колере. Отсюда порой репортерское описание: «Это народ кричит, — вон рабочие кричат». Или: «Рота за ротой, взвод за взводом — Красная армия» и т. д.

Писатель свой замысел не довел до конца, не овладел им вполне, он не наложил на него необходимого груза художнического вчувствования, отсюда — к концу повести — его герои, как лен или лыко, на которые их хозяин не положил достаточно камней, поплыли в разные стороны по водной поверхности его замысла.

И хотя он утопил в реке неожиданно и эпизодически появившуюся в конце повести, эс-эрку Тони Марти, но и она у него плавает на поверхности его лишь интеллектуально оформленного замысла, и читатель не видит всей необходимости умирать ей в данный момент. Ведь она именно в этот день

что-то поняла, ведь она именно в этот момент увидела правду настоящего и ложь своего прошлого, так неужели она так быстро откажется от попытки воскресить себя к жизни.

Описание ее смерти, ложно-классическое и поверхностное, читателя в этом не убеждает.

Тони Марти убита автором «с заранее обдуманным намерением», но без достаточного художественного оправдания этого убийства, с холодным расчетом без всякой эмоциональной запальчивости. Символический камень, тихо упавший в воду за трагической героиней, лишь сильнее иллюстрирует холодный и «преступный» замысел молодого писателя, отсутствие в нем эмоциональной невменяемости.

Так молодому и бесспорно талантливому писателю мстит намеренный, нарочитый разрыв между формой и содержанием, то̀, что в художественном произведении не подлежит разрыву.

В своей первой повести «Неделя» Либединский был целен и искренен, и если он, благодаря еще внешнему несовершенству своей повести, не победил критиков с Олимпа, он убедил нужного нам, современного, нового читателя. Он тогда не знал еще ложно-классического мертвящего «направленства», горячо исповедуемого «постовиками», он тогда не внимал проповеди о «лабораторных» ухищрениях над словом и самоуверенному зазыву Г. Лелевича и Родова лишь к формальному, конструктивному подражанию и использованию классиков.

Его естественная манера, которая родилась у него в процессе искреннего, неголовного творчества, когда он шел к слову, к литературе от подлинной жизни, сменилась болезненным литературным вывихом, неизбежной детской болезнью—корью.

Будем верить, что это неопасно, что болезненный уклон, может быть, неизбежный в нашу переходную эпоху и для литературы, скоро минует у молодого писателя, и реальная жизнь, оформляемая в слове, вернет ему былую свежесть и непосредственность, которые со временем окрепнут в подлинное мастерство художника.

И пусть «Завтра» станет возможно скорее случайным «Вчера» писателя, пусть эта неудавшаяся повесть как можно скорее останется у него в прошлом, как пройденная веха на его молодом, только что начавшемся, писательском пути.

Тов. юбиляру В. Я. Брюсову.

Дорогой товарищ Валерий Яковлевич!

Лучшие представители русской интеллигенции вообще и русской литературы в частности всегда занимали почетное место в том движении, которое вело борьбу против царского самодержавия и в защиту интересов трудящихся. Много блестящих литературных произведений создали русские поэты в процессе такой борьбы. В этих рядах литературных бойцов с честью занимали место и Вы.

Но, к сожалению, громадное большинство русских писателей шло по пути революционной борьбы и красноречиво говорило об эксплоатации и угнетении крестьян и рабочих только до тех пор, пока они надеялись, что трудящиеся не захотят или не посмеют взять власть в свои руки, а сыграют в революционной борьбе против самодержавия только роль послушного орудия в руках буржуазии. Рисуя тяжелое положение и угнетение крестьян и рабочих, они не представляли себе того великого гнева, который веками накоплялся у трудящихся против их эксплоататоров и угнетателей. Они, говоря словами одного из Ваших стихотворений, только «баловали под лесами», на которых истинные революционеры-рабочие вели свою трудную, обильную жертвами и страданиями, революционную работу во имя полного освобождения крестьян и рабочих от всякого гнета и от всякой эксплоатации.

Пробил час пролетарской революции, и то, что было до тех пор тайным, что искусно скрывалось под красивыми поэтическими фразами, стало явным для всех. Большинство русских литераторов ушло из лагеря революции в стан врагов революции, врагов освободившихся крестьян и рабочих. Их имена забыты теперь трудящимися революционной России.

Редким и блестящим исключением среди обширной группы русских писателей явились Вы, Валерий Яковлевич. «Песня с бурей—вечно сестры», писали Вы в одном из своих стихотворений. И в тот момент, когда грянула революционная буря, Вы смело слили Вашу песню с ее громом. С начала нашей пролетарской революции Вы смело и безоговорочно стали в ряды революционного пролетариата. Делу борьбы этого пролетариата, делу строительства им новой жизни и новой культуры Вы отдали все свои богатые силы и свои широкие познания, заняв место в рядах авангарда борющегося революционного пролетариата — в рядах Российской Коммунистической Партии.

Вы ясно доказали этим, что и раньше, говоря об угнетении и эксплоатации трудящихся, Вы не «баловались под лесами», а искренно звали на энергичную борьбу до окончательной победы.

Презрением покрываются в глазах народа имена тех, кто изменил своим прежним лозунгам, кто в момент решительного боя ушел в лагерь контр-революции. Но трудящиеся Советской России умеют глубоко чтить имена и работу тех, кто искренно и до конца пошел в их рядах. На долгие-долгие годы останутся их имена в памяти трудящихся. А среди них одно из первых мест занимаете Вы, Валерий Яковлевич.

Государственное Издательство Р. С. Ф. С. Р. и редакции его журналов «Красная Новь» и «Печать и Революция» с гордостью вспоминают, что ими издан был ряд Ваших произведений, что другие Ваши произведения находятся сейчас в их работе. Государственное Издательство с гордостью считает Вас в рядах своих постоянных сотрудников. От всей души приветствует оно Вас в день Вашего юбилея, как поэта, сумевшего связать свою плодотворную работу с великим делом освобождения трудящихся, с великим делом пролетарской революции.

Заведующий Государственным Издательством *О. Ю. Шмидт.*

Председатель Редакционной Коллегии
Государственного Издательства *Н. Л. Мещеряков.*

Редактор журнала «Красная Новь» *А. К. Воронский.*

Редактор журнала «Печать и Революция» *В. П. Полонский.*

Москва.
17/XII—1923.

Клеветнику и сплетнику.

В книге Когана «Литература этих лет», в связи с оценкой Серапионов, между прочим, напечатано:

«Они пишут бледнее, чем раньше. «Голый год» Пильняка, или «Партизаны» Всев. Иванова — лучшие вещи, написанные ими... А по-моему во всем виноват Воронский. Он ни разу не сводил Пильняка на с'езд Коминтерна, но зато часто бывал с ним в разных кафе. И все, что от кафе, у Пильняка росло и ширилось. А все, что от Коминтерна—осталось спутанным и тусклым».

В том, что господин Коган опустился до базарной сплетни, в «серьезном труде» нет ничего удивительного и неожиданного. «Труд» г. Когана по существу является очень вульгарным приспособлением к коммунизму и к революции человека, который никогда ни революционером, ни, тем более, коммунистом не был и быть не может, но готов в известные моменты (при победе) утверждать: «и мы пахали». Такие запоздавшие нередко спешат занять самую крайнюю позицию, очень много толкуют о Коминтерне и т. д. Тут ничего не поделаешь.

К сведению же читателя, которому попадет в руки книга Когана, — сообщу:

В кафе и ресторанах за все время Нэпа я бывал всего три или четыре раза. С Пильняком в кафе, тем более часто, я не бывал. Что же касается Коминтерна, то подряда водить Пильняка или кого-либо еще в Коминтерн я не брал. Кроме того и сам Пильняк—не бычек на веревочке. Оставляя в стороне глубокомысленный прогноз г. Когана о том, почему Пильняк и Всев. Иванов не пишут лучше, должен еще раз сказать, что утверждение г. Когана есть дрянненькая сплетня и клевета всегда «опаздывающего» человека.

А. Воронский.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Кузница. Литературный сборник. Москва. 1928. Стр. 256.

Если читатель вспомнит декларацию группы „Кузница", опубликованную летом в „Известиях В.Ц.И.К.", вспомнит ее ложноклассический, но безусловно искренний и экстазный тон („Стиль — это класс. Художник — функции этого класса и его творящий медиум и т. д."), он, вероятно, возьмет сборник с надеждой увидеть в нем яркую конкретизацию положений этой декларации, будет ждать от его страниц новых и дерзких попыток зарисовать жизнь нового господствующего класса.

Но... читатель будет глубоко разочарован. Ибо легко продекларировать, что „смена форм общества меняет формы искусства", но не так легко эту смену форм зафиксировать своим творчеством.

Существуют, повидимому, свои сроки для подобных смен и органичность в росте новых форм искусства.

В большинстве своих страниц сборник „Кузница" и по темам и по выполнению крайне старомоден. „Железная трава"—рассказ Вл. Бахметьева, рассказ Т. Дмитриева „За счастьем" и особенно повесть М. Сивачева „Сказки юности" не дают читателю ничего нового и волнующего подлинным волнением искусства. М. Сивачев описывает свою первую любовь, описывает длинно и грамотно, порой с большим и субъективно искренним лирическим подъемом. Порой в повести мелькнет и своеобразие любовных переживаний героев, но, в конце концов, все это тонет в обычных, трафаретных лирических излияниях молодости.

Кончается повесть нелепым случаем неожиданной гибели сивачевской Маргариты—девушки Тони, — и отсюда повесть получает определенно нехудожественный характер без какого-либо внутреннего оправдания ее общей конструкции. Да, нелепый и ненужный случай, скажет читатель и из чувства психической гигиены постарается поскорее забыть его. Ни индивидуального, тем более социально-познавательного опыта повесть читателю не дает. А чувство социально-радующего сопереживания у читателя убито нелепым случаем смерти главного героя.

В нашей старой беллетристике много было подобных повестей. И вот сейчас невольно память вызывает одну из них, очень похожую, но значительно лучше построенную автором: это,— если память не изменяет нам, — повесть Ломакина „Моя приятельница", напечатанная в одной из самых последних книжек, вышедших во время революции, журнала „Русская Мысль". Там гораздо ярче и значительней рассказано о первой любви выходца из народа.

За рассказами Бахметьева и Дмитриева остается то преимущество, что они написаны с большей экономией средств, более объективно и ярко. Но и в них вы не найдете глубокого художественного замысла, опаляющего читателя неожиданной и новой для него, но в то же время просто и естественно воскрешаемой творчеством художника жизни. У них—авторов, повидимому, молодых—есть известная занимательность сюжета, чувствуется собственная наблюдательность, порой острота восприятия. Последнее особенно выступает у Дмитриева, и ему веришь, что московскую жизнь действительно воспринимает его герой—юнец-пролетарий, впервые приехавший из глуши в центр России. Но фабула и Дмитриева шаблонна и стара. Она во всем подчинена случаю жизни, а не ее экстракту — художественному обобщению. Два юных друга, у которых нет крова в Москве, живут у проституток, пытаются „спасти" их. Одну спасают, но очень „механически": высылают в деревню, другая гибнет на их глазах окончательно. Жизнь остается в сущности на той же мертвой точке. Исход не найден.

Бахметьевский рассказ более глубок, он порой соприкасается со струнами, из которых исходит подлинное литературное „звучание“: тоска ссыльного в Сибирской глуши, стихийная любовь к нему, интеллигенту цельной деревенской девушки Анны, его побег — все это найдет свое „отпечатление“ в читателе, но и про этот рассказ читатель скажет словами чеховского Тригорина: „Мило, талантливо, но у Тургенева, Золя лучше“. И после толстовских „Казаков“ не захочет читать Бахметьева. А кроме того, подобную „ситуацию“ жизни нисколько не хуже, если не лучше, перед нами фиксировали и до революции рядовые беллетристы, вспомним рассказ Осипова „Простая жизнь“ (журнал „Современный мир“), хороший рассказ Ив. Тараканова „Один в природе“ („Современник“). Особое место в сборнике занимает отрывок из романа-хроники П. Дорохова „Колчаковщина“. Этот отрывок читается с большим интересом уже в силу того, что он правдиво и литературно передает нам значительную полосу из истории Сибирской Вандеи. Отсюда — известное агитационное значение этого романа для наших дней. Однако роман не обладает большими литературными достоинствами, хотя и чувствуется, что он написан человеком уже искушенным и имеющим навык к беллетристическим писаниям. Роман должен быть отнесен к очень хорошему, литературному репортажу. Роман добросовестно с некоторой намеренной, тенденциозной обрисовкой героев „двух миров“, не глубоко фиксирует пред нами богатую, еще совершенно почти не затронутую литературой историю колчаковщины, если не считать хорошего, но крайне неровного романа „Два мира“ В. Зазубрина.

Резко выделяется в книге ясно и четко выполненная сказка Н. Ляшко „Нарная чертовщина“. Это пишет подлинный художник. Сюжет сказки необычайно любопытен. Черти забираются в тюрьму и под видом людей-острожников резко нарушают царившую там, привычную „гармонию“. Ни розгами, ни самыми изощренными и жестокими пытками тюремное начальство не может подчинить их своей дисциплине. Ужас и смятение охватывает тюремщиков, когда они бесплодно пытаются повесить чертей.

Подлинным, глубоким юмором, приближающимся к юмору толстовской сказки об Иване-дураке, насыщена эта социально полнозвучная сказочная новелла талантливого беллетриста. Порой от картин истязаний, от картин, рисующих всю глубину человеческого извращения, веет подлинным ужасом на читателя. Юмор органически переплетается в сказке с яркими и умело расположенными драматическими пятнами. И совершенно естественно и непроизвольно у читателя от художественно-выполненных картин ее рождается живое ощущение — крепкая уверенность в том, что человек упорством здорового, разумного зверя разрушит тюрьмы, уничтожит тюремщиков, это страшное искажение подлинной природы человека.

Сказка Н. Ляшко просится на страницы новых хрестоматий. В сборнике напечатана первая часть поэмы И. Садофьева и отрывок „Из поэмы о проститутке“ М. Герасимова. На трех страницах своего отрывка М. Герасимов рассказывает нам о девочке, о ее жизненном и светлом утре, о ее первой любви.

Помню — была девочкой
Всех резвее,
В юркой босоногой стайке
Свежо щебетала и реяла,
Как та острокрылая чайка.

Поэт сумел нащупать нужные, нестертые краски для своей темы, и начало поэмы производит хорошее — яркое и освежающее читателя — впечатление. Поэма может выйти удачной.

Радует и Ил. Садофьев. Как далеко ушел поэт от своих поэм „Кантемировской и Ломоносовской эпохи“, этих неуклюжих мертвых поэм. „Пульс мятежных масс вселенной“, „Хранитель вещественных доказательств“ и т. д. Он понял, что поэзия — вдохновенная игра здорового существа, пушкинская роскошь богатой личности, а не программа-схема. И он прав, когда литературным группам, застрявшим в мертвящей кружковщине, говорит:

Им, заблудившимся в тумане,
Увы, отведать не дано —
Пьяно ли в Пушкинском стакане
Индустриальное вино...

Это можно было бы сказать и Садофьеву в его более раннюю пору творчества.

Теперь в поэме Садофьева местами чувствуется действительное поэтическое опы-

нение, и тема о заводе, о его истории за время революции, хотя и данная достаточно отвлеченно, впервые у Садофьева начинается ощущаться живо, проступать сквозь оболочку стиха.

Возвращение поэта к Пушкину, к классике для поэта шаг вперед. Пройдя школу классицизма и преодолев его не только внешне, но и внутренне, он сумеет нащупать и свое лицо и найти новую естественную форму для его выражения.

В. Правдухин.

„Звезда". Литературно-общественный и научно-популярный журнал. № 1. Госиздат. Петербург 1924.

Начал выходить новый журнал в Петербурге. В предисловии говорится:

> ...„З в е з д а ставит своей основной задачей служить для марксистского воспитания новой, выдвинутой революцией, рабоче-крестьянской интеллигенции. Редакция прекрасно сознает всю трудность осуществления этой задачи"...

Соответственно с этим отдел общественно-публицистический открывается статьей Ленина (с предисловием тов. Зиновьева) „О карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме".

А отдел „Критика и библиография" возглавляется статьей Горбачева под заглавием столь характерным для поставленной журналом задачи: „Художественная проза революции" (Аросев, Малышкин, Сейфуллина, Буданцев, Либединский, С. Семенов).

Трудность осуществления поставленной перед собой журналом задачи сказалась на первом и главном отделе его, литературно-художественном. Там занимает первое место рассказ А. Н. Толстого: „Парижские олеографии". Занимательное и яркое произведение. В отличие от многих других произведений А. Н. Толстого, рассказ этот не идет ровной волной, которая под конец растекается и останавливается тихим озером, он идет восходящими черными уступами, как Собор Парижской Богоматери, на вершине которых сидит вор. „Человек знаменит, как Виктор Гюго". А. Толстой в этом рассказе показал нам налитый кровью циклопий глаз варварской цивилизации современной Версальской Европы.

Рассказ привлекает к себе внимание. Рядом с ним простые лопарские легенды: „О чем рассказывал мне Сакре" С. Семенова. Простотой, четкостью и искренностью, они отчасти напоминают „Алтайские сказки" Вс. Иванова. Правда, лопарские легенды С. Семенова—по характеру своему—иное, чем „Алтайские сказки". Написаны они с большим вкусом и любовью. В них видна настойчивая работа автора, который достиг успеха. Хороши „Лики революции" Жоржа Д'Эспарбес в переводе Манизера. Это не есть нечто цельное—это скорее отдельные эскизы из эпохи первой Великой Французской революции.

И замечательна, очень хороша по настроению вещь Муйжеля: „Повстречались". Тема старая: отец и сын („отцы и дети"), но, вставленная в оправу современных событий, производит высоко-художественное впечатление. Вообще весь литературно-художественный отдел был бы не только сам по себе хорош, но и отвечал бы установленной задаче журнала, если бы в самом центре его не помещался Ник. Никитин со своим „Полетом". Из всех никитинских, это самая слабая вещь. Предисловие к „Полету" не спасает его. И напрасно „Звезда", восходящая на литературном горизонте, не могла обойтись без никитинского пятнышка на фоне ее красноватого света. Пятнышком повесть Никитина выглядит на фоне именно того подбора художественных произведений, из которых составлен № 1 журнала.

Стихи Садофьева, Ионова и выдержки из сонетов Эредиа в переводе Д. Глушкова—хороши. Особенно обращает на себя внимание стихотворение Ионова:

> Ах в книге много букв,
> Как много дней в столетьях...

В общественно-публицистическом отделе, кроме вышеупомянутой весьма интересной статьи Ленина, есть статья Сафарова: „Научная теория и революционная тактика". Как видно по заглавию, тема весьма широкая. В изложении своем автор ее не только не суживает, но подчас касается по пути изложения и других крупнейших вопросов, напр., вопроса о крахе II Интернационала. Несмотря, однако, на это, статья по размерам едва ли не меньше средней журнальной статьи. Поэтому, когда в конце изложения автор переходит к определению

ленинизма, естественно читатель ожидает с большим интересом подробного развития основных положений о ленинизме. Но автор, к сожалению, не удовлетворяет читателя и дав, мне кажется, не совсем полное определение ленинизма, обрывает свою статью.

Очень интересны в журнале статьи чисто научного содержания: Лазарев—„О Курской аномалии", Рынин—„Успехи авиации и воздухоплавания" и Святский—„Новое в астрономии".

Отдел библиографии в журнале весьма незначителен, зато в нем есть статьи справочного характера: Быстрянский—„Что читать по диалектическому материализму", Ихтебман—„Что читать по физике и естествознанию" и, наконец, А. Г-ин.—„Из английской литературы".

Вообще весь журнал производит хорошее впечатление свежести и новизны. Появление его надо всемерно приветствовать.

А. А.

ИЗ „БИБЛИОТЕКИ ЮНОГО КОММУНАРА".

М. Светлов.—Рельсы (стихи). Изд-во Ц. К. К. С. М. У. Харьков 1923 г.

А. Ясный.—Каменья (стихи). Изд-во то же.

М. Голодный.—Сваи (стихи). Изд-во то же.

Выписанные книжки заслуживают самого бережного, самого тщательного внимания как первая, если и слабая, то сочная ветвь крепкоствольного дерева будущей поэзии. Дерево будущей поэзии может вырасти только из новой, перепаханной, перепластованной и засеянной жемчугом нового быта, почвы. Новая поэзия, грядущая на смену старой: новое дерево—хотя бы сосна—символ вечной зелени—вечной весны, сменяющая хрупкую, засыхающую пальму, потребует для своего роста десятков лет. Десятками лет будет измеряться и процесс социально-бытовой переплавки — тончайшего отпластования стальных корней нового быта. Начало такого отпластования, как и его зеркальное отображение—ветвь новой поэзии можно наблюдать в недрах рабочего класса уже в наши дни. Современный российский пролетариат представляет крайне характерное, крайне поучительное явление. Поток деклассированности, подточивший гранит рабочих масс, схлынул. Масса снова спаивается, коллективизируется, а через улучшение своего материального положения и внутренне растет, размыкая не только узкий круг культурных, но и внутрибытовых потребностей.

Особенно резко, стремительно и глубоко проходит этот процесс среди рабочей молодежи. Рабочая молодежь, и особенно комсомол — побеждающий Икар революции — ослепляющая оправа нашей современности. На плечи рабочей молодежи возложен величайший груз истории—коммунистическое будущее. Рабочая молодежь — через цепь поколений—должна завоевать это будущее. Надо внимательно приглядываться к ней.

* * *

Недавно знакомый рабочий-подросток принес мне свои стихи.

Замасленная тетрадь. Неуклюже-острый, как колосяная вязь, почерк. Неуклюжие, то напоминающие частушку, то перепев из Надсона—строчки. И вдруг — яркий само цвет. Стихи о С. С. С. Р. О красном экспрессе.

Мчится он к солнцу свободы,
В пространство заманчивых сфер,
С собой увлекая народы
В мировой С. С. С. Р..

Со стороны формально-композиционной, конечно, слабо. Но со стороны внутреннего восприятия—молодо, свежо, искренне и стремительно сильно.

Стремительность—основная особенность и стихов выписанных в заголовке авторов,— по существу таких же подростков поэзии. Таких же ее учеников, какими недавно были они в заводском цехе.

А в заводском цехе они очень дельные очень внимательные, очень любящие производство, ученики.

Пой же, зубило,
Песней в закат.
Сердце взлюбило
Взмах молотка.

(М. Голодный.)

Даже тончайшая лирика любви — голубая дрожь сердца—часто соединяется у них с металлической дрожью станка.

Глаза любимые вчера
Без счету целовал украдкой.
Какие буйные вечера,
Как зов гудка мне мил и сладок.
Смотреть, как переменный ток
Стальною искоркой заблещет.
О, если б целовать я мог
Станка осталенные плечи.

(А. Ясный)

Но в стихах молодежи — и это тоже следует подчеркнуть — интимно - личного очень мало. Эпизодично пробиваясь, оно или растворяется в труде, или вплетается в шум и гром борьбы и победы. Тот же А. Ясный, напевая о своей любимой, зарисовывает ее как соратницу по баррикадам или ЧОН'у:

Красненький платочек,
Синенький жупан,
Беленькие ручки,
Черненький наган.

Нет, их Муза—не любовь, а освободительно-классовая борьба.

Крылья зарев машут вдалеке,
Осторожный выстрел эхом пойман.
А у Васьки в сжатом кулаке
Пять смертей, зажатые в обойму.

(М. Светлов.)

Борьба—ранняя юность рабочих поэтов. В борьбе они социально оформлялись, в борьбе политически рождались, под знаменами борьбы,—а это остается на всю жизнь,— учились ненавидеть врагов своего класса.

Там, где измыла
Птицей стокрылой
Улицы мощь,
Где, как дождь,
Как град,
Простучали гулко
Шаги в переулке,
Я со всеми
В купелях темя
Крестился
На жизнь новую.

(А. Ясный.)

К творчеству рабочей молодежи надо подходить с особой меркой: отбрасывая звон стихомузыкальности, все внимание обращать на внутриглубинную суть поэтического слова. Оркестровка их стихотворной речи часто перебивается угловатостью („и в бегущем огне к а р у с е л ь с я" — А. Ясный), рифмовая спайка перебивается бессозвучностью („грязь — праздник" — М. Светлов), образ засоряется грубостью и неестественностью („Слышишь, матом гудок к р и ч и т, как з а р е з а н н ы й к ночи купчина" — А. Ясный). Но за всем этим, образ — хрустальное ожерелье поэзии — в стихах молодых авторов часто достигает не только законченной цельности и полноты, но и тонкого очарования.

Расцвечен зарею восток,
Бежит паровоз и зябко
Кидает сердитый гудок
На церковь в б у д е н н о в с к о й шапке.

(М. Светлов.)

Головами качали рабочие,
Да к р е с т и л и с ь окрест п р о к л а м а ц и е й.

(А. Ясный.)

Я мирские болота и топи
Горящим дыханьем сушу.
Посмотрите, я в с ю Е в р о п у
З в е з д о ю н а б л у з е н о ш у.

(М. Голодный.)

Посмотрите, Октября фиалки
Расцвели на льдине февраля.

(М. Голодный.)

Нетрудно заметить, что образ здесь — (даже в применении к церкви и крестному знамени) берется из нового, поэтического и бытового, арсенала. И потому особенно неприятно режет глаз встречающийся наряду с ним образ типично-старый, снятый с дедушкиной запыленной божницы.

Ночь в надвинутом платочке,
Как монашка пред киотом.

(А. Ясный.)

Это говорит о подражательности. Подражательность у юных поэтов безусловна. На творчестве М. Светлова лежит чуть заметная тень отшельнической рясы Клюева, на творчестве Ясного — Блока, в стихах М. Голодного чувствуется Маяковский и отчасти — Есенин. От подражательности — особенно Клюеву и Есенину—надо освободиться. Но надо и учиться, — беспрерывно, внимательно и строго, — действительно поэтическому языку, надо тончайше познать

оставленное в наследство драгоценное сокровище классицизма. Новым, молодым поэтам, прежде всего, не хватает именно широких литературных знаний. А соединение широты знаний с широтой интернационально-*революционного мировосприятия* выплавит действительно нового поэта, поэта будущего.

Теснее, братцы, рядом,
Смотри, товарищ Маркс,
Мы скоро звездопадом
Прокатимся на Марс.
(М. Голодный.)

* * *

Еще раз: рабочим поэтам надо учиться, учиться и учиться.—Новая поэзия (а рабочие поэты только ее первые пионеры) родится не в результате словесной шумихи и искусственных прививок, а — как закономерное и необходимое явление — в процессе общественно-бытовых перепластований. Но *процесс бытовых перепластований проходит*, в своем развитии, самые разнообразные формы, начиная с очень „*малых*“—санитарного оздоровления рабочих *жилищ*, грамотности, внутрисемейного равноправия и др.

Дерево новой поэзии — ажурная тень нового быта - пройдет в своем росте те же фазы медленного, но непрерывного, все *углубляющегося развития*.

Н. Смирнов.

Герберт Дж. Уэллс. Люди—боги. Роман. Перевод с английского С. А. Адрианова. Книгоиздательство „Петроград“. Петроград—Москва 1923 г. Стр. 271.

Вопрос о будущем земли чрезвычайно интересует Уэллса, и он не раз возвращается к этой теме в целом ряде произведений.

Последний роман Уэллса „Люди — боги“ изображает новейшую утопию и отражает новые взгляды автора на грядущее человечества.

Сопоставляя этот роман с „Машиной времени“ того же автора, невольно удивляешься тому, как резко изменился пессимизм автора и сменился глубоким оптимизмом. В „Машине времени“ герой попадает в будущее, где застает человечество разделенным на две касты: одни—аристократы, тонкая, изящная порода людей, живущих любовью и красотой, другая — грубая, рабочая сила, превратившаяся в каких-то уродливых пауков, живущих под землею и угрожающих аристократии своей вечной ненавистью.

Страхом и жутью, безнадежностью веет со страниц этого романа и нет в нем никакого исхода, никакого луча спасения.

Не то мы видим в новом произведении Уэллса, здесь звучит совершенно иной мотив.

Каким-то непонятным образом люди попадают на другую землю.

Объяснение этому они получают в главе, называемой „Тень Эйнштейна“, которая падает на повесть, но быстро проходит и сводится к тому, что „вселенная простирается в *известное количество* других пространственных измерений. За пределом трех основных пространственных измерений, очевидно, существует очень большое количество таких пространственно-временных измерений, параллельных друг другу и похожих одно на другое“.

На этой другой, параллельной с нашей, земле жизнь развивалась таким же путем, как и у нас, но она ушла на три тысячи лет вперед и создала прекрасный, радостный мир, в котором люди стали богами, все они прекрасны, ходят нагишом и олицетворяют собою лучшие мечты человечества. Земля эта названа Утопией, и она пережила те же фазы развития, как и наша земля. Наиболее тяжелым периодом был период смут, напоминающий современный капиталистический строй, который в своем развитии дошел до отрицания самого себя и необходимости создать новые основы человеческого общежития. В этом новом мире идею соперничества заменила идея творческого служения. Управление заменено воспитанием. Труд и наука господствуют в стране и человеческая мысль идет все вперед и вперед.

Любопытно отношение к Утопии земных, попавших туда.

Здесь представители различных слоев общества и высшей аристократии, и представители духовенства и военн политики, и журналист, и шоффер.

Священник приходи ужас при виде голых утопийцев и стремится надеть на них черные передники, никак не может представить себе, что исчезла вера в бога, неистовствует и проклинает.

Статс - секретарь по военным делам, мечтатель, не может принять этот новый мир, по его мнению, лишенный красоты, потому что в нем нет ни риска, ни соперничества,

толкающего людей вперед; мистер Барлей, лидер консерваторов, скептик и философ, констатирует сходство судеб Земли и Утопии, но все-таки не может слиться душой с утопийцами; две женщины приносят ограниченность и узость своих интересов и просто ничего не понимают и не стараются понять в новом мире, хотя инстинктивно чувствуют его красоту.

Представители крупной буржуазии относятся резко отрицательно к Утопии, не отстают от них и шоффера, недалеко ушедшие вперед в своем классовом самосознании (кстати, единственные представители пролетариата в этой группе земных) и лишь один человек, литератор, который в молодости мечтал об иной, лучшей жизни, но потом был засосан тиной жизни, только один мистер Барнстэпл радостно встретил и принял Утопию, найдя в ней воплощение своих былых мечтаний.

Ему хочется узнать, понять утопийцев и слиться с ними в радостном, творческом труде, в поисках научной мысли.

Но утопийцы, увлеченные своими научными исканиями, толкающими их все вперед и вперед, просят у него одной лишь важной для них услуги—согласия вернуться на землю, чтобы дать им знак, что он на земле и что они таким образом достигли возможности общения и познавания других планет.

И мистер Барнстэпл соглашается быть вышвырнутым на землю с риском убиться, так как в душе его родилась мысль, что „отныне он духом и телом принадлежит Революции, великой Революции" и что „близко время, когда старая земля превратится в единое государство" и „за оставшийся ему срок жизни он сам может ускорить приход этого времени".

Он отправляется на землю глашатаем новой истины.

Немного странно, что Уэллс сделал интеллигента - литератора провозвестником коммунизма на земле, да и коммунизм в понимании Уэллса расходится с истым коммунизмом.

В этом отношении любопытно место, где утопийцы рассказывают свою легенду о Христе—об Учителе Учителей, „заветам которого следовал весь мир, хотя и не чтил его как бога".

Эта попытка связать коммунизм с первобытным христианством в связи с подчеркиванием в различных местах эволюционного характера истории Утопии наглядно показывает, что Уэллс не понимает сущности социальных процессов в капиталистическом обществе. Он совершенно не видит гигантской борьбы пролетариата, происходящей в настоящий момент во всех странах, которая неминуемо приведет к коммунизму, и полагает, что „зачатки нового порядка вещей были заложены дискуссиями, книгами, психологическими лабораториями; почва, на которой он вырос, была создана в школах и колледжах".

Тем не менее роман написан с большим одушевлением и читается с удовольствием.

Э. Станчинская.

Дневник А. С. Суворина. Редакция, предисловие и примечания М. Кричевского. Изд. Френкель. 1923 г. Стр. 407.

Дневник виднейшего правительственного публициста царского режима представляет крупный историко - общественный интерес. Любопытна форма дневника: он представляет ряд беспорядочных записей, вперемежку со счетами, с набросками литературных произведений и т. д. Дневник несомненно носил ультра - интимный характер и уже, конечно, никоим образом не предназначался для „потомства". Старик Суворин, снедаемый бессонницей, старческим пессимизмом, очевидно, по ночам делал свои записи, имевшие целью или зафиксировать нужный факт или же излить скопившееся в нем негодование. Именно благодаря этому мы находим в дневнике ряд беспощадных по откровенности характеристик правящих кругов, литературного и артистического мира, которые были бы абсолютно невозможны, если бы он предназначался для чьего - либо чтения, хотя бы посмертного.

Прежде всего мы находим уничтожающую автохарактеристику самого же Суворина. Всем нам знакома фигура этого несомненно талантливого, но откровенно продажного публициста, ловкого дельца, беззастенчивого редактора „Нового Времени" и т. д. И вот даже он, находясь в тисках сипягинской цензуры, принужденный ежедневно продавать свои настоящие убеждения, не выдерживает и разражается следующей красноречивой репликой: „Какие тяжелые условия печати. Только похвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь

этих „государственных людей", которые в сущности—государственные недоноски и дегенераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя и на свое холопство, которое нет возможности скинуть". Вхожий во все министерства, посвященный во все тайны придворно-чиновного мира, Суворин с каким-то злобным удовлетворением выписывает портреты деятелей последнего. Перед нами проходит Витте, Вышнеградский, Кривошеин, князь Мещерский, Э. Ухтомский и десятки других, часто характеризуемых какой-либо одной цифрой—суммой взятки, полученной ими, или каким-либо исключительно безобразным фактом. Так же выпукло рисует Суворин и царскую семью. Вот перед нами Николай II, который откровенно признается: „Я, знаете, признаться, и рад, когда евреев бьют". Накануне революции 1905 года Николай самодовольно заявил Столыпину: „Еслиб интеллигенты знали, с каким энтузиазмом меня принимает народ, они так бы и п р и с е л и". Далее идут вдовствующая императрица и великие князья. Дневник рассказывает о том, во сколько обходилась русскому народу любовь „матушки императрицы" к ее соотечественникам—датчанам. Один из них, разорившись, „припадает к ее стопам" и получает два миллиона рублей; „одной фрейлине матушка императрица обещала заплатить ее долги в четыреста тысяч рублей, разумеется, на счет казны... Витте видит, делать нечего, стал торговаться с дамой и выторговал у нее сто пятьдесят тысяч, т.-е. дал всего двести пятьдесят тысяч рублей". Что касается до великих князей, то дневник сообщает пикантнейшие данные об их участии в биржевых спекуляциях, в дутых банковских предприятиях и т. п. Недаром воспроизводится фраза Витте, сказанная в заседании комитета министров: „До чего мы дожили—великие князья становятся во главе дутых предприятий". В настоящей беглой рецензии, разумеется, невозможно отметить сотни фактов, сообщаемых Сувориным относительно жизни бюрократических, театральных и литературных кругов, которые были одинаково хорошо ему знакомы. Совершенно несомненно, что для историка русской жизни конца XIX и начала XX века дневник является отныне необходимым пособием.

К сожалению, дневник получил крайне неудовлетворительную критико-историческую рамку в виде предисловия и примечаний, принадлежащих М. Кричевскому. Предисловие, на-ряду со скудными биографическими данными о Суворине, почему-то ставит своей целью разрешить ряд совершенно посторонних проблем. Так, уже на первой странице мы узнаем, что: „Счастье молодого поколения в том, что (теперь)... завоевано для него право на среднюю и высшую школу, право на рабфаки, институты, университеты, право на науку в целом". Далее мы узнаем, что Суворин долгое время был человек человеком (?!), но потом „его захлестнули влиятельность и богатство". С неподражаемым глубокомыслием автор делает крупное открытие: оказывается, что „настоящих познаний в области подлинной революционности, скажем, в теории марксизма, Суворин совсем не имел". Так М. Кричевский энергично разрушает одну из иллюзий русского общества, очевидно, долго сомневавшегося: да не был ли Суворин марксистом?

Еще печальнее обстоит дело с примечаниями. Огромное большинство из них содержит совершенно элементарные сведения, вдобавок преподносимые в какой-то юмористической оболочке, заставляющей вспомнить о Кузьме Пруткове. Разве не великолепны по своему лаконизму, например, такие характеристики: „Кривошеин А. В. министр путей сообщения"; „Григорович Д. В.—известный писатель"; „Менделеев—знаменитый химик" и т. д. Еще красочней характеристики западных деятелей, например: „Клемансо—современный нам (?!) представитель французской республики, неоднократно пытавшийся организовать уничтожение Сов. России" (?!), „Дюма-сын—плодовитейший французский писатель, автор многочисленных романов якобы исторического содержания", —увы, в последнем случае автор явно смешал Дюма-сына с его отцом; наконец, нечто марк-твэновское заключает в себе характеристика почтенного П. И. Вейнберга, который по утверждению Кричевского, „был чем-то вроде „патриарха" русской литературы, поэт и переводчик".

Ясно, что для понимания суворинского текста подобные „комментарии" решительно ничего не дают, занимая в то же время (вместе с предисловием) сорок две страницы убористого шрифта.

В. Крямин.

Л. И. Аксельрод (Ортодокс). Оскар Уайльд. „Основа". Иваново-Вознесенск 1923. Стр. 54. Тираж 3000

Очерк Л. И. Аксельрод „Мораль и красота в произведениях О. Уайльда", напечатанный в 1916 году в журнале „Дело", издан ныне отдельной книгой энергичным Иваново-Вознесенским издательством „Основа".

Очерк, написанный в 1916 году, нисколько не устарел.

В очень четкой, прозрачной манере автор удивительно легко разбирается в сложной и запутанной проблеме взаимоотношения эстетики и этики. Начинает Л. И. Аксельрод с отвода шаблонных, поверхностных характеристик (Чуковский, Бальмонт), рисующих Уайльда последовательным представителем эстетизма и гедонизма, до конца— будто бы — верным своей позиции. Автор примыкает к более глубокому взгляду, высказанному в свое время Редько, но вносит в него ряд крупных поправок и дополнений.

Да, — О. Уайльд наиболее ярко и полно воплотил нео-гедоническую, нео-эстетическую аморальную философию, представляющую — в социально-психологическом отношении — идеологию деклассированной интеллигенции, вышедшей из буржуазной среды и — тот же О. Уайльд, пережив и изжив свой эстетический гедонизм и этический нигилизм, один из первых затосковал по правде - справедливости, по правде общественности и коллективизма. Кончил Уайльд кающимся эстетом-индивидуалистом.

Проследить эту интересную и поучительную эволюцию и ставит своей задачей Л. И. Аксельрод. Автор дает глубокий общественно-психологический анализ таких явлений, как аристократический, „сверхчеловеческий" индивидуализм, аморальный эстетизм и гедонизм, иллюстрируя эти явления примерами из О. Уайльда и наглядно показывая, как назревало в душе поэта столкновение эстетики с этикой. „Портрет Дориана Грея" дает явные доказательства того, что красота не может быть центром миросозерцания и нормой поведения. Чистый эстетизм приводит не только к моральному одичанию, но и к эстетическому отупению.

Превосходные сказки „Счастливый принц" и „Молодой король" говорят уже определенно о том, что нравственно-общественное начало взяло верх в душе Уайльда. И тут неизбежно возникла проблема социализма. Возникла своеобразно: убедившись в невозможности расцвета личности при буржуазно капиталистической организации общества, Уайльд приходит к убеждению в необходимости социалистического устройства. Он пишет статью „Душа человека при социалистическом строе" — статью слабую с теоретической точки зрения, но в высокой степени показательную и симптоматическую. Эстет и индивидуалист — Уайльд подошел к вопросу так, как ему и подобало: он заявил, что истинный расцвет искусства и творящей личности требует коренного переустройства общества на социалистических началах.

Очерк Л. И. Аксельрод имеет не только научно-философское значение, но и педагогическое — особенно в наше время, когда в обстановке Нэпа буржуазный эстетизм, несомненно, поднимает голову и неприметно оживает вместе с ним сопутствующий ему иммрорализм.

О. Уайльд достаточно известен читающей публике (к „Ниве" приложен был), достаточно повинна на отечественных символистов (Бальмонт, Сологуб, Брюсов), и установить правильный, научный, марксистский подход к нему давно необходимо.

Очерк Л. И. Аксельрод заслуживает самого широкого распространения.

Проф. А. Цинговатов.

А. В. Луначарский. Идеализм и материализм. Культура буржуазная и пролетарская. Изд-во „Путь к знанию". Петроград 1923. Стр. 140. Тираж 5000.

„Идеализм и материализм". Сколько уж об этом писалось и говорилось! Между тем у т. Луначарского есть что-то свое, своеобразное в трактовании этой темы. Это „что-то" лучисто, сердечно, напряженно-идеально и превращает сухой, рациональный трезвый материализм в величайшую моральную доктрину, пронизанную горячей любовью и высоким подвижничеством. Такого рода проповедь всегда находит путь к сердцам молодежи. И книжка т. Луначарского не должна миновать ни одного рабфаковца. В среде нашей молодежи этот сборник статей т. Луначарского принесет, кроме того, огромную пользу авторитетной оценкой „парадоксалистов пролетарской

культуры, которые под мнимо-левыми флагами хотели бы убедить пролетариат порвать естественную связь его будущего с культурным прошлым человечества и под видом классовой самостоятельности попасть на буксир мелких интеллигентиков, эфемерных выдумщиков, предлагающих ему по дешевке новую науку и новое искусство". Массив пролетариата и крестьянства ни в коем случае не может быть затронут этой „тучей москитов мнимо-пролетарского искусства и мнимо-пролетарской науки". Нужно нашу культуру базировать на прошлой, пропитаться ею и суметь ее преодолеть. Если мы сумеем сделать так, — у нас в результате длительного критического процесса будет своя культура. Есть ряд великих произведений искусства „гораздо более близких пролетариату, чем то искусство, которое ему часто угодливо предлагают некоторые современные художники".

Сборник статей т. Луначарского должен найти доступ во все библиотеки, обслуживающие нашу учащуюся молодежь. Издан он прекрасно.

Г. Даян.

Г. Кунов. *О происхождении брака и семьи.* Перев. с немецк. А. И. Денисова под редакц. Ст. С. Кривцова. „Новая Москва". 1923 г. Стр. 159. Тираж 8.000.

Тема трактуемой книги приковывает к себе внимание широких читательских кругов, интерес которых к вопросам социологии сильно вырос и углубился за последние годы.

Исследование это принадлежит перу лучшего, по отзыву Каутского, современного этнолога и снабжено библиографическими указаниями Ст. С. Кривцова и библиографическими дополнениями переводчика, хорошо справившегося со своей задачей.

В полном согласии с другим авторитетным исследователем брака и семьи, Миллер-Лиер'ом, Генрих Кунов исходит из того основного положения, что брак первоначально является не любовным делом, а только хозяйственным устройством (59 стр.). Однако экономическая точка зрения далеко не везде у него выдержана. Возьмем, например, запрет вступления в брак с лицами не своей возрастной группы. Кунов видит здесь одни лишь биологические мотивы. Этот запрет возник „или из наблюдения, что половые связи между лицами неодинакового возраста большей частью остаются бездетными, или из того факта, что молодые взрослые мужчины предпочитают для себя жен почти равного возраста" (62 стр.). Между тем, это установление старейших могло преследовать экономические задачи. Старейшие предпочитали отказаться от права женитьбы на более молодых женщинах с тем, чтобы отдавать их за молодых сильных охотников. Получая таковых в зятья, они обеспечивали себя желанными пищевыми продуктами и мехами.

Ту же недооценку экономического фактора Кунов обнаруживает и в объяснении экзогамии. Он выводит ее из чисто психологических побуждений мужчины к властвованию над покорной ему женщиной. Между тем, „экзогамический инстинкт" может быть выведен из стремления орд к разнообразию пищевых продуктов путем регулирования экзогамического брака.

Эта недооценка легла в основание того случайного характера, который автор придал тотемным именам, упустив из виду чисто хозяйственный базис тотемизма, его производственную этнологию. Тотемные группы назывались по имени своего тотемного предмета, обычно какого-нибудь животного. Элемент случайности здесь не имел места.

Несмотря на указанные упущения, мимо книги Кунова, дающей богатейший этнологический материал, не должен пройти человек, работающий над историей происхождения брака и семьи.

Рассчитана книга на очень хорошо подготовленного читателя. Оглавление представляет собой сплошное недоразумение, ни одного правильного указания.

Г. Даян.

Ж. М. Гюйо. „Нравственность без обязательства и без санкции". Перевод с 7 франц. издания Н. А. Кр.тской. Под редакцией и с вступительной статьей Н. К. Лебедев. Книгоиздательство „Голос Труда". Москва.

Гюйо—мыслитель-лирик. Он не столько аргументирует, сколько исповедуется. В этом — научно-методологическая слабость Гюйо, но в этом же его своеобразная сила:

отвлеченные проблемы облекаются в плоть и кровь, отвлеченная мысль как бы делается живым человеческим документом. Гюйо вместе с А. Фулье, отчасти Зиммелем и Дюркгеймом—создатель направления, известного под названием социоморфизма. Не без основания считают Гюйо предшественником Бергсона, поскольку последний свой принцип творчества окрашивает биологизмом. Но Гюйо во многом отличается от своих единомышленников. По своему направлению, Марк Гюйо — представитель крайне левого крыла интеллигенции. Фетиши собственности, власти закона, гетерономной морали не господствуют над сознанием Гюйо.

Творчество Гюйо, это — сплошной призыв к активности, к жизнеутверждению. Все так называемые „антиномии" мира разрешаются волей к интенсивному и экстенсивному расширению жизни, при чем усиленно подчеркивается связь личности с социальной средой, связь эта мыслится в духе активного преодоления социальной инерции во имя справедливого идеала.

Могло казаться, что активизм — родная стихия Гюйо. Но это — ошибка. Активизм — это санатория, в которой Гюйо хотел бы излечиться от основного недуга — созерцательности и пассивности. Гюйо, это — Гамлет, которому безумно хочется быть Фортенбрасом. Известно: Гамлет рассуждает, но не действует, Фортенбрас действует, но не рассуждает. Гюйо хотел бы быть мыслящим Фортенбрасом, но этот синтез ему не удается. Если Гамлет полагает, что мысль—могила воли, то Гюйо хочет уверить себя и нас, что мысль, это — уже действие, что мышление—высший вид активности и этим автор вскрывает подоплеку интеллигентского рационализма. Гюйо призывает к активности, к творчеству, но как странно звучит в устах активиста мысль, что „царственное бесплодие" сущность жизни! Вот его подлинные слова: „Часто говорят — „все имеет свою причину, все имеет свой смысл". — Это — бесспорная истина, если дело идет о частностях. Конечно, хлебному зерну свойственно производить другие хлебные зерна. Нельзя представить себе поля, которое было бы совершенно бесплодно. Но природа в целом не должна быть непременно плодовитой: она представляет собой великое равновесие между жизнью и смертью. Возможно, что источник ее высочайшей поэзии и кроется в ее царственной бесплодности. Хлебному полю далеко до океана. Океан не производит, он волнуется; он не дает жизни, он содержит ее, или, скорее, он порождает ее и убивает с одинаковым равнодушием: океан, это — вечная и вечная колыбель, убаюкивающая существа". Это сомнение в плодовитости жизни сразу как бы аннулирует все призывы к активности. В самом деле: не лучше ли уподобиться всепоглощающему и ничего не производящему океану, нежели ниспадать „отдельным" бурным потоком? Не лучше ли „жить мечтами чудными", нежели хлопотать и возиться, сознавая, что суть жизни — в царственном бесплодии?

Но, к счастью для Гюйо, боязнь этого бесплодия и заставляет его петь гимны активизму и создать теорию активистической морали.

Перейдем к этой теории.

Гюйо отрицает догматическую мораль Канта, абсолютную мораль религии, принудительную этику наместника бога на земле — государства. Наука беспощадно разрушает все теолого-метафизические концепции, изучает объективную, закономерную связь явления. Определяет относительную историческую ценность и бесценность всякой этической догмы. Основным фактором является факт жизни, стремления жизни к расширению и обогащению. Нравственно все то, что поднимает личность на высшую стадию жизнеутверждения, все то, что разнообразит жизнь. Безнравственно все то, что обедняет, обескровливает жизнь, заменяет многообразие монотонностью и автоматизмом. Духовная гигиена личности, ее ненасытная жажда глубокой и широкой жизни исключает животный эгоцентризм, ибо только как соучастник исторической жизни, творимой собратьями, личность обогащается, расширяется, закаляется. Эгоцентризм же создает бледное, золотушное существо, занимающееся „самоедством". Нужна ли „санкция" для морального поступка? — Нет. Категория должного должна быть зачеркнута. Вместо „я должен" надо сказать: „я могу". Я могу — ибо у меня есть

избыток сил и жажда роста экстенсивного и интенсивного. Этот избыток толкает меня на веселый, радостный, жуткий риск борьбы. Этот избыток превращает мысль в активное дело. Этот избыток связывает меня с обществом в его стремлении подыматься все выше и выше в деле достижения идеала. Я могу, а потому должен; избыток—единственный „императив". Гюйо, как известно, ведет борьбу с английским утилитаризмом. Английский утилитаризм не ограничивается утверждением, что человек хочет и ищет выгоды, пользы по принципу — получать побольше и давать поменьше. Утилитаризм — верный отчасти учению Сократа, утверждает, что человек ищет длительного счастья или пользы, он хотел бы, чтобы за миг счастья в настоящем не платить чрезмерными скорбями и страданиями в будущем. Человек здесь расчетливый бухгалтер заботящийся о том, чтобы закончить свою жизнь-предприятие солидным доходцем. Пламенным противником этой теории очень умных английских лавочников выступает Гюйо. Он указывает, что страдание и наслаждение — величины неизмеримые и несоизмеримые, друг на друга не сводимые, друг друга не аннулируют и не компенсируют. Но основным возражением Гюйо является выше нами упомянутая теория об избытке сил.

Мир не контора, и человек не бухгалтер. „У меня чересчур много слез, чтобы выплакать их только на своем горе, чересчур много смеха, чтобы смеяться только своему счастью".

Все это, конечно, верно. Гюйо прав. Великолепную оценку лавочнического характера утилитаризма дал Карл Маркс. Однакоже аргументация Гюйо вряд ли может быть названа хоть сколько-нибудь удовлетворительной. Ведь если говорить о научной морали, то надо придавать словам точный смысл. А между тем слово „избыток сил" имеет в устах Гюйо мнимо биологическое значение, на самом деле здесь вы имеете эстетический принцип, совершенно произвольно ориентированный на социальном идеализме.

Если я говорю об избытке сил, то, строго говоря, это должна быть сила математически измеримая. В конце концов, быть может, не так уж неправы математики, утверждающие, что явление изучено, если оно вычислено и вымерено. Но может это уж чересчур строгий подход.

Но есть минимальное требование: если отбросить требование арифметического исчисления, то по крайней мере понятие „избыток" должно дать критерий не только оценки, но и предварительного познания.

Иван обладает избытком, а Федор нет. И потому то — при прочих равных — Иван будет поступать морально, т.-е. в духе прогресса и любви, а Федор будет сущим Каином. Если это на деле оправдано, то оправдан и принцип. Если же я должен ждать хороших поступков от Ивана, чтобы после сказать: Иван поступает хорошо, следовательно у него избыток сил, то слово избыток есть просто метафора, ненужная приставка, подсовывание биологического принципа под социальное действие. Надо доказать, что из двух индивидуумов биологически бедный поступает плохо, а биологически богатый, избыточный, поступает хорошо. А это, конечно, чистейшая метафизика.

Конечно, Калигула и Иоанн Грозный не могут пожаловаться на биологическую хилость. Лермонтов сказал: „в ней признака небес напрасно не ищи; то кровь кипит, то сил избыток" и советует разлить „отравленный напиток"...

Здесь-то мы и подходим к слабой стороне методологии Гюйо. Эти слабые стороны учения Гюйо почти целиком перешли в учение Петра Алексеевича Кропоткина (анализу учения Кропоткина я посвящу ближайший этюд).

Гюйо — утопист. Свой идеал он хочет обосновать не классово-исторически, а универсально-эстетически. При чем Гюйо, признавая всецело эстетическую ценность метафизики, стремится найти естественно-научную базу, здесь-то целиком подтверждается краткий, но изумительно мастерский анализ злоключений естественно-научного метода в применении к общественным наукам, анализ, данный Мерингом: „Естественно-научный материализм совершенно упускает из виду, что, кроме естественной науки, существует еще социальная наука. Исторический материализм включает в себе естественно-научный, но естественно-научный не включает исторического. Естественно-научный материализм видит в человеке сознательно дей-

ствующее создание природы, но он не задается вопросом, чем определяется сознание человека в пределах человеческого общества. И поэтому он в области истории превращается в свою противоположность, в крайний идеализм. Он верит в духовную чудодейственную силу великих людей, которые творят историю". Гюйо додумался до мысли о том, что даже природу можно мыслить социоморфно. Он — идя по следам своего учителя Фулье — понял, что социальный комплекс неразложим на другие элементы и невыводим из естественной среды.

Но эта верная мысль остается мертвенной, потому что социология смешана непозволительно, незакономерно с биологией, биология эстетизирована, а эстетика тайно и секретно выполняет роль этики, это „замэтика".

Гюйо против теории утилитаризма, обещающей пользу, и религии, обещающей воздаяние. Но в сущности и его теория есть теория премирования нравственных людей. Мол, действуйте в духе братства и солидарности, жертвуйте, рискуйте и за то вы получите не грубую, но все-таки пользу, трижды воздастся вам, ибо вы будете расти экстенсивно и интенсивно!..

Разумеется, было бы странно ждать от утописта Гюйо правильного разрешения вопроса о взаимоотношении личности и общества. Гюйо тесно связывает личность с обществом. Мелодекламация о том, что общество принижает личность, грабит ее духовно — эта декламация чужда Гюйо. Но широкая струя социальности дана эмоционально, но научно не обоснована. Получается впечатление, что социальная связанность есть волеизъявление личности, а не нечто закономерно данное.

Идеализм в мантии биологизма, индивидуализм, научно не связанный с социальностью, — вот дефекты творчества Гюйо.

Книга Гюйо — несмотря на вышеупомянутые недостатки — полезная книга. Она как бы последний отблеск утопического социализма, правильнее, анархизма в его чистой благородной форме. Теперь, когда Бердяевы и Карсавины поют отходную науке, когда выброшенные за борт революции интеллигенты ударились в мракобесие и славят Творца, умоляя его водворить порядок в классовый мир, в это время благородным гуманизмом насыщенная книга Гюйо несомненно многим будет полезна.

Книга Гюйо снабжена предисловием тов. Н. Лебедева. Отдельные замечания Н. Лебедева надо признать разумными и заслуживающими внимания. Только слеза по поводу „насилия над личностями" — ни к чему. Издана книга вполне прилично.

И. Гроссман-Рощин.

Э. Борель. Случай. Перевод под ред. проф. В. А. Костицына. „Современные проблемы естествознания". Гиз. 1923 г. Стр. 215.

Нельзя не приветствовать появление на русском языке этой книги одного из наиболее крупных современных французских математиков, Эмиля Бореля. Законы случая давно уже стали предметом широкого интереса для людей самых различных специальностей: теория вероятностей, изучающая эти законы, приобрела громадное практическое значение, она является теперь необходимым орудием не только статистика, но и физика, химика, биолога, социолога; агроном пользуется ею на селекционной станции, астроном при изучении строения вселенной. Но больше того, теория вероятностей не только является орудием для научной обработки наблюдений и для их толкования, основные понятия этой теории приобрели такое всеобъемлющее значение, что они повлияли на весь строй нашего научного миросозерцания и видоизменили самое его содержание. Мы знаем теперь, что даже в физике — в наиболее точной из наук о природе — законы всех непосредственно воспринимаемых нами явлений носят чисто статистический характер, что такой характер имеют даже самые физические величины. В этом отношении нет принципиальной разницы между физическими и социологическими явлениями; несравненно бо̀льшая достоверность законов физических по сравнению с социологическими коренится в том обстоятельстве, что статистические законы осуществляются тем точнее, чем к большему количеству однородных объектов мы их применяем; социология имеет дело с миллионами людей, физика — с мириадами атомов.

Еще сравнительно недавно в точных науках решительно преобладал тот взгляд, что

в противоположность законам непосредственно воспринимаемых нами суммарных, макроскопических явлений законы микрокосма, управляющие движением самих атомов, носят вполне строгий и точный характер. Это убеждение нашло себе выражение и в предисловии редактора русского перевода. *Однако мы сомневаемся, чтобы оно* могло быть подкреплено объективными доказательствами. Наоборот, развитие экспериментальной науки заставляет отвести почетное место законам случая даже во внутренности идеального изолированного атома (радиоактивность, некоторые положения теории квант и т. д.). Классический детерминизм, носивший, если так можно выразиться, индивидуалистический характер, все больше и все дальше вытесняется детерминизмом статистическим и все шире распространяется мнение, что это вызывает необходимость пересмотреть самые основы нашего научного миропонимания.

Здесь не место, конечно, входить в обсуждение вопроса по существу, мы хотели только показать, что теория вероятностей имеет не только колоссальное практическое, но и актуально-философское значение, и что каждому образованному человеку необходимо иметь представление об этой теории. Для ознакомления с нею можно горячо рекомендовать указанную книгу Бореля.

Книга эта предполагает в читателе знакомство только с основными алгебраическими действиями; лишь в редких случаях требуется более серьезное знакомство с математикой, но соответствующие места можно, в случае необходимости, опустить, не нарушая этим цельности изложения. Вместе с тем книгу Бореля могут с большой пользой прочесть и те лица, которые знакомы с формальной теорией вероятностей и даже применяют ее в своей практической деятельности. Ибо основной задачей Бореля является не формальная сторона теории, а выяснение основных ее *понятий и предпосылок и границ* ее приложимости. Это тем более существенно, что именно в этих основных вопросах учения о случае чрезвычайно широко распространены ошибочность представлений и путаница *понятий*.

Начав с выяснения основных понятий теории вероятностей на примере игры в орлянку, Борель дает затем представление о более сложных вопросах математической теории, далее идет живой и содержательный обзор применения теории к разнообразнейшим областям знания; наконец, заключительная, третья часть посвящена „практическому, научному и философскому значению законов случая“.

Большим достоинством книги является обилие детально разбираемых примеров применения теории, много места отведено вопросу о границах ее приложимости в житейской и общественной деятельности. Борель охотно останавливается на ряде парадоксов, связанных с законами случая, и с чисто французским изяществом использует их для уточнения основных понятий. Но при этом он не отрывается от земли и все время имеет в виду приложение математической теории к живой действительности. Лишь очень редко грешит он, быть может, и остроумными, но легковесными рассуждениями (§§ 96, 97 „коэффициенты альтруизма“, „патриотизм и интернационализм“). Местами замечается некоторая пестрота, нестройность изложения; некоторые более трудные места следует опустить при первом знакомстве с книгою, было бы полезно выделить их особым шрифтом — во всяком случае это нужно было бы сделать с параграфами, посвященными полемике с Ле-Дантеком, о чем, впрочем, есть указание и в предисловии редактора перевода.

„Философское значение законов случая“ интересует автора на протяжении всей книги, но главе под этим заглавием отведено всего 13 стр. Все же она содержит в себе ряд ценных замечаний, хотя в них, к сожалению, и вкрапливаются туманно-метафизические рассуждения на тему об „антиномии эпифеноменального сознания“ (?). Не со всеми положениями Бореля можно согласиться, но все это является второстепенным по сравнению с достоинством книги. Еще раз, книгу эту можно рекомендовать *всем интересующимся этим подчиняющим* себе все новые и новые области методом научного познания и его местом в общей системе миропонимания.

Перевод в общем сделан удачно, хорошим языком; лишь изредка встречается искусственно-сложное построение фраз, что очевидно объясняется дословной верностью оригиналу.

Иг. Тамм.

От редакции.

Редакция приносит тов. Коллонтай извинение за ряд незаслуженных полемических выпадов, допущенных в ст. тов. Виноградской, напечатанной в № 6 (16). Расходясь с тов. Коллонтай в разрешении вопросов морали, пола и быта, поставленных советской современностью, редакция считает необходимым здесь подчеркнуть, что тов. Коллонтай остается для нее заслуженным боевым товарищем.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Бол. Успенский пер., д. 5, кв. 86. Телефон 19-82.

Прием по понедельникам, средам и пятницам от 1 до 3 ч. дня.

Рукописи менее печатного листа не возвращаются.

Ответств. редактор—А. Воронский. **Издатель—Государственное Издательство.**

Члены Ред. Коллегии { *А. Бубнов.* *В. Смирнов.*